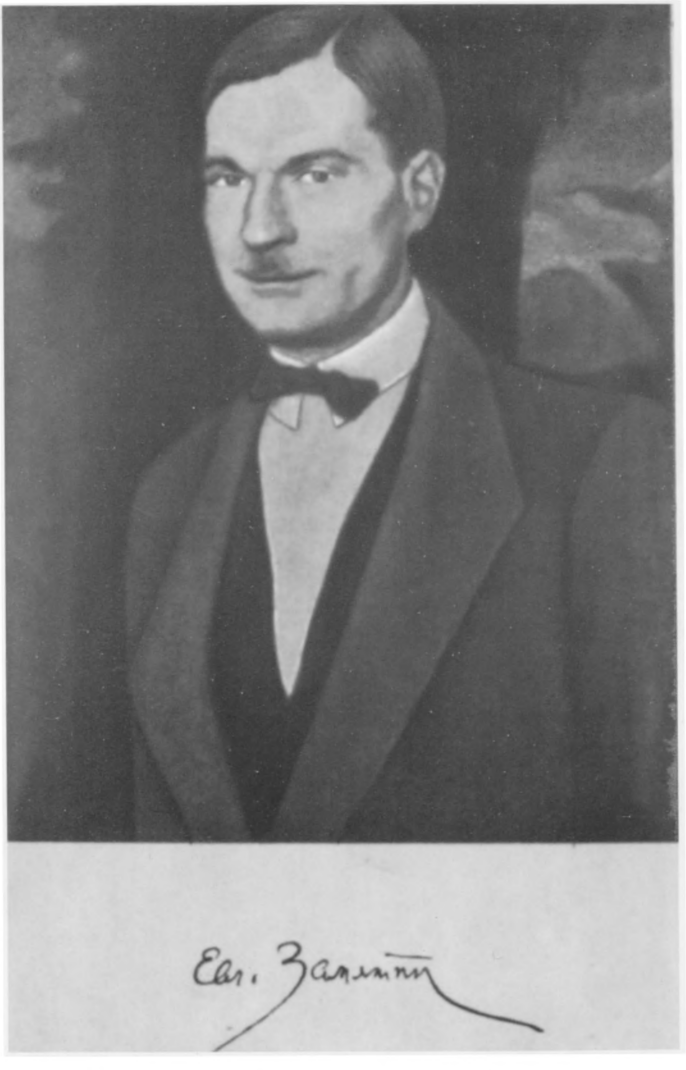
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

СОЧИНЕНИЯ



Портрет Е. И. Замятина работы Н. Э. Радлова

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

РУСЬ

Москва
·РУССКАЯ КНИГА·
2003

УДК 82
ББК 84Р
З-26

Федеральная программа книгоиздания России

Руководитель программы Михаил Ненашев

Редакционный совет:

В. П. Лысенко, А. Н. Николюкин, Ст. С. Никоненко,
М. И. Попова, А. Н. Стрижев, А. Н. Тюрин, Ж. Шерон

Составление, подготовка текста, комментарии
Ст. Никоненко и А. Тюрина

Художник
И. Шиляев

Замятин Е. И.

З-26 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Русь / Сост., подгот. текста и коммент. Ст. С. Никоненко и А. Н. Тюрина. – М.: Русская книга, 2003. – 592 с., 1 ил. портр.

Во второй том Собрания сочинений Е. И. Замятина включены все прозаические произведения писателя, созданные им на родине и за рубежом после 1921 года, в том числе знаменитая антиутопия «Мы». Исторический роман «Бич Божий» впервые печатается с учетом авторских исправлений в рукописи. Впервые в России публикуются биографические очерки «Роберт Майер» и «А. П. Чехов», выходившие в Германии в 1921 г.

ISBN5-268-00524-3

УДК 82
ББК 84 Р

© Ст. Никоненко, А. Тюрин. Составление, подготовка текста, комментарии, 2003 г.
© И. Шиляев, художественное оформление, 2003 г.
© Издательство «Русская книга», 2003 г.

АВТОБИОГРАФИЯ

Вы все-таки непременно хотите от меня автобиографию. Но ведь вам придется ограничиться только наружным осмотром и разве слегка взглянуть в полутемные окна: внутрь я редко кого зову. А снаружи вы увидите немного.

Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой – или под роялью, а на рояли играет мать Шопена. Два шага от Шопена – и уездное – окна с геранью, посреди улицы – поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если хотите географии – вот она: Лебедянь, самая разрусская – тамбовская, о какой писали Толстой и Тургенев; хронология: конец 80-х, 90-е годы. А потом – Воронеж, гимназия, пансион, скука, на большой Дворянской бешеные собаки. И одна такая – тяпнула меня за ногу. Я тогда очень любил производить над собой опыты и решил посмотреть: взбешусь или нет. А главное, было очень любопытно: что я буду чувствовать, когда подойдет срок беситься (две недели после укуса). Чувствовал много, но через две недели не взбесился, а потому заявил инспектору, что я – бешеный, и меня – тотчас же в Москву, делать прививки.

В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского политехникума. В мае 13 лет назад (в этом мае на цветы выпал снег) я одновременно кончал свои дипломные проекты и кончил свой первый рассказ. Рассказ тогда же был напечатан в старом «Образовании».

Ну – что ж: значит, я могу сочинять рассказы и их будут печатать, а поэтому три следующих года я писал только... о ледоколах, теплоходах, рефулерах, о «Теоретическом исследовании работы землечерпательниц». Никак иначе было нельзя: я был оставлен при кафедре корабельной архитектуры и занимался преподаванием на кораблестроительном факультете (занимаюсь и теперь).

Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному Отделению: в 1911 году оно выслало меня из Петербурга, и я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там от белой зимней тишины и зеленой летней – я написал «Уездное». После чего покойный Измайлов решил печатно, что я – в высоких сапогах, уездный, лохматый, с толстой палкой – и был очень удивлен, когда я оказался совсем не таким.

Впрочем, совсем не таким я стал после Англии, где во время войны прожил около двух лет. Там – строил корабли, смотрел развалины замков, слушал, как бахают бомбы с немецких цеппелинов, писал повесть «Островитяне». Очень жалко, что не видел февральской революции и знаю только октябрьскую (как раз к октябрю, все время в спасательном поясе с потушенными огнями мимо немецких подводок – я вернулся в Петербург). Это все равно, что никогда не знать влюбленности и однажды утром проснуться женатым, уже лет этак десять.

Сейчас пишу немного – вероятно, оттого, что становлюсь к себе все требовательнее. Три новых тома («На куличках», «Островитяне» и «Сказки») – три года лежат в издательстве Гржебина и начинают печататься только теперь.

Четвертым будет этот роман «Мы» – самая моя шуточная и самая серьезная вещь.

А пожалуй, самые серьезные и интересные романы не написаны мной, но случились в моей жизни.

1922

БОЛЬШИМ ДЕТЯМ СКАЗКИ

БОГ

Было это царство богатое и древнее, славилось плодоносностью женского пола и доблестью мужеского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька – смутьян и оторвяжник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки – проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога – не верит, говорит – нету.

– Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

– А что ж, и вылезу, – хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез – и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукомеслом позаняться в сверхурочное время. Увидал Сеньку Мизюмин – обрадовался:

– А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

– Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста – первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица – из благородных, и приданого полтораста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил – так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба – на Красную Горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу – сейчас же за ним мальчишки:

– Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок – и на Трубную пошел: чулки продать – новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы – загляденье.

– Сем-ка, я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

– Вот чулки связал – продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

– Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

А на стене – ждал бога таракан Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спинке лежит. Берега – гладкие, скользкие; глубь – страшенная. Еле-еле, далеко гдей-то, потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

– Вызволи, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая – и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь...

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

– Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны – скробыхала номер четырнадцатый – и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

1915

ИВАНЫ

А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только прозвища разные: Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень Иван, Носопырь Иван, Соленые-Уши Иван, Белены-Объелся Иван, Переплюй Иван, и не перечесть, а только Переплюй – самый главный ихний. Которые скородят, сеют, а Иваны – брюхами кверху да в небо плюют: кто кого переплюнет.

– Эх вы, Иваны! Пшеницу бы сеяли!

А Иваны только сквозь зубы: цырк.

– Вот, на новых землях, слыхать, действительно пошеница: первый сорт, в огурец зерно. Это – пошеница, да...

И опять: кто кого переплюнет.

Лежали этак – лежали, и привалило Иванам счастье невесть откуда. Топот по дороге, пыль столбом – конный по Иванихе, объявление привез: которые Иваны на новые земли желают – пожалуйте.

Осенили себя Иваны крестным знамением, изо всей мочи – за хвост конному, и понесло, только рябь в глазах: церковь – поле, поле – церковь.

Спустил конный: ни жилья, ничего, на сто верст кругом – плешь, и только по самой по середке крапивища стоит, да какая: будылка в обхват, на верхушку глянь – шапка свалится, а стрекнет – волдыри в полтинник. Колупнули Иваны землю: черная – вар сапожный, жирная – масло коровье.

– Ну, братцы, скидавай котомы: самая она и есть – первый сорт.

В кружок сели, краюху пожевали с солью. Испить бы, да и за дело. Туда – сюда: нету воды. Делать нечего, надо колодец рыть.

Взялись, это. Земля – праховая, легкая, знай комья летят. А Переплюй нет-нет, да и остановится, глаза прижмурит.

– Ой, братцы, должно быть, и вода же тут: сладчищая, не то что у нас...

А тут как раз об камень железо – дрынь! Каменина здоровый. Вывернули – ключ забил. Черпанули в корцы, попили: холодная, чистая, а вода как вода.

Переплюй только сквозь зубы – цырк.

– Этакой-то в Иванихе сколько хошь. Глубже бери: тут первый сорт должна быть, а не то что...

Рыли-рыли, до темной ночи рыли: все то же. Под крапивищей ночь проворочались, с утра опять рыть. А уж глубь, жуть в колодце, черви какие-то пошли, поганые, голые, розовые, мордастые. Роют – пороют, пристанут Иваны, призадумаются. А Переплюй сверху – еле-еле слыхать:

– Глубже, братцы, бери! Самую еще малость нажать.

И дошли тут до какого-то сузёму: крепкий – скрябка не берет, и вода мешает – воды порядочно, все такая же, как в Иванихе. Лом взяли: тукнут, а оттуда гук идет, как из бочки, пещера, что ли. Тукнули это еще посильней: как загудит все – да вниз, и вода вниз, и щебень, и комья, и инструмент весь, глаза запрашило, оглохли, еле на прилипочке каком-то сами удержались.

Протерли глаза Иваны, глянули под ноги... С нами крестная сила! Дыра – а в дыре небо синее. Вверх глянули: далеко, чуть светится небо синее. С нами крестная сила: проколупали землю насквозь!

Сробели, шапки в охапку, да наверх драла: Самоглот – Оголтню на плечи, Оголтень – Носопыру, Носопыр – на Соленые-Уши, Соленые-Уши – на Белены-Объелся, так и выбрались.

Выбрались – первым делом Переплюю бока намяли. Манатки в котомы да назад в Иваниху: без воды, без инструменту куда же теперь? Только и утехи, что по щепоти новой земли в Иваниху притащили.

Соседям показывают, а соседи не верят.

– Бреши, бреши больше; кабы такая земля где была, так неужто бы назад вернулись?

А про это, как насквозь проколупали, никак и рассказать нельзя: засмеют. Так брехунами Иваны и прослыли, и по сю пору никто не верит, будто на новых землях были. А ведь были же.

<1918>

АНГЕЛ ДОРМИДОН

Был такой глупый ангел, по имени – Дормидон.

Все ангелы, известно, – от дыхания Божия: дохнет Господь – и ангел, дохнет – еще ангел. А тут погода была плохая, чихнулось – и вылетел ангел от чоха, оттого и несуразный. Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела – так ему чтоб сразу все, с бухты-барахты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик – тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам – никак толку нет.

«Ну, коли так, – думает, – ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

– Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буянит – мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым братом спрятался, и оба за животики держатся:

– Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови!

Добежал мужик, тень – нырь в ворота. Мужик за ней:

– А-а! Еще гогочешь, проклятая! Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом сплеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат – так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие. Взмылили ему голову, как надобно, а он

стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

– Ну, Дормидон, – говорит бог, – теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого предоставил.

– Фу ты, Господи: да неуж не предоставлю? Я-то? – и к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать – мужикову брату на домовину, и веревок – домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный – страсть! – Дормидона так и чешет.

– Во-от въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон – будто и не ему: знай перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильдикаться?»

Глядь – цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой – как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же... И мужику на ухо:

– Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только, это, вышли с Дормидоном на выгон – ну который за базаром выгон – Дормидон хвать цыганов аркан мужику на шею – и поволок.

Мужик – в голос:

– Батюшка! Ослобони, родимый! Брат неприбран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону – потешно, ржет:

– Ну-ка еще? Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! – так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец – сел на землю колодой – и все: поди сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки – дюжий был – за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуще, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть, тут мужик, ну и ладно, а что утих – и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.

– Вот он, мужик-то ваш. Предоставил.

Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут Господь – не приведи Господи как...

– Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас – вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжили Дормидону крылья – и на землю сослали. Пока, это, еще опять до ангелов дослужится.

1916

ХРЯПАЛО

Тряхнуло – посыпались сверху звезды, как спелые груши. Опустел небесный свод, стал как осеннее желтое поле: только ветер над желтой щетиной гудит неуютно, и на краю, на дальней дороге медленно ползут два черных человека-козявки. Так ползли в пустом небе солнце и месяц, черные, как бархатные ризы на службе в Великий Пяток: черные, чтоб светлее сияло Воскресение.

Тут-то и попер по земле Хряпало. Ступни медвежачьи, култыхается, то на правую ногу, то на левую. Мертвая голова вепря – белая, зажмуренная, лысая: только сзади прямые патлы, как у странника, до плеч. И на брюхе – лицо, вроде человечьего, с зажмуренными глазами, а самое где пуп у людей – разинается пасть.

В поле под озимое орал дед Кочетыг. Штаны пестрядинные, рубаха посконная; волосы веревочкой подвязаны, чтобы в глаза не лезли. Глянет в небо дед: жуть. А пахать все равно надо. Такое уж дело.

И сзади Хряпало наперся на деда: глаза у Хряпалы только так, для порядку, а разожмурить не может, по чем ни попадя прет.

– Ты кто такой? – деду говорит, – где пуп у людей – разинул Хряпало пасть – брюхом говорит. – Ты чего на моей дороге? – другую пасть раззявил, вепрячью, – хряп: одни дедовы лапти наружи.

Еле-еле слыхать, будто из-под земли, дедов голос:

– А хлеб как же? Хлеба не будет...

А Хряпало – брюхом:

– А мне наплевать... – только и видели деда.

На просеке девчушка Оленка цветы сбирала – первые колокольцы весенние. Мелькают босые ноги, белые меж-

ду колокольцев, и сама, как золотой колоколец, заливается: про свекровь-матушку, про лиха мужа, – за сердце берет.

Споткнулся Хряпало на Оленку:

– Ты чего на дороге? – хряп: одни пятки босые забились, белые.

Из глуби только и успела крикнуть Оленка:

– А песня...

– А мне наплевать, – пробрюхал Хряпало и последнее заглотил – белые пятки.

Где ни пройдет Хряпало – пусто, и только сзади него останется – помет сугробами.

Так бы и перевелась людь на земле, да нашелся тут человек, офеня, и фамилия у него какая-то обыкновенная, не то Петров, не то Сидоров, и ничего особенного, а просто сметливый, ярославский.

Приметил офеня: не оборачивается Хряпало, все прямо прет, невозможно ему оборачиваться.

И с ухмылочкой ярославской поплелся офеня тихонько за Хряпалой. Не больно оно сладко, конечно: не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато – верное дело.

За ярославским офеней и другие смекнули: глядь, уж за Хряпалой – чисто крестный ход, гужом идут. Разве только дураки какие, вовсе петые, не спопашились за спину хряпалову от Хряпалы спрятаться.

Петых дураков Хряпало живо докончил и без пропитания околел, конечно. А ярославский народ зажил припеваючи и Господа Бога благодарил: жирная земля стала, плодородная от помета, урожай будет хороший.

<1917>

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое – ничего толку. Уж и за что взяться не знает.

А тут сосед какой-то возьми да и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство – электричество от всех болезней может.

Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою – сапог натягивает.

– Ты куда ж это ни свет ни заря? – баба галамеева спрашивает.

– А электричеством, – говорит, – лечиться пойду. Одно мне только теперь и осталось.

– Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое – умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

– Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил? «Ты-ы, батюшка...» Ну, то-то. И без доктора, молка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медной круг – и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючочек сделал – и ждет. А рань еще, камни розовые, ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючочек на самый на трамвайный провод: ну-ка, Господи, благосло...

Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели – и наземь свалился.

Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тёр-тёр, кой-как доктор оттёр Галамея, открыл Галамей один глаз.

– Ну, как? – доктор спрашивает. – Как чувствуете?

– Ничего, – говорит, – не чувствую. Вылечился, слава тебе, Господи.

И Богу душу отдал.

1917

ДЬЯЧОК

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выиграл, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячок, Роман Яковлич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь – чисто царь: все может.

Роман Яковлич Носик – сложения деликатного, и мысли у него – деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви – милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках алых, золотых и лилейных.

Всю ночь дьячок ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенней. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Только увидал Роман Яковлич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град – сразу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

– Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

– Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячок от волнения уж вовсе невнятен:

– Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей... На горе Синайской... чтоб, значть, облака...

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора – две капли воды – Синайская, и зацепились за маковку неописанной красы облака.

Только хотел дьячок на колени пасть – глядь, стоит телега парой, на грядушке – солдат кривой:

– Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

– Чего такое? Кто послал? Куда?

– А на маковку, в облака в самые... – и такой у кривого солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячихой на телегу – и покатили.

Сорок дней – сорок ночей на маковку ехать. Дьячиха – знай себе подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячок – будто к причастью, не пьет – не ест, исхудал, лицом посветлел. Уж будто видать и соборы синекупольные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлич, как Моисей – в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кормили.

– Ну, завтра – чуть свет приедем... – И показалось, кривой солдат подмигнул: – Время есть, – может, назад повернуть?

– Что ты, кривой, Господи помилуй! На самый напоследок – да повернуть?

Закрылись веретьем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячок с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уж храпит, а дьячку – не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоют нездешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячок, как и приехали, не учуял. Только слышит – гаркнул кривой солдат:

– Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячок глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

– Ты чего ж, кривой, брешешь, чертов сын! Пре-е-хали! А облака-то где?

– А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... – да как загогочет – и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

1915

АРАПЫ

На острове на Буяне – речка. На этом берегу – наши, краснокожие, а на том – ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь – филейный. Супу наварили, отбивных нажарили – да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли – воп, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им – через речку:

– Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что ж это, а?

– А что? – говорят.

– Да на вас что – креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

– А вы из нашего – отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

– Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы вашего арапа ели, а вы – нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, – глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе – уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово – арапы. И уродятся же на свет этакие!

1920

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустит – и думает.

А сопли у Петра Петровича – лиловые, а происхождения Петр Петрович индейского. А жена у Петра Петровича – клюшка Аннушка, рябенькая: другой месяц женаты.

И как вылупились из земли слепые еще головенки первых трав – занасестилась Аннушка. Причесываться перестала, расшершавилась – ходит и квохчет и охает, а Петр Петрович на одной ноге стоит и думает, думает: вот – яйца, с рыженькими веснушками; а не нынче-завтра из них индюшата выйдут, желтые, как одуванчик, пуховые, как одуванчик.

– Ну до чего интересно!

А рябенькая Аннушка – свое бабье дело делает: в кошелке на яйцах сидит. Неделя, другая. Извелась Аннушка, не пьет – не ест, с места не сходит.

Петру Петровичу не терпится.

– Ну, как там у тебя?

Краснеет Аннушка:

– Да теперь уж, поди, как следует. Только еще пушком не обросли. Еще недельку бы надо.

– Ну-у: неделю! Так и не дождешься. Экие вы, бабы!

Умнее Петра Петровича в целом свете нету, и все думает, и все думает: на одну ногу станет – и думает.

И решил Петр Петрович: бабы – известно, рохли, копухи, чего на них глядеть, надо по-нашему, по-индей-петушиному.

Пришел к Аннушке – один глаз прищурен: хитрый – беда!

– Поди-кось попей, Аннушка. В лоханке – вода свежая, а я без тебя за яйцами пригляжу.

Ушла Аннушка пить, а Петр Петрович – в кошелку: кок – одно яйцо, кок – другое, кок – третье. Теплые индюшата, дышат, ей-Богу! Обрадовался вот как, и ну их из скорлупы тянуть.

Вытянул – а они страшные, голые, хлипкие, и самое, где задик, с отонком яичным срослись жилами, кровью. Отдирать стал – кишки тянутся, назад совать в скорлупу – назад не входят.

Отскочил Петр Петрович, побледнели сопли – и глядит, клюв разиня: яйца разбитые, и свесились через край желтенькие головки на нестерпимо-длинных, тоненьких шеях. И уж еле дышат.

Захлопал крыльями Петр Петрович – и скорей через забор, пока Аннушка не увидела. Бабы – они ведь какие: беда с ними!

1916

ХАЛДЕЙ

Сидел Халдей с логарифмами, тридцать лет и три года логарифмировал, на тридцать четвертый придумал трубу диковинную: видать через трубу все небо близехонько, ну будто вот через улицу. Все настояще видно, какие там у них жители на звездах, и какие вывески, и какие извозчики. Оказалось – все, как у нас: довольно скучно. Махнул рукой Халдей: эх... – и загорился.

А уж слух пробежал про трубу халдееву, народ валом валит – на звезды поглядеть: какие там у них жители. Ну прямо додору нет до трубы, в очередь стали, в затылок.

И дошел черед до веселой девицы Катюшки: веселая, а глаза – васильки, синие. Околдовала глазами Халдея, пал Халдей на белые травы, и нет ему слаще на свете катюшкиных губ.

Катюшка и говорит Халдею:

– А небо-то нынче какое. На небо-то глянь!

– Да чего там, видал я: и глядеть нечего.

– Нет, ты погляди.

Хи-итрая: подвела Халдея к трубе не с того конца, не с смотрячего, а с другого, ну где стекла-то маленькие.

Глянул Халдей: Бог знает где небо – далеко. Месяц маленький, с ноготок: золотой паук золотую паутину плетет и себе под нос мурлычет, как кот. А небо – темный луг весенний, и дрожат на лугу купальские огненные цветы, лазоревые, алые, жаркие: протянуть руку – и несметный купальский клад – твой.

И еще вспомнилось Халдею – когда маленький был: в чистый четверг на том берегу – от стояния народ идет, и несут домой четверговые свечки.

Сразу – тридцать три года и логарифмы с плеч долой. Набежали на глаза слезы, поклонился Халдей в ноги девице веселой:

– Ну, Катюшка, век не забуду: научила глядеть.

<1917>

ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую – чтоб небу жарко, чертям тошно стало, чтоб на весь мир про Иванову церковь слава пошла.

Ну, известно: церковь ставить – не избу рубить, денег надо порядочно. Пошел промышлять денег на церковь Божию.

А уж дело к вечеру. Засел Иван в логу под мостом. Час, другой – затопали копыта, катит тройка по мосту: купец проезжий.

Как высвистнет Иван Змей-Горынычем – лошади на дыбы, кучер – бряк оземь, купец в тарантасе от страху – как лист осиновый.

Упокоил кучера – к купцу приступил Иван:

– Деньги давай.

Купец – ну клясться, божиться: какие деньги?

– Да ведь на церковь, дурак: церковь хочу построить. Давай.

Купец клянется-божится: «сам построю». А-а, сам? Ну-ка?

Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знамением – и стал купцу лучинкою пятки поджаривать. Не стерпел купец, открыл деньги: в правом сапоге – сто тыщ, да в левом еще сто.

Бухнул Иван поклон земной:

– Слава тебе, Господи! Теперича будет церковь.

И костер землей закидал. А купец охнул, ноги к животу подвел – и кончился. Ну что поделаешь: Бога для ведь.

Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером

закопаны, вывел Иван церковь – выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь.

Кликнул Иван клич: готова церковь Божия, все пожалуйте. Собралось народу видимо-невидимо. Сам архиерей в золотой карете приехал, а попов – сорок, а дьяконов – сорок сороков. И только, это, службу начали – глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот:

– Отчего, – говорит, – у тебя тут дух нехороший? Поди, старушкам скажи: не у себя, мол, они на лежанке, а в церкви Божией.

Пошел Иван, старушкам сказал, вышли старушки; нет: опять пахнет! Архиерей попам пальцем мигнул: заладили все сорок попов; что такое? – не помогает. Архиерей – дьяконам: замахали дьякона в сорок сороков кадил: еще пуще дух нехороший, не продохнуть, и уж явственно: не старушками – мертвой человечиной пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ – дьякона тишком, а попы задом: один архиерей на орлеце посреди церкви да Иван перед ним – ни жив, ни мертв.

Поглядел архиерей на Ивана – насквозь, до самого дна – и ни слова не сказал, вышел.

И остался Иван сам-один в своей церкви: все ушли, не стерпели мертвого духа.

1920

ДРЯНЬ-МАЛЬЧИШКА

Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькие ручки, шелковые кудри, разные там кружевца да прошивки. А уж это-то как замечательно: нажать хорошенько – и сейчас тебе скажет: «лю-блю», да еще и глазки голубые закатит.

Играть бы да играть Петьке да родителей благодарить: не всякому такие игрушки дарят. Так вот нет же: глупый мальчишка, больно уж умен не в меру. День поиграл, другой. На третий – пожалуйте:

– Отчего глазами так делает? Отчего пахнет хорошо? Отчего «лю-блю»?

Перочинный ножичек, да вспорол, да до всего и добрался – отчего что.

А только – ничего интересного: для томных глаз – шарики какие-то свинцовые; под розовым атласом – кожей – гнилые опилки; для «лю-блю» – резиновый пузырь с дудкой.

Зашили потом родители кое-как, да уж не то: «лю-блю»-то уж не умеет делать.

Петьку выдрали: глупый мальчишка – будет знать, как игрушки портить. Говорёно сколько раз: игрушки – для игры, а не хочешь играть, дрянь-мальчишка, отдай другому. А то ишь ты: внутри ему глядеть надо, ломать ему надо.

– Не ломать, не ломать, не ломать!

Так его.

1915

КАРТИНКИ

Пришел я к приятелю – денег взаймы просить. Ни самого нет дома, ни жены нету: вышел ко мне в залу мальчик, чистенький такой.

– Вы погодите немножко. Папа-мама сейчас придут.

А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки показывать.

– Ну, это вот что?

– Волк, – говорю.

– Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает, он овечков кушает...

И этак все картинки объясняет дотошно: ну смерть – надоел. Петуха раскрыл:

– А это что? – спрашивает.

– Это? Изба, – говорю.

Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя кой-как справился, нашел мне настоящую избу:

– Ну а это что?

– А это – веник березовый, вот что.

Улыбнулся мальчик вежливо и доказывать стал: изба – зернышки не клюет, а петух – клюет, а в петухе – жить нельзя, а в избе можно, а у веника – дверей нету, а у петуха...

– Вот что, – говорю, – милый мальчик: если ты сию минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину.

Поглядел мне в глаза мальчик, увидал – правда выкину. Заревел, пошел бабушке жаловаться.

Вышла бабушка в залу и стала меня корить:

– И как же вам не совестно, молодой человек? За что вы милого мальчика? Ведь он вам истинную правду говорил.

1916

БЯКА И КАКА

В печурке у мужика – пух утиный сушился. И завелись в пуху Бяка да Кака. Вроде черных тараканов, а только побольше, рук две, ног две, а язык один – длиинный: пока маленькие были сами себя языком, вместо свивальника, пеленали.

Хорошенькие такие, богомольные – мужик на ночь – Троеручице поклоны бьет, а Бяка да Кака сзади – спине мужиковой. Днем из избы сор носили; по престольным праздникам, в новых красных рубашечках, мужика поздравляли. И до масленицы было – как нельзя лучше.

На масленице – принес браги мужик: такая брага – все вверх дном. Рожи, хари, нечистики; ухваты – по горшкам, черепки; изба – трыкнула и самоходом пошла – куда глаза глядят. А мужик – без задних ног, и на брюхе – огарок догорает, потрескивает: вот-вот мужикова рубаха займется.

Бяка да Кака со всех ног кинулись: огарок тушить.

– Да пусти ты: я потушу.

– Нет ты пусти: я...

– Я мужика больше люблю; а ты – так себе, я зна-аю!

– Нет я больше. А ты Бяка!

– Я – Бяка? А ты – Кака! Что, ага?

Да в ус, да в рыло – и клубком по полу. Катались-катались, а от огарка – рубаха, от рубахи – мужик, от мужика – изба. И с мужиком, с избой вместе – Бяка и Кака: от всего – одна сажа.

1920

ЧЕТВЕРГ

Жили в лесу два брата: большенький и меньшенький. Большенький – неграмотный был, а меньшенький – книгочей. И близко Пасхи заспорили между себя. Большенький говорит:

– Светлое Воскресенье, разговляться надо.

А меньшенький в календарь поглядел:

– Четверг еще, – говорит.

Большенький ничего малый, а только нравный очень, заворотень, слова поперек не молви. Осерчал большенький – с топором полез:

– Так не станешь разговляться? Четверг, говоришь?

– Не стану. Четверг.

– Четверг, такой-сякой? – зарубил меньшенького большенький топором – и под лавку.

Вытопил печку, разговелся большенький чем Бог послал, под святыми сел – доволен. А за теплой печкой – вдруг сверчок:

– Чтверг-чтверг. Чтверг-чтверг.

Осерчал большенький, под печку полез – за сверчком. Лазил-лазил, вылез в сопухе весь, страшный, черный: изловил сверчка и топором зарубил. Упарился, окошко открыл, сел под святыми, доволен: ну, теперь кончено.

А под окошком – откуда ни возьмись, воробьи:

– Четверг, четверг, четверг!

Осерчал большенький еще пуще, погнал с топором за воробьями. Уж он гонялся-гонялся, какие улетели, каких порубил воробьев.

Ну, слава Богу: зарубил слово проклятое: четверг. Инда топор затупился.

Стал топор точить, – а топор об камень:

– Четверг. Четверг. Четверг.

Ну, уж коли и топор про четверг – дело дрянь. Топор обземь, в кусты забился, так до Светлого Воскресенья большенький и пролежал.

В Светлое Воскресенье – меньшенький брат воскрес, конечно. Из-под лавки вылез – да и говорит старшему:

– Будет, вставай. Вздумал, дурак: слово зарубить. Ну уж ладно: давай похристосуемся.

1917

ХЕРУВИМЫ

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. И летают, и летают, крыльями полощут по-ласточьи, под потолком трепыхаются. Вот теперь – пониже, вот шторку задели, об лампу стукнулись, опять к потолку. Прочитала им бабушка херувимскую и всякую молитву про херувимов вспомнила – прочитала, а они все летают.

Уж так стало жалко бабушке херувимов – терпенья нет. И говорит она – какому поближе:

– Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

– И рад бы, бабушка, посидеть, да нечем.

И верно: головка да крылышки – все существо ихнее. Ничего не поделаешь.

1917

ОГНЕННОЕ А

Которые мальчики очень умные – тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный – и подарили ему книжку: про марсиан.

Лег Вовочка спать – куда там спать: ушки горят, щечки горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на Землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя.

На сеновале – Вовочка и трое второклассников, самых верных: Иловайского – в угол. Четыре головы – над бумажкой: чертят карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...

За ужином большие читали газету: про хлеб, забастовки – и спорят, и спорят – обо всякой ерунде.

– Ты, Вовка, чего ухмыляешься?

– Да уж больно вы чудные: марсиане нам знаки подают, а вы – про всякую ерунду.

– А ну тебя с марсианами... – и про свое опять. Глупые большие!

Заснули наконец. Вовочка – как мышь: сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадет, в окошко прыг! – и на пустой монастырский выгон, за лесным складом купца Заголяшкина.

Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина. Сложили из дров букву А – и заполыхало на выгоне огненное А для марсиан, колоссальное огненное А: в пять сажен длиной.

– Трубу!.. Трубу наводи скорее!

Навел мальчик Вовочка подзорную трубу, трясется труба.

– Сейчас... кажется... Нет еще... Сейчас-сейчас...

Но на Марсе – по-прежнему. Марсиане занимались своим делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Ну, стало быть, завтра увидят.

Уж завтра – обязательно.

– Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?

– Такой нынче день. Особенный.

А какой не сказал: все одно не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная, эпоха истории Иловайского: уж нынче марсиане – обязательно...

И вот – великая ночь. Красно-огненное А, четыре багровых тени великих второклассников. И уж наведена и дрожит труба...

Но заголяшкинский сторож Семен – в эту ночь не был пьян. И только за трубу – Семен сзади:

– Ах-х вы канальи! Дрова-а переводить зря? Держи-держи-держи! Стой-стой!

Трое, самых верных, – через забор. Мальчика Вовочку заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек.

А с утра великих второклассников глупые большие засадили за историю Иловайского: до экзамена один день.

<1918>

ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околоточный, – все кто-то скребется, постукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль – не прочихаешься, и выходит серенький, в пыли, Фита. Пола – преимущественно мужского, красная сургучная печать за нумером на веревочке болтается. Младенец, а вида – почтенного, лысенький и с брюшком, чисто надворный советник, и лицо – не лицо, а так – фита, одним словом.

Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу: усыновил его околоточный и тут же в уголку, в канцелярии, поселил – и произрастал Фита в уголку. Понатаскал ему из подполья старых рапортов, отношений за нумером, в рамочках в уголку своем развесил, свечку зажег – и молится, степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит, – а Фита, глядь, к чернильнице припал и сосет.

– Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?

– А чернила, – говорит, – пью. Тоже чего-нибудь мне надо.

– Ну ладно уж, пей. Чернила-то казенные.

Так и питался Фита чернилами.

И до того дошло – смешно даже сказать: посусолит перо во рту – и пишет, изо рта у Фиты – чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фита разные рапорты, отношения, предписания строчит и в уголку у себя развешивает.

– Ну, Фита, – околоточный говорит, отец-то названый, – быть тебе, Фита, губернатором.

А год был тяжелый – ну какой там, этот самый: и холера, и голод.

Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедля – ну разносить:

– Эт-то что у вас такое? Холера, голод? Й-я вас! Чего смотрели, чего делали?

Жители очесываются:

– Да-к мы что ж, мы ничего. Доктора́ – холерку подлечили маленько. Опять же к скопским бы за хлебом спосылать...

– Я вам – доктора! Я вам – скопских!

Посусолил Фита перо:

– «Предписание № 666. Сего числа, вступив надлежаще в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедля быть сытыми. Фита».

– «Предписание № 667. Сего числа предписано мною незамедлительное прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного, сим увольняются сии, кои самовольно именуют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холерой подлежат законному телесному наказанию. Фита».

Прочитали предписание в церквах, расклеили по всем заборам. Жители отслужили благодарственный молебен и в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. И степенный, лысенький, с брюшком – похаживал Фита без шляпы кругом собственного монумента.

Прошел день и другой. На третий... глядь, холерный заявился в самую фитину канцелярию: стоит там и корчится, – ведь вот не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законное телесное наказание. А холерный вышел – и противоправительственно помер.

И пошли, пошли мереть – с холеры и голоду, и уж городовых не хватало для усмирения преступников.

Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали, по-мужицки: народ необразованный, темный.

И рассказывают: кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался: не кричал, и ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский черт. И осталось только чернильное пятно да эта самая сургучная печать за нумером. Так Фита кончился. Но до конца еще умудрился столько дивных делов натворить, что одним духом и не сказать всех.

<1917>

ВТОРАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Указом Фита отменил холеру. Жители водили хороводы и благоденствовали. А Фита дважды в день ходил в народ, беседуя с извозчиками и одновременно любуясь монументом.

– А что, братцы, кому монумент-то, знаете?

– Как, барин, не знать: господину исполняющему Фите.

– Ну то-то вот. Не надо ли вам чего? Все могу, мне недолго.

А была извозчичья биржа около самого собора. Поглядел извозчик на монумент, на собор поглядел – да и говорит Фите:

– Да вот, толковали мы намедни: уж больно нам округ собора ездить несподручно. Кабы да через площадь прямая-то дорога...

А был Фита умом быстр, как пуля. Сейчас, это, в канцелярию за стол – и готово:

«Имеющийся градский собор неизвестного происхождения сим предписываю истребить немедля. На месте вышеупомянутого собора учредить прямоезжую дорогу для г. г. легковых извозчиков. Во избежание предрассудков исполнение вышеизложенного поручить сарацинам. Подписал Фита».

Утром жители так и обомлели: собор-то наш, батюшки! В сарацинах весь – сверху донизу: и на всех пяти главах, и на кресте верхом, и по стенам, как мухи. Да черные, да голые – только веревочкой препоясаны, и кто зубом, кто шилом, кто дрючком, кто тараном – только пыль дымит.

И уж синих глав нету, и на синем – звезд серебряных, и красный древний кирпич кровью проступил на белогрудых стенах.

Жители от слез не прохлебнутся:

– Батюшка, Фита, благодетель ты наш, помилуй! Да уж мы лучше кругалем будем ездить, только собор-то наш, Господи!

А Фита гоголем ходит – степенный, с брюшком, на сарацин поглядывает: орудуют – глядеть любо. Остановился Фита перед жителями – руки в карманы:

– Чудаки вы, жители. Ведь я – для народа. Улучшение путей сообщения для легковых извозчиков – насущная потребность, а собор ваш – что? Так, финтифлюшка.

Тут вспомнили жители: не больно давно приходил по собор Мамай татарский, от Мамая откупились – авось, мол, и от Фиты откупимся. В складчину послали Фите ясак: трех девиц красивейших да чернил четверть.

Разгасился Фита, затопал на жителей:

– Пошли вон сейчас! Туда же – Ма-ма-ай! Мамай ваш – мямля, а у меня сказано – и аминь.

И сарацинам помахал ручкой: гони, братцы, вовсю, уж стадо домой идет.

Село солнце – от собора остался только щебень. Своеручно пролинеил Фита мелом по линеечке прямоезжую дорогу. Всю ночь сарацины орудовали – и к утру пролегла через базарную площадь дорога – прямая, поглядеть любо.

В начале и в конце дороги воздвигли столбы, изукрашенные в будошный черно-желтый цвет, и на столбах надписание:

«Такого-то года и числа неизвестного происхождения собор истреблен исполняющим обязанности Фитой. Им же воздвигнута сия дорога с сокращением пути легковых извозчиков на 50 саженей».

Базарная площадь была наконец приведена в культурный вид.

<1917>

ТРЕТЬЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Жители вели себя отменно хорошо – и в пять часов пополудни Фита объявил волю, а будошников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицейского правления, и на всех перекрестках, и у будок – везде стояли вольные.

Жители осенили себя крестным знамением:

– Мать Пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будошника – в чуйке, а?

И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали – чисто будошниками родились. В участок тащили, в участке – и в хрюкалку, и под микитки – ну все как надобно. Жители от радости навзрыд плакали:

– Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют – вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы! Та-ак... Слава тебе, Господи!

Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге: до того хорошо стало в остроге – просто слов нету. И обыщут тебе, и на замочек запрут, и в глазок заглянут – все свои же, вольные: слава тебе, Господи...

Однако вскорости местов не хватать стало, и пускали в острог жителей только какие попочтеннее. А прочие у входа ночь напролет дежурили и билеты в острог перекупали у барышников.

Уж это какой же порядок! И предписал Фита:

«Воров и душегубов предписываю выгнать из острога с позором на все четыре стороны».

Воров и душегубов выгнали на все четыре стороны, и желавшие жители помаленьку в остроге разместились.

Стало пусто на улицах – одни вольные в чуйках; как-то оно не того. И опубликовал Фита новый указ:

«Сим строжайше предписывается жителям неуклонная свобода песнопений и шествий в национальных костюмах».

Известно, в новинку – оно трудно. И для облегчения неизвестные люди вручили каждому жителю под расписку текст примерного песнопения. Но жители все-таки стеснялись и прятались по мурьям: темный народ!

Пустил Фита по мурьям вольных в чуйках – вольные убеждали жителей не стесняться, потому нынче – воля, убеждали в загривок и под сусало и, наконец, убедили.

Вечером – как Пасха... Да что там Пасха! Повсюду пели специально приглашенные соловьи. Повзводно, в ногу, шли жители в национальных костюмах и около каждого взвода вольные с пушкой. Единогласно и ликующе жители пели, соответственно тексту примерного песнопения:

Славься, славься, наш добрый царь.
Богом нам данный Фита-государь.

А временно исполняющий обязанности Фита раскланивался с балкона.

Ввиду небывалого успеха жители тут же, у балкона Фиты, под руководством вольных, в единогласном восторге, постановили – ввести ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух.

В эту ночь Фита первый раз спал спокойно: жители явственно и быстро просвещались.

<1917>

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

А был тоже в городе премудрый аптекарь: человека сделал, да не как мы, грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать?

И велел Фита аптекаря предоставить.

– Скажи ты мне на милость: и чегой-то мои жители во внеслужебное время скушные ходят?

Глянул в окошко премудрый аптекарь: какие дома с коньками, какие с петушками; какие жители в штанах, какие в юбках.

– Очень просто, – Фите говорит. – Разве это порядок? Надо, чтоб все одинаковое. Вообще.

Та́к – так та́к. Жителей – повзводно да за город всех, на выгон. И в пустом городе – пустили огонь с четырех концов: дотла выело, только плешь черная – да монумент Фите посередке.

Всю ночь пилы пилили, молота стучали. К утру – готово: барак, вроде холерного, длинный в семь верст и три четверти, и по бокам – закуточки с номерками. И каждому жителю – бляху медную с номерком и с иголочки – серого сукна униформу.

Как это выстроились все в коридоре – всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах – что жар-птицы, одинаковые все – новые гривеннички. До того хорошо, что уж на что Фита – крепкий, а в носу защекотало, и сказать – ничего не сказал: рукой махнул и в свою закуточку, №1. Слава тебе, Господи: все – теперь и помереть можно...

Утром, чем свет, еще и звонок не звонил (по звонку вставали) – а уж в № 1 в дверь стучат:

– Депутаты там к вашей милости, по неотложному делу.

Вышел Фита: четверо в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые. В пояс Фите.

– Да вы от кого депутаты?

И загалдели почтенные – все четверо разом:

– Это что ж такое – никак невозможно – это нешто порядок... От лысых мы, стало быть. Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под польку, мы – лысые? Не-ет, никак невозможно...

Подумал Фита – подумал: по кучерявому всех – не поодинаковить, делать нечего – надо по лысым равнять. И сарацинам рукой махнул. Налетели – набежали с четырех сторон: всех – наголо, и мужеской пол, и женский: все – как колено. А аптекарь премудрый – чудно́й стал, облизанный, как кот из-под дождичка.

Еще и стричь всех не кончили – опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фита смурый: какого еще рожна?

А депутаты:

– Гы-ы! – один в кулак. – Гы-ы! – другой. Мокроносые.

– От кого? – буркнул Фита.

– А мы, этта... Гы-ы! К вашей милости мы: от дураков. Гы-ы! Жалаем, знычть, чтоб, знычть... всем, то есть, знычть... равномерно...

Туча тучей вернулся Фита в № 1. За аптекарем.

– Слыхал, брат?

– Слыхал... – голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке: от холоду, непривычно стриженому-то.

– Ну как же нам теперь?

– Да как-как: теперь уж чего же. Назад нельзя.

Перед вечерней молитвой – прочли приказ жителям: быть всем петыми дураками равномерно – с завтрашнего дня.

Ахнули жители, а что будешь делать: супротив начальства разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, до самого до вечернего звонка все читали. Со звонком – спать полегли, а утром все встали: петые. Веселье – беда. Локтями друг дружку подталкивают: «Гы-ы! Гы-ы!» Только и разговору: сейчас вольные в чуйках корыта с кашей прикатят: каша яшневая.

Прогулялся Фита по коридору – семь верст и три четверти – видит: веселые. Ну, отлегло: теперь-то уж все. Премудрого аптекаря в уголку обнял:

– Ну, брат, за совет спасибо. Век не забуду.

А аптекарь Фите:

– Гы-ы!

А ведь выходит дело – один остался: одному за всех думать.

И только это Фита заперся в № 1 – думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломятся, лезут, гамят несудом:

– Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже, знычть, понимаем! Ты, брат, тоже дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат!

Лег Фита на кроватку, заплакал. А делать нечего.

– Уж Бог с вами, ладно. Дайте сроку до завтрева.

Весь день Фита промежду петых толкался и все дурел помаленьку. И к утру – готов, ходит – и: гы-ы!

И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.

<1917>

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РУСЬ

Бор – дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, крепким грибным и смоляным духом, с седыми лохматыми мхами. Видал и железные шеломы княжьих дружин, и куколи скитников старой, настоящей веры, и рваные шапки степановой вольницы, и озябшие султаны наполеоновых французишек. И – мимо, как будто и не было; и снова – синие зимние дни, шорох снеговых ломтей – сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; желтые летние дни, восковые свечки в корявых зеленых руках, прозрачные медовые слезы по заскорузлым крепким стволам, кукушки считают годы.

Но вот в духоте вздулись тучи, багровой трещиной расселось небо, капнуло огнем – и закурился вековой бор, а к утру уж кругом гудят красные языки, шип, свист, треск, вой, полнеба в дыму, солнце в крови еле видно. И что человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нету бора, съело огнем: пни, пепел, зола. Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница, и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна; может, вырастет город – звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный – и со всего света, через моря и горы будут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси, расскажут для нас, кто десять лет – сто лет – назад еще видел все это своими глазами, и для тех, крылатых, что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказке.

Не петровским аршином отмеренные проспекты – нет: то Петербург, Россия. А тут – Русь, узкие улички – вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках, – переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье со старинными, из дуба резными названьями: с Зацепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой, Бабьегородом; подмосковная Коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Дмитрий, благословясь, вышел на Куликово поле; «Владимиров» Ржев с князь-Дмитриевской и князь-Федоровской стороной, может, и по сей день еще расшибающими друг дружке носы в знаменитых кулачных боях; над зеркальною Волгою – Нижний с разливанной Макарьевской, с пароходными гонками, со стерлядями, с трактирами; и все поволжские Ярославли, Романовы, Кинешмы, Пучежи – с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквами; и все черноземные Ельцы, Лебедяни – с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами для приезжающих, странниками, прозорливцами.

Это – Русь, и тут они водились недавно – тут, как в огороженной Беловежской пуще, они еще водятся: «всехдавишь» – медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские «князья». И надо всеми – красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь питерская вертунья-оса, а – как Волга: вальяжная, медленная, широкая, полногрудая, и как на Волге: свернешь от стрежня к берегу, в тень – и, глядь, омут...

В городе Кустодиеве (есть даже Каинск – неужто Кустодиева нету?) прогуляйтесь – и увидите такую красавицу, Дарью – Дарью Ивановну. Кто ж родителей ее не знавал: старого мучного рода, кержацких кровей, – жить бы им да жить и по сей день, если бы не поехали масленицей однажды кататься. Лошади были – не лошади, тигры, да и что греха таить – шампанского лошадям для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером – прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец!

С той поры жила Дарья у тетки Фелицаты, игуменьи, – и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис.

Рядом по монастырскому саду идут из церкви: Фелицата – с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Дарья – круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет – не то медом, не то яблоком, не то Дарьей.

– Ну что ж, Дарья: замуж-то не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит – расклюет, долго ли до греха!

Была когда-то в миру Фелицата, кликали ее Катей. Катюшенькой – и знает она, и помнит.

Ездят женихи к Дарье – да какие: тузы! Сазыкина взять – богатей первейший, из кустодиевских – Вахрамееву одному уступит. Отец его из Сибири, говорят, во время óно в мороженых осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем будто тут ладно было, – ну да ведь деньги – не меченые. Не речист, правда, Сазыкин и не первой уж молодости и чем-то на Емельяна Пугачева сдает – да зато делец, каких поискать.

Ездит и сам Вахрамеев, градской голова – по другой жене вдовец: будто к Фелицате ездит (еще Катей ее знал), да все больше с Дарьюшкой шутит. Как расправит свою – уже сивую – бороду да сядет вот так, ноги расставив, руками в колени упершись, перстнем поблескивая, да пойдет рассказывать – краснобаек у него всегда карманы полны – ну, тут только за бока держись...

А тетка торопит Дарью – чует, недолго уж жить самой:

– Ты, Дарья, – чего тут думать: к такому делу ум – как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай – да вот сюда, под иконы, к заступнице на полочку. Что вынется – тому и быть.

Вынула Дарья билетик с Вахрамеевым – и камень с сердца: тот-то, Сазыкин, темный человек, Бог с ним. А Вахрамеев – веселый, и отца ее знал – будет теперь ей вместо отца.

Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от заступницы вышло решение, – ничего, промолчал Сазыкин, в блюдце с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху – поползла, повизгивая, муха – долго глядел, как ползла.

А наутро узнали: тысячного своего рысака – запалил в ту ночь Сазыкин.

И зажила Дарья в вахрамеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской пожарной каланчой. Как пересаженная яблоня: привезут яблоню из Липецка – из кожинских знаменитых питомников – погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает – и, глядишь, привыкла, налилась – и уж снова цветет, пахнет.

Как за особенной какой-нибудь яблоней – Золотым Наливом – ходит Вахрамеев за Дарьей. Заложит пару в ковровые сани – из-под копыт метель, ветер – и в лавку: показать «молодцам» молодую жену. Молодцы ковром стелются – ходи по ним, Дарьюшка! А покажется Вахрамееву, чей-нибудь цыганский уголь-глаз искрой бросит в нее – только поднимет Вахрамеев плеткой правую бровь – и поникнет цыганский глаз.

Ярмарка: на ярмарку с Дарьей. Крещенский мороз, в шубах – голубого снегового меху – деревья, на шестах полощутся флаги: балаганы, лотки, ржаные расписные архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на снизке, с музыкой крутится карусель. И может, Дарье не надо фыркающих белым паром вахрамеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь – и за кого-то держаться – и чтоб ветром раздувало платье, ледком обжигало колени, а из плеча в плечо – как искра...

По субботам – в баню, как ходили родители, деды. Выйдут пешком, такой был у Вахрамеева обычай, а наискосок, из своего дому, Сазыкин – тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу – какие-нибудь свои прибаутки:

– Каково тебя Бог перевертывает? В баню? Ну – смыть с себя художества, намыть хорошества!

Сазыкин молчит, а глаза как у Пугача, и борода смоляная – пугачевская.

А в бане уж готов, с сухим паром – свой, «вахрамеевский», номер, и к нему особенный, «вахрамеевский», подъезд, и особенное казанское мыло, и особенные – майской березы – шелковые веники. И там, сбросив с себя шубу и шали и платье, там Дарья – атласная, пышная, розовая,

белая, круглая – не из морской пены, из жарких банных облаков – с веником банным выйдет русская Венера, там – крякнет Вахрамеев, мотнет головой, зажмурит глаза...

И уж ждет, как всегда, у подъезда лихач Пантелей – сизый от мороза курнофеечка-нос, зубы как кипень, веселый разбойничий глаз, – наотлет шапку:

– С малиновым вас паром! Пожалте!

До́ма – с картинами, серебряными ендовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком – парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки – и приземистая спальня, поблескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные, с небывалой тоской на дне, глаза, двуспальный пуховый ковчег...

Так неспешно идет жизнь – и всю жизнь, как крепкий строевой лес, сидят на одном месте, корневищами ушедши глубоко в землю. Дни, вечера, ночи, праздники, будни.

В будни с утра – Вахрамеев у себя в лавке, в рядах. Чайники из трактира и румяные калачи, и от Сазыкина – пятифунтовая банка с икрой. В длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы по-родительски стрижены «в скобку» или «под дубинку» – за чаем поигрывают миллионами, перекидывают пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк, и хитро, издаля, лисьими кругами – норовят на копейку объехать приятеля, клетчатыми платками вытирают лоб, божатся и клянутся.

– Да он, не побожившись, и сам себе-то не верит! – про этакого божеряку ввернет Вахрамеев – и тот сдался, замолк. Краснословье в торговле – не последнее дело.

Но и за делом Вахрамеев не забудет о Дарье. Глядь – у притолоки стоит перед ней из вахрамеевской лавки молодец – с кульком яблоков-крымок, орехов – грецких, американских, кедровых, волошских, фундуков:

– Хозяин вам велел передать.

И мелькает Дашеньке искрой цыганский уголь-глаз – и, не подымая ресниц, скажет: спасибо. А потом, забывши про закушенное яблоко, долго глядит в окно на синие тени от дерева – и вот на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк – вздохнула.

И зима, зима. От снега – все мягкое: дома – с белыми седыми бровями над окнами; круглый собачий лай; на солнце – розовый дым из труб; где-то вдали – крик мальчишек

с салазками. А в праздник, когда загудят колокола во всех сорока церквах, – от колокольного гуда как бархатом выстланы все небо и земля. И тут в шубке с соболями, в пестрых нерехтских рукавичках, выйти по синей снеговой целине – так, чтобы от каждого шага остались следы на всю жизнь – выйти, стать под косматой от снега колдуньей-березой, глотнуть крепкого воздуху, и зарумянятся от мороза – а может, и еще от чего – щеки, и еще молодо на душе, и есть, есть что-то такое впереди – ждет, скоро...

Пост. Желтым маслом политые колеи. Не по-зимнему крикучие стаи галок в небе. В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые Николы, Введенья и Спасы. Старинные, дедовские кушанья: щи со снетками, кисель овсяный – с суслом, с сытóй, пироги косые со щучьими телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле. И Пасха, солнце, звон – будто самая кровь звенит весь день.

На Пасху, по обычаю, все вахрамеевские «молодцы» – к хозяину с поздравлением, христосоваться с хозяином и хозяйкой. На цыпочках, поскрипывая новыми сапогами, по одному – вытянув трубочкой губы – прикладываются к Дарье, как к двунадесятой иконе, получают из ее рук пунцовое с золотым Х. В. яйцо.

И вдруг один – а может быть, только показалось? – один, безбородый и глаза цыганские – уголья, губы сухие – дрожат, губами приложился на одну самую песчинную секундочку дольше, чем все, и будто не икона ему Дашенька, не икона, а...

Сердце... нет, не сердце выскочило из рук: алое, как сердце, пасхальное яйцо – и покатилось к чьим-то ногам.

У Вахрамеева – правая бровь плеткой – молодцу:

– Эка, брат, руки-то у тебя – грабли! Чем голову набил?

Одна какая-то ночь – и из скорлупы вышел апрель, первая пыль, тепло. И как зимою ученики по красному флагу на каланче знают, что мороз – двадцать градусов и нету ученья, – так тут знают все, что тепло: сундучник Петров, вместе с товаром, вылез из своей лавки на улицу. Расставлены перед дверями узорочно кованные, писанные розами сундуки, и на табурете, подставив лысую голову солнцу – как подставляют ведро под дождевой желоб, – сам И. С. Петров с газетой.

– Ну, что новенького? Что там из города-столицы пишут?

И сундучник – на нос очки и, глядя поверх очков, – внушительно:

– Да вот в Москве на Трубе кожаного болвана поставили.

– Какого такого болвана?

– А такого: его, значит, по морде бьют – а он воет, чем ни сильнее бьют – он громче. Для поощрения, значит, атлетической силы и испытания, да.

И так от него двадцать лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах и войнах – обо всем, что творится там, далеко, куда бегут, жужжа на ветру, телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде, пароходы...

Пароходы, облака, месяцы, дни, птицы – мимо. А тут жизнь – как на якоре – качается пристанью, и люди – как крепкий строевой лес, глубоко корневищами ушедший в землю.

Но ведь говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится и ночь темна, – раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам – дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на место. И на белых, нагих, налитых весенним соком ногах, еще со следами пахучей, сдобной земли – всей толпой бредут они в темную ночь – и такое начинается, что...

Жара. Дни желтые – тяжелой той желтью, что бывает у яблок, уже спелых и готовых упасть – чуть только качни, погляди, дунь. Из старого вахрамеевского сада липы и сирень перевесились через забор всей грудью – так в душные вечера, смяв о подоконник пышное тело, выглядывают из окон ярославские, рязанские, замоскворецкие красавицы.

Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях – Дарья одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке – сломался на плинтусе – ползет по вощеному полу. За обоями в деревянной стене вдруг тихонько затикает что-то – медленней, медленней – и замрет: будто завелось в дереве какое-то сердце. И все хочется пить квас со льдом –

сохнут губы, – или неможется? – или не то: теснит в груди платье. А вечером в спальне скинет платье, задумается, поплывет в зеркале – и скорее: потушить свечу – потушить запылавшие щеки.

Наутро – под окном казанский «князь», в ватной шапке горшком, лопоухий, глаза вострые – как сквозь замочную скважину.

– Купи, барина, шали шелковые хороши – купи, кавалер любить будет. Ай, хороши! – причмокнет, подкинет шаль на руке. И ухмыляется, будто сквозь замочную скважину все подглядел, все знает.

Опустила Дарья глаза – рассердилась на себя, что опустила. Вышла на крылечко и сердито купила, что попалось – кружевной носовой платочек. Постояла, поглядела вслед «князю», поглядела на отбившееся от стада облако – вот такие же у ней были когда-то легкие и пухлые девичьи мысли... И уже повернулась домой – вдруг сзади у садового забора шорох, скрип по дощатому тротуару, и из-за угла цыганский угольный глаз:

– Дарья Ивановна...

Остановилась.

– Даша (– тихо)... Дашенька (– сухим, как песок, шепотом)... Ночью – в сад... придешь?

...Остановилась, чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить. И Бог весть почему – не выговорилось, пересмягли губы. Так молча, спиной к нему повернувшись, дослушала все до конца – только шелк шуршал на тугой груди.

А ночью вышла в сад – темною майскою ночью, когда уродился новый месяц, и все деревья, травы, цветы – с нагими, белеющими в темноте ногами, налитыми весенним соком, – шуршали, шептали, шелестели...

Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, розовые камни, оконные стекла, заборы, вода. И все – как вчера. Не было ничего.

И, как всегда, – веселый, шутейный, с краснобайками со своими, с сундуком, полным гостинцев, – приехал Вахрамеев. Раскрыл Дарье сундук, вынула она гостинцы, поглядела, положила назад, сидит неулыбой.

– Ты что, Дарья? Или муху с квасом невзначай проглотила?

– Так. Сон нынче ночью привиделся.

А был сон в руку. День ли, два ли прошли, а только пообедал Вахрамеев, после обеда лег почивать – да так и не встал. Будто стряпуха за обедом накормила его вместе со сморчками грибом-самоплясом, оттого-де и кончился. Говорили и другое – ну, да мало ли кто что скажет. Одно известно: отошел по-христиански, и последнее, что Дарье сказал: «Не выходи, – говорит, – за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил».

Погубила Сазыкина мука: не за Сазыкина вышла молодая вахрамеевская вдова, а за другого – с угольным цыганским глазом. Был слух: загулял Сазыкин с тоски. Был слух: велел зашить себя, пьяный, в медвежью шкуру и вышел во двор – во дворе псы цепные спущены – чтобы рвали его псы, чтобы не слышно, как тоска рвет сердце. А потом канул в Сибирь.

Так камень бултыхнет в водяную дремь, все взбаламутит, круги: вот разбежались – только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки – и снова гладь.

Разбежались круги – и опять жизнь мирная, тихая, как бормотание бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки, мелькая шпулькой, отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук, с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник И. С. Петров. Все в белом, мечутся половые в трактирах – только, как дым за паровозом, вьются следом за ними концы вышитого ручника да кисти от пояса. В конуре своей изограф Акимыч – трактирный завсегдатай – торопливо малюет на вывеске окорока и колбасы, чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголке – и лить слезы о пропитой жизни.

А вечером – в синих прорезах сорока колоколен качнутся разом все колокола, и над городом, над рощами, над водой, над полями, над странниками на дорогах, над богачами и пропойцами, над грешными по-человечьи и по-травяному безгрешными – над всеми расстелется колокольный медный бархат, и все умягчится, затихнет, осядет – как в летний вечер пыль от теплой росы.

1923

КУНЫ

Все выше взмывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле – рожь стоит золотая, жаркая и тихонько, матерински-довольно колышет колосья. Яблоки в садах стали томно-желтыми и качаются, каждый миг готовые отдать кому-то свою сладость. В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только красные спелые пионы и пьяные маки. За Куйманским лесом пруд весь зарос темной зеленью, из пруда по ночам выходят русалки и напролет, до утра, заломивши руки, тоскуют на берегу; уж поздно, отошло их время, прошла Русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся еще на целый год. Одна надежда на ильинские куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук-месяц: может, и попадет какой по ошибке в русалочий хоровод...

Ильин день – престол в Куймани, ярмарка. Всю ночь скрипят колеса мимо лабаза по крутому взволоку. Лабаз открылся с самого рассвета; желтый, лысый вышел лабазник Аверьян на порог, ухмыльнулся: телег кругом – сила, как стан татарский, заполонили весь базар, торчат вверх оглобли, лошади машут хребтюгами с кормом, руки выплескиваются – и опять ныряют вниз рыбой.

Увидали Аверьяна, огарнули: кому деготьку, кому шорного товару, кому жамок, кому аспидную доску – ребятенкам на забаву.

И только, было, руки – целые веники из корявых рук с деньгами – встопорщились перед Аверьяном на прилавке, как уж и закрывать надо: вдарили к обедне.

С сердцем перекрестился Аверьян:

– Ах, ешь твою... Мать Пресвятая Богородица...

Очистил нос направо и налево, застегнул пиджак и лицо – будто застегнутое двунадесятое стало лицо – и пошел в церковь.

За обедней жара, чуть не гаснут свечи, однако же парни в поддевках и в новых резиновых калошах: что поделаешь, дело молодое, всякому покрасоваться лестно.

Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять уж хихикают, неслухи, опять невесть что выкамаривают.

Девки, чинные, дивуются – ведомо на что. Первое – на коровинских баб. Бог весть каким чудом уберегли коровинские весь старый наряд и строго его блюдут. Все вместе, островом, стоят в церкви, важные и чудные, и не наши какие-то. Повойники от матерей, от бабок достались – унизаны серебряной монетой; убрусы шелковые, хитро обмотаны – рогами стоят над головой; поневы да сарафаны – домотканые, синие, с красной ластовицей, с бахромкой, с узором.

А на другое дивуются девки – на Марьку. Запевала, певунья наша, что с ней сталось! Первая затейница да задорница, и в церкви-то, бывало, на нее угомона нет, а нынче – стоит, не шелохнется, у Спасова образа, глаз не сводит. На белом плате – Нерукотворный Лик, светлокудрый, глаза неподнятые. И молится ему с жаркой любовью и с ненавистью. И это его голос из алтаря, повелевающий всем преклонить главу, – и так радостно преклонить перед ним голову. И это он в золотых ризах с крестом на амвоне.

Целует Марька холодную медь креста, потом – руку. И такие у ней губы – жадные, сухие, раскрытые, как трещина в бездождной земле... рука отдергивается, с дерзкой надеждой Марька поднимает глаза вверх. Но там все тот же на белом плате Нерукотворный Лик...

И вот кончилось, хлынули.

На паперти обступили Марьку. Пестрые, красные, солнечные, говорливые.

– Да неужто же не пойдешь, Марька? Как же мы без Марьки! Уж без Марьки какие же куны?

Звонит веселый колокол. Звонит солнце. Растормошили, отступило что-то назад, проснулась Марька. Кому-то в ответ хочется сделать злое и сладкое, подмигнула плечами и пошла, припечатывая каблуками через два шага в третий: эх-эх, да эх!

– Постой, постой, на паперти, что ты!

Куда там... за ней – заметелились – подняли кулиберду по всему по селу, докатились вихрем до самой ярмарки. Солнце между скрученных наверху оглобель, лошади с вымоченными квасом и расчесанными гривами, и нечесаные, как лешие, цыгане около них; берестяные коробки, глиняные свистульки, маковники, неистовые поросята в торбах, бабы – беременные и с ребятами на руках.

Какая-то развытная девка свистнула пригоршню жамок в ларьке – и рады все, заливаются: дороже им эти жамки, чем купленные. Завертели по дороге пьяненького дядю: потащили, как русалки, щиплют, хохочут.

Только завернули за Аверьянов лабаз – вот они, парни, ватагой шабуняют по улице. И уж конечно: верховодит не кто другой – Яшка Гребенщиков, кузнец.

Звонит колокол, звонит солнце. Но все где-то далеко, во сне: церковь, ярмарка, Куймань, гомон, пыль, расписные дуги, синие цыганские жупаны, топот, свист. А жизнь неспешная, древняя, мерным круговоротом колдующая, как солнце, – здесь на выгоне.

По-над озером, в сторонке, водят свой хоровод девушки-вековушки, все в темных платочках – так уж заведено. Тихонько поют, медленно кружатся в сторонке, – тут, под солнцем, такие какие-то слепые, ненужные, умершие. Но так уж заведено. Им свой почет, поминки – вечным девушкам.

Отпелись вековуши, погасли.

Медленно, еще зарумяненные, вышли на выгон молодые девки и немужние жены – солдатки, все в красных платках, такой уж обычай. Схватились крепким кругом – крепким частоколом оборонились от желанных врагов, от погубителей милых.

Посредине кунного города – ходит гордая царевна Марька: куны налево, Марька направо. Поет царевна звонкую насмешливую песню, закидывает хитрые сети.

Как за городом живут вóроги,
Золотой казны у них вóрохи,
Нет у вóрогов воевой головы...

Да ой ли так, разве уж нет?

В «ихнем» стане, у старой лозины – зашевелились, загорелись; смех, визгнула гармоника.

– Яша Гребенщиков, кому же еще? Он самый! Яшу повеличаем!

Румяный, крепкий, как яблоко-боровинка, встряхивает Яша стриженными под польку волосами, идет. Стал на полдороге, отдал поклон.

А Марька, откидывая голову, отдаваясь солнцу, – эх, все равно! – уж новую запела песню. Эх, быстрее, девки, эх, жарче: вороги близко.

У нас в городе царевна, царевна,
По-за городом царев сын, царев сын...

Вот он подошел, подбоченился. Брови крутые, губы – пион. Эх, не одну погубил, лютый...

Веселой, жаркой злобой напружилось сердце у Марьки. К кому? К Яше? Нет: что ей Яшка Гребенщиков? Так к кому же? Не скажет о том ни вчерашняя ночь, ни Спасов на плате Лик, ни вздрогнувший в руке медный крест.

...Он из тысячи любую выбирает,
Он и белым платочком махает...

Все быстрее кружится солнце, травы и деревья расплываются в жарком дурмане, мелькают по зелени пестрые платья, почти бежит кунный круг.

Эх, жисть, отопрись...

Разорвался кунный город против Яши, стал.

Вот она – царевна наша, бери – отдают, лукаво-покорные.

Быстро подымается высокая грудь у царевны, и под тонкой красной кофтой – два острых жала – справа и слева.

Опущены веки, но видит, но видит, какое вино у Яши в глазах.

Эх, потешиться хоть над этим, замучить, защекотать по-русалочьи – все равно, кто ни попадись по дороге...

Звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, кружится голова, поредел кунный круг, пыльно-зеленые сосны сейчас сорвутся с места и ринутся куда-то, хочется пьяно броситься на горячую траву...

Опять Яша да Марька посредине. Кругом него ходит избоченясь Марька, дразнит раскрытыми губами, обжигает плечом – и уж далеко, а он с протянутой рукой стоит, жаркий, измученный.

Сидят под кустами по двое и идут к Куймани, по пыльной дороге – обнявшись, по двое, усталые, ласковые.

– Глянь-ко, – говорит Яша, – а ты не велишь. не хочешь?

– Погоди до ночи, – Марька хмурится: «Ах, если бы не Яшка это сказал!»

Угарный, жаркий день к концу. Тянутся обратно телеги, задешево продают купцы последние платки, коробушки и пряники – козули. Уж на задах где-то, за огородами, мурлыкают и бормочут пьяные дяди – никак не найдут избы. Запыленное, разомлевшее солнце качается на самом краю синей чаши и устало смотрит налитым кровью глазом. Дергачи перебегают в душной траве и просят пить, пить.

Да нет ни капли. Хоть бы одна на смех, одна какая-нибудь дождинка.

Ночь. Темное небо, увешанное тяжелыми, горячими звездами.

Пономарь Африканыч, дылда с колокольню, – ночью еще выше в рыжей шляпе – добрался-таки до своей зава-

линки, плюхнулся, смотрит в небо. Эх, все пошло не по-человечьи, – где же видано, чтобы Ильин день без дождя.

Спешит Марька на кунный выгон. Усмехнулась Африканычу: «Нализался дядя! Эх!»

– Сама ты, эх! Развытная больно! Плясавица. Из-за вас этаких Илья и дождя не дает. Куда? Али на русалочий хоровод?

Покачиваясь, поплелся за ней. Потерял колею из-под ног, чуть не свалился в Куйманский лог, шел по целине. Да ведь что втемяшится пьяному в башку – ничем не вышибешь: разыскать Марьку, а то погубит себя девка. А девка-то какая: я-те-дам-девка, во!

Лежал, споткнувшись. Трава над лицом, пришлепала лягушка. Ах, ты, лягва-старуха! Ах, старуха! Похлопал приятельски по спине. Да холодная какая, черт! С нами Бог, разумейте...

Протрезвел как будто. Опять брел, наобум Лазаря брел. Донесло-таки. Пруд, пьяные кузнечики орут песни; не то туман белый по-над горой – не то русалки повели свои бесстыдные куны.

Через выгон идут две тени, вытягиваются. Все длинней. Голос Марькин, ей-Богу, ее смех злючий, как у русалки. А парень просит. Да, попроси-ка, они тебя поводят, покажут, жилочки все повытянут, и разве тогда уж...

Две длинные тени, обнявшись, скользят по выгону. Но где ж человеки-то сами? Хоть убей – не видать.

Смыкаются усталые глаза, засыпает Африканыч. Две тени молча садятся у старой ветлы, на валу, на остатках старого городища, – Бог весть какого старого.

Царевна и царев сын.

Царевна смеется и говорит цареву сыну: «Винишься передо мною, винишься, больше не будешь? Ну, ложись, лежи тут, а я на тебя ноги поставлю, и нишкни. Будешь тихонько – ну тогда, может быть...»

И долго сидит так. А потом качает царевна головой и плачет тихонько и все громче.

Вскакивает царев сын и засыпает ее поцелуями, как свадебным хмелем.

– Да как ты смеешь! – кричит шепотом царевна. – Да ты знаешь, о чем я? Я тебе велела тихо лежать, а ты что! Уходи, и смотреть на тебя не хочу!

Пустеет кунный луг. Смело выходят русалки и до утра, заломивши руки, тоскуют на деревьях, кличут, плачут малыми ребятами – быть им в девушках еще целый год.

Но никто не идет. Позаснули все в Куймани.

Медленным чародейным хороводом обходят вокруг ветхих избушек летние сны и все позволяют. Жаркое девичье тело, белея, раскидывается в темноте и отдается – кому хочет: все можно во сне.

Сладким медленным хороводом плывут летние сны, а к утру белыми хлопьями собираются над озером, из белого свивается прозрачная девушка, и около нее цветы молчат и птицы. Смотрит она утренними глазами на чуть мигающий золотом крест колокольни, медленно поднимается вверх и розовеет от подслушанных ночью снов.

Эх, сны! Милый, безумный мир – единственный, где люди свободны.

<1922>

РАССКАЗ О САМОМ ГЛАВНОМ

Мир: куст сирени – вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalocera с рогом на хвосте. Сегодня – мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом – тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать – если бы я умел! – все услыхали бы. Я – нем.

Еще мир: зеркало реки, прозрачный – из железа и синего неба – мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста – орловские, советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону – неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я – орловский и келбуйский, я – стреляю в себя, задыхаясь мчусь через мост, с моста падаю вниз – руки крыльями – кричу...

И еще мир – над Землею, над сиренью, океанами, Rhopalocera, облаками, выстрелами: над Землею, навстречу ей, из бесконечностей мчится еще невидимая, темная звезда. Там, на звезде – чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших тесно друг к другу – трупа, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее – удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени – новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане – еще новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы – ...

Над Землею – мыслями – облака. Одни – в выси, радостные, легкие, сквозь розовеющие, как летнее девичье платье; другие – внизу, тяжелые, медленные, литые, синие. От них тень быстрым, темным крылом – по воде, по

глиняным рубахам, по лицам, по листьям. В тени – отчаянней мечется Rhopalocera головой вправо и влево, и в тени чаще стрельба: солнце не мешает, удобнее целиться.

Миры пересеклись, и червь Rhopalocera вошел в мир Куковерова, Тали, мой, ваш – на Духов день (25 мая) в келбуйском лесу. В лесу поляна, до краев налитая крепчайшим, зеленым, процеженным сквозь листья солнечным соком; посреди поляны огромный сиреневый куст, ветви согнуты тяжестью цветов; и под кустом, по пояс в земле – каменная баба с желтой тысячелетней улыбкой. Сюда придут сейчас к Куковерову пятеро келбуйских мужиков, чтобы сказать ему; когда они начинают: послезавтра, завтра, может быть – даже сегодня. Но пока еще пять минут Тале и Куковерову быть здесь вдвоем.

У Куковерова нет спичек, и он ловит солнце лупой – закурить. Молча растет на папироске седой, чуть курчавый пепел, и как пепел – у Куковерова волосы, а под пеплом...

Чтобы не смотреть на нестерпимые эти изгибы в уголках Талиных губ, Куковеров смотрит на каменную бабу. Но там – тоже губы, улыбка, тысячелетняя. И он опять поворачивается к Тале:

– Вот – когда-то эти губы мазали человечьей кровью. В такой же день.

– А вы все, теперь, разве не мажете?

– Да. Но не только чужой – и своей тоже, своей кровью. И знаете – может быть...

И в себе – очень тихо: что, может быть, это случится уже завтра, послезавтра, и надо скорее взять как можно больше неба, и вот этот куст сирени, и роющего лапками в цветах шмеля, и еще – еще одно...

Пальцы у него чуть дрожат (один палец – прокуренный, желтый от табаку), с папиросы сваливается седой, чуть курчавый пепел.

– Вам, Таля, восемнадцать лет, а мне... Это, может быть, смешно, что я... ведь я вас знаю всего неделю. А впрочем... Вам никогда не приходило в голову, что теперь земля вертится в сто раз быстрее, и все часы – и всё в сто раз, и только поэтому никто не замечает? И вот, понимаете, какой-то один день – или минута... Да,

довольно минуты, чтобы вдруг понять, что другой человек для вас...

Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними – вышитая кое-где солнцем тень, в тени – Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов, ресницы.

У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему – нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает – и вниз летит желто-шелковый Rhopalocera прямо на Талины колени, в теплую ложбину ее пропитанного солнцем и телом платья. Там свивается мучительно тугим кольцом – и если бы, если бы крикнуть, что ведь завтра – надо умереть!

Куковеров молчит. Таля:

– Ну, что же вы? Дальше! Ну?

Согнутые тяжестью цветов ресницы; одна какая-то точка в уголку ее губ. Спичек нет. Куковеров зажигает папиросу лупой, пальцы дрожат, дрожит нестерпимая для глаза точка сгущенного солнца. И – да, это именно так: уголок губ – так, как сквозь лупу, вся она, все ее девичье, женское – то самое, что...

– Дальше? Вы хотите, чтобы я сказал, что дальше?

Голос – не куковеровский, темный, из-под наваленного вороха. Таля поднимает ресницы, и вот захваченное врасплох его лицо, синие – настежь, вслух обо всем – глаза, пропаханные тюрьмою морщины, волосы как пепел, палец желтый от табаку.

Это – миг. И Таля – снова у себя в тени ресниц, сирени, нагибается, нагибается еще ниже, тихонько поглаживает шелковую спинку Rhopalocera и говорит ему одно какое-то слово, неслышно.

Но Куковерову кажется, что он услышал – и у него вдруг так больно толкнулось сердце, будто там не сердце, а живой ребенок. И когда Куковеров вслух вдохнул в себя лес, небо, шмеля, солнце: «Хорошо... все-таки!» – Таля понимает, что он понял, и тоже как живой ребенок – в ней сердце.

А наверх, Куковерову – слова, потому что сейчас нельзя молчать:

– Я их очень... Я, когда была маленькая, – выводила из них бабочек. Одна вывелась у нас зимой, на Рождество, окна – во льду, летала – летала...

Куковеров – тихо:

– Вот и я тоже...

Но что «тоже» – это никогда не будет сказано: к каменной бабе, к Богу, некогда вскормленному человечьей кровью, подходят по-медвежьи – на босых пятках – пятеро. Таля быстро поднимается из тени, идет через солнце – в белом, сквозь розовеющем платье, уносит с собой отпечатанные где-то в глубине куковеровские глаза и на ладони Rhopalocera, которому завтра умереть.

Пятеро мужиков – один лешачьего, сосенного росту, голова, как на шесте, – вваливаются все разом в еще распахнутого настежь Куковерова и в ответ ему («Ну, как же решили, ребята?») – все разом:

– Готово! Председатель Филимошка – уж под замком, на съезжей. Хватит, побаловали советские!

Это – зажжен фитиль, и бежит искра к пороховой бочке: может быть, фитиль длиною в часы, может быть – в дни, но с каждой минутой все ближе искра – и вот грохнет полымем, дымом, кусками человечьих сердец, моего сердца.

И в тот же Духов день – в городе, где белая, не оседающая пыль, камень, жестяные облака, железные красные с золотыми буквами вывески и железные люди. Там, на краю, на горбатой улице куры щиплют пахнущую редькой веничную траву – куры, взъерошенные и изъеденные вшами, как люди. И там за голубыми некогда ставнями заткнуты березки – вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды. От ее старинного шелкового шашмура на голове, от ее грибного старушечьего запаха, от березок со свернувшимися на солнце в трубочку листьями – внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спаленный солнцем березовый лист. Но только – секунду.

Вынул из кобуры револьвер, и сам – револьвер, в черной, кожаной – или даже, может быть, металлической кобуре, заряженные глаза. Он говорит матери, вкладывая патроны в обойму:

– Что, опять в церковь ходила? Эх, старая! А туда же: «Я все понимаю, я – я...»

– А что же, милый: с Христом все трудящие были – пастухи, волхвы и ангелы. Да. Против этого не скажешь.

– Как, как – трудящие ...ангелы?

Сквозь железные фланцы трубы вдруг прорвет вода, брызнет вверх, в стороны, радуются ребята: так сейчас из Дорды – смех, и никак не попадает патрон в обойму. Но торопятся взрослые отогнать ребят и скорее заткнуть воду, и вот уже Дорда, снова в кобуре – кожаной или, может быть, металлической, патрон щелкнул и стал на место.

Мать – с сердцем:

– Ты это что в праздник-то взгойчился? Куда заряжаешься?

– А в Келбуе мужики бунтуют, вот куда. Побаловали, хватит!

Под шашмуром – морщины. Коричневые губы чуть заметно шевелятся – берестой на огне, но вслух нельзя, и только подолом кофты вытерты нос, глаза. И глазами – материнскими глазами всего его запомнить, уложить в себя его темную, стриженую голову, вот эту жилку на виске – чтобы в тот день, когда принесут его –...

Губы у него сжаты (сейчас, всегда), вход замурован, выбелен: стена. Вдруг странно открывается рот, не там, где казалось, а гораздо выше – верхняя губа очень короткая. И слова:

– Ты бы лучше чего в дорогу мне собрала, чем так-то.

Согнувшись, она шмыгает, чуть шаркают стоптанные башмаки. В тишине я слышу... вы знаете этот смешной человеческий звук – носом, когда нельзя, чтобы было видно, когда слезы нужно глотать?

И, может быть, прав Куковеров – все мчится в сто раз торопливей, проходит минута, не больше – и вот уже Дорда лежит в окопе. В окопе – влажная глина, под локтем у Дорды ямка, заряженными глазами сквозь бинокль он смотрит на мост, на келбуйские избы (ставни у них тоже голубые). В синем воздухе – «фииеааоу» – свист, пение, падает – глохнет – бульк: пуля. Все ниже в синем небе ястреб, и вот уже видно: на безруких плечах вправо и влево ворочается острая голова с нацеленными глазами. Глаза нацелены на Дорду, на орловских – сердитых, добродушных, мохнатых, как шмели – на мясо: там, позади окопа, лежит один – только сейчас был я, а теперь – просто мясо, и породистые, зелено-

бронзовые мухи ползают по руке, по глазам, сосут в уголку губ.

И около Дорды – рябой, животом на глине, добродушно щелкая затвором, ворчит:

– Рази это война? На войне, бывало, кэ-эк хлобыстнет – голова костромская, кишки новгородские – разбирай... Вот это вот так! А это рази война?

Глиняная рубаха у него застегнута неверно – одна петля пропущена – и сквозь видна желтая с шмелиным волосом грудь. И может быть – он, может быть – другой такой же, говорит, медленно прожевывая ржаной кус:

– Я тут в прошлом годе менял: за фунт гвоздей два петуха, вот это вот так! Товарищ Дорда, хлеба не хошь?

Но Дорда не слышит: стал на колени, слушает свое сердце – раз, два и три – как звон часов ночью, в бессонницу. Откуда-то: «С Христом все трудящие, пастухи, волхвы и ангелы» – черный шелковый шашмур. И Дорда командует резко, револьверно:

– Ну – через мост! По одному бе-го-о-ом... а!

В синем воздухе: фииеааоу – и коршун. Я, каждый я, знаю: это мне – коршун, мухи, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. Потом вместо я – мы, и у всех нас одно, самое главное, единственное в жизни: чтобы через мост – и согнуть, сломать тех – прочь с дороги, с земли – чтобы не мешали... Чему? Да счастью, конечно.

Где-то в коршуньей выси – между землею и небом – мост к счастью, доски и рельсы, Дорда, глиняные рубахи. Сквозь железные кружева – секундные куски сини, желтых соломенных крыш, серой речной ряби внизу. И последнее: а ведь падать отсюда вниз – высоко, долго, без конца лететь.

Дорда еще не знает, еще две-три минуты не будет знать, упадет он или нет. А на темной звезде уже знают: сегодня – последнее.

Там ночь. На Земле – день, а там на звезде – ночь, в черном небе – две огромных, зеленовато-ледяных луны над пустынями и скалами, от скал – синие зубчатые тени. Тысячелетняя тишина, лу́ны все выше, и вот внизу уже тускло поблескивает стекло стен, галерей, лестниц, ку-

полов, зал – все зеленоватое, прозрачное – из замороженного света двух лун. Тишина.

Лунный свет ярче, и как во сне, когда все сразу – вырезанно, мгновенно, четко – как во сне видно: четверо. У колонны одни... нет: одна, высокая, неподвижно, мраморно ждет; только что поднята плита – еще покачивается цепь над люком, и двое лежат на полу, вцепившись в края люка так, что побелели ногти; в стороне стоит мальчик – глубокие слепые впадины глаз, слушающая голова – набок, по-птичьи.

И сквозь стиснутые зубы – трудный шепот, но каждое слово отчетливо – как во сне, когда я живу внутри, в каждом.

Шепот у колонны (женщина, высокая, сдвинуты брови, глубокая расселина между бровей):

– Ну, что же – теперь поверили мне?

Шепот над люком (двое, мужчина и другая женщина, губы дрожат):

– Да... (громче, отчаянно): Нет! Последняя? Нет!

Последняя бутыль воздуха. Здесь, на звезде, воздуха уже давно нет, он – как драгоценнейшее голубое вино – в стеклянных бутылях, веками. И вот последняя бутыль, и четверо последних – племя, нация, народ. Одна, высокая – она стоит сейчас у колонны, и у ней сдвинуты болью брови – когда-то была мать всем троим. Когда это было – сто или тысячу кругов назад – это все равно: теперь – последний круг, и мужчина уже не сын ей, а муж, и другая женщина – не дочь, а другая женщина.

Ярче ледяной свет, и сейчас во всем мире только одно: поднятая вверх рука и чуть поблескивающая голубая бутыль, пальцы сжимают ее так, что побелели ногти... не пролить ни одной капли, каждая капля – минута моей жизни, я – мужчина, я – силен, мне – жить. Вытянув шею, мальчик щупает пустоту, спотыкается, вцепился мне в руку... прочь, урод!

Но там, у колонны, сдвинуты брови, оттуда – один удар глазами – как плетью, мужчина, спрятавшись в исподлобье, дает глотнуть слепому. Потом – три, с закрытыми глазами, запрокинутых головы – впиваются, впитывают, дышат, и розовеют мраморы, звенят сердца – жить! жить!

Без одежд – как статуи. У одной женщины, младшей, когда она пьет, под мышкой видны расплавленные медные волосы. Быть может, случайно мужчина прикасается плечом к ее плечу – нет, не случайно: это уже было и раньше, но теперь, когда все равно и ничего не страшно – теперь он прижимается крепче, еще крепче – и из тела в тело улыбка, улыбаются плечи, колени, бедра, груди, губы, и нет завтра, ничего нет – только сейчас.

Старшая, Мать – смотрит; все темнее, все глубже у ней расселина между бровями. Подошла, в ладонях сжимает лицо его, мужа, насильно входит в его глаза – по скользким ступеням вниз, на самое дно. Там, на дне, она видит...

Пусть: только последний раз впитать в себя это лицо, стиснуть так, чтобы на розовом – белые следы пальцев. И потом ее слова – обыкновенные, простые, но каждое нужно вырвать из себя с мясом:

– Я.. я останусь здесь. Вы вдвоем принесете воды. Идите.

Ушли. Она стоит у колонны, одна, мраморная, мрамор от ног подымается все выше. Закрытыми глазами она видит то, что теперь происходит внизу, где колодец. Там чаши поставлены на пол, мужчина касается рукой чуть жестких медных волос женщины, проводит по ее груди, по коленям – на одном колене у нее маленький белый шрам: ты помнишь? – ты упала, была кровь... ты хочешь – сейчас?

Лунный полдень. Тяжелые ледяные глыбы света. Мальчик неподвижно, по-птичьи, слепыми глазами смотрит вверх, зовет Мать: воды! Но она не слышит, потому что дверь открылась – и входят те двое. У женщины – губы влажны, на одном колене белый шрам, и выше, на ноге – красная полоса: след крови. Они без одежд, как статуи, все голо, просто, последне.

Взявши за руку слепого, Мать медленно ступает – им навстречу, медленная, мраморная, как судьба:

– Теперь – пора. За мной, не отставайте.

– Куда?

– Я знаю. Там, в нижних залах, мы еще найдем немного, чтобы дышать. И там...

– Что – там?

Молчит. По лицу у ней – облака: нависшие, литые – в глубокой трещине между бровей, легкие, розовеющие – в последней улыбке.

И – внизу, на Земле, где сейчас – день, где литые, синие, и легкие, алые облака, и летучими косыми парусами весенний дождь, и снова солнце – тысячи солнц на согнутых солнечной каплей травинках. Если прав Куковеров и все в сто раз быстрее, так это – в тот же самый бесконечный, вихрем несущийся день, и это – недели назад. Еще целые недели жить тому, кто сейчас мясом для ястреба лежит на желтой глине, и еще Rhopalocera не знает, что ему завтра умереть в черную куколку, и не знает Дорда, и в Келбуе мужики еще не арестовали Филимошку, и он даже пока еще просто Филимошка-голяк, а не председатель Филимон Егорыч.

Изба, заткнутые тряпками дыры в дырах окон – и черные дыры выбитых зубов во рту у Филимошки, он пыхает цигаркой, прислонился к косяку, ждет. Там, по дороге, загребая босыми ногами пыль, идет Филимошкина баба; на руках у нее ребенок – взяла чужого у соседки: когда с ребенком на руках, Филимошка ее не бьет. Но нынче он – особенный, нынче и так не бил бы.

– Ну, баба, живо: на сход со мной пойдешь. Бумага из городу получена – и чтоб бабы все тоже. Нынче, брат, строго!

Перед крыльцом съезжей – спины, от ветра вздутые пузырями рубахи, выдубленные солнцем голенища шей, галдеж, гомон. И вдруг на крыльце – батюшки! Филимошка. Ты куда? тебе что?

– Товарищи, тише! Нынче – строго. Время зря терять нечего – секретаря мне выбирайте.

Над спинами, над головами чубарая голова будто поднята на шесте над всеми – тот самый лешачьего роста мужик, и лешачий голос:

– Это, стало быть, к колесу покупай телегу? А председателя – не надо?

Филимошка:

– Председатель – я! – Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква Я.

– А почему же это ты, скажи пожалуйста?

– А потому сказано в бумаге: беднейшего. А кто беднейший меня – ну, выходи? Ну!

Голова на шесте вертится, скребут руки в затылках: по бумаге – оно будто действительно так, потому беднее Филимошки никого нету.

И Филимошка – председатель Филимон Егорыч, он уже не в избе – он в мельниковом с голландскими печами доме, у него весь Келбуй – вот тут, в кулаке – только сок брызжет: за все свои выбитые зубы, за все дыры, за тридцать голодных годов, за все сразу.

Косые паруса дождей, облака, солнце, ночи, дни – или час, секунда. И Духов день: на пороге, в шашмуре, согнув козырьком руку, – глядит мать вслед Дорде, а в Келбуе на съезжей – под замком связанный Филимошка, белоголовые ребята липнут носами к окнам, у дверей крепко стоит мохнатый мужик с винтовкой. Фитиль подожжен, искра бежит к пороховой бочке, и Куковерову кажется – он начинен порохом: это страшно, это хорошо, и только надо все скорее, скорее, чтобы в часы втиснуть годы – чтобы все успеть...

На спинах – вздутые ветром пузыри рубах. Лицом ко мне, к вам – на крыльце говорит Куковеров, волосы – пепел, чуть курчавый, а слова... Но главное разве в словах? Если у вас сегодня вдруг ожило и, как живой ребенок, толкнулось сердце – вы бьете в сердце, как в колокол, и в ответ гудит в каждом, и вами создано все: все эти мохнатые, ребячеглазые лица, и врезанная в небо ветка сирени над забором, и литая туча с девичьей розоватой оторочкой, и грудью в тучу – тревожная ласточка.

Сквозь все это, издали – будто он на колокольне, а головы, руки, шеи внизу – Куковеров слышит:

– Правильно твое! Побаловали над нами, будя! Не маленькие!

Солнце – под гору. В дверях позванивают в жестяные стенки дойников струи молока, коровы опрокидывают дойники, брыкая задней ногой – и будто это-то вот и есть последнее: бабы начинают выть в голос, слезы теплые, молоко теплое. А на крыльце съезжей – мохнатый гул, из рук в руки – берданки, медвежьи двустволки, вынутые из тайников. Как белоголовый мальчишка везет

деревянную на катушках лошадь, каждую минуту оглядываясь – не наглядится, так лешачьего роста мужик на веревочке тянет за собой по пыли пулемет. И в ответ восторженному: «Федька-то а? Слышь, это у тебя откуда же?» – хитро прижмуривает глаз:

– А это еще в семнадцатом году – у солдат выменял. За два пуда – шинель и вот это самое в привесок...

Когда уже сумерки, все стеклянное, и неслышно, накрест перешвыриваются над улицей летучие мыши – Куковеров входит в палисадник. Там сейчас – почти черные листья сирени и белое до боли платье Тали, ее лица не видно, нагнулась:

– Хотите посмотреть? Я его принесла сюда из лесу... нет, здесь он, здесь, ниже.

Он – Rhopalocera, съеженный, неподвижный мир, готовый умереть завтра. И от этого завтра, от того, что было утром в лесу, от чуть слышной дрожи в голосе у Тали – так вдруг настежь у Куковерова сердце, что нечем дышать, и – смешно, нелепо! – на глазах у него слезы, он молча нагибается, щеку трогает чуть прохладная, в росе, гроздь сирени.

Потом Куковеров рядом с Талей в избе, у окна. Сквозь окно – туча, все ближе, ласточки – грудью в тучу. На столе самовар, пахнет смородиновым чаем. Хозяйка, Бараниха, у двери – сейчас уйдет. И может быть, жутко, что она уйдет, и тогда останутся вдвоем, может быть, чтобы задержать ее – говорит Таля:

– Нет, постой, а ты еще расскажи, как тебя тогда Филимошка-то... Ну?

– Ох, ты, мой дитенок приятный! Да ты не забыла, а? Ну, как же: пришел кур отбирать – такое тут меня взяло! «Ах, ты, говорю, Мать Пресвятая»... и пошла его чесать. А он обиделся: «Лишаю, говорит, тебя голосу на три дня – чтобы три дня у меня пикнуть не смела!» И что же бы ты думал: ведь три дня как немая ходила – вот стервец какой! Ну – пейте с Богом, пейте...

Хлопнула дверью – и вдвоем, и уже нельзя смеяться, все – тончайше-стеклянное, и если хоть слово... Где-то на улице – за тысячи верст голос: «Ва-си-лей! Ва-си-лей!» – и от этого еще стеклянней, и оба знают, что сейчас...

Таля:

– У вас папироса... У вас – никогда спичек... хотите, я вам...

Но встать, чтобы пойти принести спичек, она не может, остается сидеть. И будто вот это и есть последнее, через край – больше нет сил. Глотая воздух ступенями, кусками, Куковеров берет в свои ладони ее лицо – мир тихонько, блаженно кружится, покачивается, и в нем навсегда отпечатаны девичьи губы, чуть холодные, как сирень в сумерках.

И тотчас же – стук в окошко, приплюснутый к стеклу нос:

– Эй, Иваныч, Куковеров – ты тут?

И когда окно открыто, слышен с чуть приметным веселым ознобом голос:

– Ну, брат, пошла потеха: советские на нас едут. Пойдем.

Мост из синего неба и стали; свист: фииеаоуу. И еще. Чок – в железо, и мягко – в мясо. Мешком человек присел на низкие перильца моста, мчатся мимо, человек кричит им глазами: «Это же я, это я!» – они мчатся. Не спеша – человек навзничь и головой вниз. Лететь долго, и, может быть, еще как-нибудь... может быть, нужно только вот так расправить крыльями руки –...

Всплеск, брызги, радуга на секунду.

У Дорды: «Это – не я, это – еще не я. Надо скорее!»

Но мост – длиною в целую жизнь, в пятьдесят лет, сжатых в страшно тугие секунды, и навстречу стрекот пулемета – оттуда, с келбуйской стороны. Остановиться сейчас на мосту – так же, как застопорить с маху стоверстный поезд. И все же Дорда останавливается. Он со злостью говорит себе: «Ага, ты – так: «Это не я...» С-сволочь!» – останавливает себя с маху, стоит, стиснув зубы, мчатся мимо. Чок! Еще... Вон – тот рябой, в пыху, рот разинут – может быть, кричит – да, кричит Дорде:

– Что? Ай чмокнула? Нет?

Потная, рябая, мохнатая улыбка. Заряженный ею Дорда опять бежит, и вдруг почему-то от рябого вспоминается мать: руку козырьком к глазам, на пороге (это на миг). Потом несущиеся синие куски – небо сквозь ре-

шетку моста. Так уже было однажды – небо и решетка... когда? И как мать – на одну тугую секунду – отчетливо: камера, свод, окно, Дорда на табуретке у окна стоит вместе с другим – голова у этого другого седая, пепел – и от этого Дорде еще больше...

Рев: «Ур-ра-а!» – конец моста, все исчезает, как на экране, когда зажжен свет – и только самое главное: согнуть, сломить тех. Поперек какое-то бревно – через бревно, ур-ра! – как бревно, плашмя глиняная рубаха, с нелепой медленностью, прикрывающая затылок руками – через нее, ура! – и вниз по щебяной насыпи – градом, таранами, бревнами, бурей...

Внизу буря вдруг стихает: в кустах бересклета, сирени – неизвестно почему, без команды – ложатся в тени. Дорда минуту стоит, еще весь – пружина, глаза заряжены – сейчас из них посыплются пули в тех, кто лег без команды.

У самых ног – рябой, захватив двумя пальцами край глиняного рукава, вытирает лоб; снизу вверх – потная, рябая, с лукавинкой, улыбка. «За фунт гвоздей – два петуха», – это твердо, заповедь, и тут ничего не поделаешь. Дорда срывает гроздь сирени в росе, быстро обкусывает горькие цветки, в руке – револьвер. Рябой говорит снизу вверх – Дорде:

– Нешто пойти к ним потолковать? Чего так-то, зря? Все-таки – православные. И как у них там что, взглянем... пригодится. А, товарищ Дорда?

– Хорошо. Все равно. Ну – идите вдвоем. Постойте.

Дорда быстро пишет в записной книжке, буквы – прямые, высокие, острые. Из кармана штанов рябой вынул платок (когда-то белый), в нем хлеб. Ссыпал крошки на руку и горстью – в рот, хлеб кладет обратно в карман. Привязывает платок к штыку, сдувая нижней губой надоедно липнущую муху. На листке из записной книжки буквы уже стоят цепью, в затылок: «Немедля сдать оружие. Освободить арестованных. Выдать зачинщиков – не менее пяти». Подпись: Дорда.

И вот двое идут, над кустами треплется на ветру платок, когда-то белый; выше темнеет в синеве коршун, ворочая в безруких плечах головой; и еще выше – пока еще невидная, темная над Землею звезда.

Там, сквозь голубой лед стекла, как на дне видны какие-то неподвижные фигуры: где-то одиноко на ступенях – будто с разбегу; где-то снопами крепко обнявшихся тел. Спят. Может быть, спят: неизвестно.

И четверо идущих по пустым, гулким, голым залам. Впереди – она, высокая, прямая, мраморная, и со слушающей, по-птичьи наклоненной головой мальчик – дрожит, жмется к ее ноге. Сине-ледяные своды потолков нависают все ниже, все тяжелее. Она идет, не останавливаясь. Вот теперь на ходу оглянулась назад, через плечо – и мне видно: брови у нее черно и крепко стиснуты. Она одна знает то, чего не знают трое других, она живет давно, всегда, она знает – она решила. Что – это еще пока неясно, это как далекий запах гари, как зверь чует над собой черную дырочку дула – и все же от этого никуда не убежать, это с каждым шагом все ближе.

Ступени вниз, на ступенях – человек ничком; правая рука, будто с разбегу, брошена ладонью вверх: спит? На неслышных, пружинных, как у зверя, ногах мужчина крадется... скачок – схватил поперек тела, поднял и сейчас же бросил. Тело катится вниз по ступеням, ладонь взмахивает и падает с деревянным стуком – раз и еще раз. Это тело холодное, другое, чем я, и ничего не может мне сделать – я, мужчина, это знаю, и все-таки почему-то надо, чтобы скорее опять рядом живое плечо – она, молодая, теплая, недавняя, моя – тогда дрожь стихает, я могу открыть дверь, я открываю, я – мужчина.

За дверью – блеск колес, спиц: машины – круглые, многоногие, коленчатые, как пауки – мертвые тела машин. И такие же неподвижные, холодные человеческие тела, сцепившиеся в тугой судороге, друг на друге – как мужчина и женщина. В руках – стынущие в ледяном свете ножи.

– Я не хочу дальше – мы не хотим, мы не пойдем!

Но она, высокая, впереди, она, кто тысячу кругов назад была Мать – идет, не останавливаясь, и я, мужчина, иду покорно за ней. Люди, машины, немые толпы книг, где-то на стенах изображения – лица, золото, красное – тысячелетия с неслышным, оглушительным ревом мчатся сквозь меня – и больше нет сил.

Вечер. Огромные луны пригнулись к полу, тени длинны. Четыре раздавленных последним каменным сном тела. Часы, минуты – все равно.

И – движение: приподнимается на локте младшая из женщин, лицом – сюда, ко мне, к вам. Глаза у ней зеленые и светят в полумраке, как разрезанная веслом морская вода, и как вода – густые ледяные лучи. Она кладет руку на грудь мужчине, он вздрагивает, отвечает ее глазам: «Да, сейчас», куда-то ползет на четвереньках. Вдруг остановился, голову – в плечи, по-черепашьи. Нет: показалось... Мать спит, спит крепко. Вперед!

Он возвращается. Навстречу зеленым глазам женщины поднята вверх, блестит – бутыль. Две запрокинутых головы, пьют, тела розовеют. Груди у женщины теплы, остры и сладки, она – пахнет, она – шепчет мне. И напряженными мускулами, кожей, губами, телом – я знаю, это так, это справедливо: мне жить – мне и ей, и там есть еще на дне бутыли воздух – это мне, ей и больше никому – больше никто не должен жить.

Взять нож... Но он крепко зажат в чьих-то пальцах и пальцы ледяные – мужчина отдергивает руку. Верхняя губа его (с чуть заметной ложбинкой) дрожит, он оглядывается и видит: за каждым его движением – пристальные зеленые глаза. Зажмурившись, вздрагивая, он вытаскивает из мертвых пальцев нож; с ножом ползет – годы, целую жизнь.

Длинная, птичья, согнутая набок шея, слепой спит ничком, носом в ладони. Надо целиться вот сюда, справа, где на шее столбиком жила. У мужчины поднята рука, в руке – стынущее в ледяном свете лезвие ножа, и сейчас на темной звезде – в тысячный, в миллиардный, в последний раз прольется чья-то кровь ради –...

Над Землей солнце мечется в последней тоске, облака набухают кровью все гуще, течет алыми струйками вниз по золоченым шпицам, по белым стенам, по зеркальным окнам дворцов, и красные капли – здесь, на зелени луговых майских трав.

Луг – перед Келбуем. На лугу – сумрачные срубы овинов, узкие бойницы-окна под самой крышей: это – терема, городище. Такие городища – еще вчера, позавче-

ра, древляне выдвигали в зеленую степь навстречу дружинам Олега, сыпали из бойниц стрелы, лили смолу.

И древлянское вече: круг – мохнатый, топоры, винтовки, чья-то голова – над всеми, как на шесте, и голова Куковерова – как пепел, чуть курчавый. Перед Куковеровым – двое оттуда, от советских: один серый, всякий, тысячный, муравей; у другого красная, рябая улыбка, белая тряпочка на штыке, письмо. И подпись на письме Куковерову надо прочитать еще раз – еще – и повернуть вот так, к свету:

– Дорда? Дорда... Погодите-ка: а из себя он какой будет? – по лицу у Куковерова морщины, облака, темные, светлые.

– Он-то? Да таконькой вот – небольшой, гвоздочком. А глаза... ух!

– Бритый? Ну, конечно, ну да: он! – и на одну тугую секунду перед Куковеровым: синий кусок неба сквозь решетку, табурет у окна, на табурете...

Над овином, ворочая в безруких плечах головой – коршун, все ниже. Там, внизу, на чуть сбрызнутых красной росой травах лежит человек, еще недавно был человек, я: теперь ничком, будто с разбегу, правая рука брошена ладонью вверх, желтые мозоли. И рядом – я, орловский, с платком на штыке, рябой; и я, келбуйский, с пулеметом, голова на шесте; мы оба смотрим на себя мертвого – там, на травах.

– Да, протри, протри полтинники-то свои, погляди, рябая твоя морда: хорошо, а? Трое ребят у мужика осталось да баба брюхатая. Сук-кины дети!

– Ты вот с своим пулеметом – не сукин сын! Наших-то на мосту сколько сверзли? Туда же – разговаривает! Молчал бы! Мы, по крайности, за нашу власть, да, а вы за кого?

– За вла-асть! Тебя бы носом ткнуть в Филимошку в нашего – как кота в дерьмо, так небось бы...

– А ну – ткни? Я, брат, тебя ткну-у! – с белым платком штык – наперевес, ощетиненными глазами – по кругу, с сердитым шмелиным гудом круг смыкается теснее, ближе, топоры. У древлян был обычай: пригнуть два дерева, к верхушкам привязать за ноги вниз головой – и потом отпустить деревья...

В руках у Куковерова вздрагивает папироса, письмо Дорды... бритый, да-да, конечно. Что же – встретимся, да, вспомним, как вместе...

Зачем-то вынул часы: не глядя, начинает заводить их, все туже, туже – раз! – пружина лопнула, стрелки жужжа кружатся сумасшедше, все быстрее – или, может быть, это внутри, в Куковерове.

Когда часы останавливаются, он прячет их в карман, встает, собирает в горсть все глаза, натягивает их, как вожжи, говорит:

– Так вот – письмо. Предлагают нам сдаться, выдать пятерых, самых главных, и все оружие, арестованного нами освободить. Вот. Решайте, как знаете.

Круг, вече. В середине, в траве – тело ничком. Гудят зеленые мухи, тишина. Потом – голос, из-за спин:

– Толковали: у нас пулемет-пулемет. А они вон мост-то за милую душу пересигнули. Да. Ежели эдак пойдет...

Молчат. Куковеров крепче натягивает вожжи:

– Дело ваше. Ключи от съезжей у кого? У тебя, Сидор? Стало быть, пойди, выпусти Филимошку, пусть идет сюда, и скажи ему...

На дыбы:

– Филимошку? Не-ет! К чертовой матери! В шею их! Чтоб Филимошка опять? Не-ет!

Куковеров вдруг чувствует, что устал, хочется сесть, садится, рвет письмо. Рябой скидывает свой глиняный блин-картуз, сморкается в него, снова надел – крепко, по самые уши:

– Та-ак, значить. Ну, до свиданья вам. А только зря вы, ребята. Там что-что, а все-таки – православные...

От городища по древлянской степи медленно идут двое. Один – всякий, тысячный, муравей; у другого – рябое лицо, на штыке – белая тряпочка. Коршун невысоко: видно, как на безруких плечах вправо и влево ворочает головой. Сквозь бинокль – заряженными глазами Дорда глядит навстречу.

И когда на идущих уже веет из кустов зеленой сыростью, сиренью, махоркой – почти неслышный выстрел из овина, с келбуйской стороны. Рябой, пригнувшись, заячьими петлями – в кусты, а тот – серый, тысячный, муравей – покачавшись немного, валится на-

взничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя.

Дорда вскакивает – он этого ждал, может быть, даже хотел. Вскакивает, весь заряженный, револьверный, пули из глаз – в одного, в другого, в каждого из тысячных.

– Что? Видели? Может, хотите – еще пошлем?

Чей-то мохнатый кряк; тишина. Так подрубленное дерево, падая, крякнет – корявыми лапами зацепилось, секунда тишины – и вдруг рухнуло. Крик, кулаки, зубы, бороды, мат – залпом. Кусты трещат, с ревом прет стоголовый медведь, рты разинуты – но никто не слышит, кровь на траве – но это все равно: через камень, через бревно, через человека, через себя. Только бы добежать, а там по двое, по трое, крепко обнявшись – как мужчина и женщина – как уже было где-то...

С длинным птичьим криком кружась падает солнце – и взойдет только завтра, а может быть, и не взойдет. На крыльце съезжей прочно, привинченно стоит Дорда – в кобуре кожаной или даже металлической; револьвер стиснут в руке так, что белеют ногти. Рядом – Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед: как буква Я. И среди штыков Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив – чуть слышный запах сирени.

– Этого – под караул, до рассвета... – Дорда глядит куда-то поверх седых, как пепел, и как пепел – чуть курчавых волос. – А этих пятерых – сейчас.

И эти пятеро – на лугу, возле древлянских сумрачных теремов. Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой – пар, в последний раз. Невысоко, неслышно накрест перешвыриваются летучие мыши. И навсегда врезанные в стеклянное небо пять темных спин, пять голов – одна, как на шесте, над всеми.

– Эй, ты, длинный! На коленки бы стал, что ли. А то – кому в башку, а тебе в сиденье? Неладно выйдет.

Это говорит рябой, в глиняной рубахе, говорит добродушно, просто. Там, впереди – длинный становится на колени. Пять темных фигур, врезанных в зеленое застывшее небо...

От поднятой с ножом руки – синяя, литая тень на шее, на спине у слепого. Быть может, он чувствует холод тени – вздрогнул, приподнялся, поджав ноги, садится спиной ко мне, к вам, голову чуть-чуть набок, по-птичьи, шарит около себя – где же Мать? – сейчас слепые пальцы коснутся ее плеча, она проснется.

Сверху сверкает нож – вот сюда, справа, где возле уха столбиком жила. И тонкая шея вянет, он, не крикнув, клонится вниз, лицом в колени, согнувшись, сидит, неподвижный; я, мужчина, смотрю на него – широко, кругло.

Теперь вытереть холодные капли пота на лбу – левой рукой: правая забрызгана. И еще только один шаг... Дрожа, крепче стиснуть нож, и только один шаг – к той, кто когда-то была Мать, а сейчас... а сейчас...

Глаза: навстречу – ее глаза. Она лежит, готовая, на спине, не двигаясь, но у нее открыты глаза, и нельзя – когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье – в самый дальний угол, и оттуда...

Две ледяные луны качаются совсем на краю, сейчас оборвутся вниз. У нее, у Матери – губы свиты в тугое кольцо – как умирающий в куколку Rhopalocera. Она, лежа, запрокидывает голову назад – темная тень вот здесь, в ямке внизу шеи. Трудный, глухой голос.

– Ну, что же? Вот – вот здесь, вот сюда! – она показывает рукой на свою шею.

Нож звенит на пол. Тогда она подымается, мраморно, медленно. Тень от нее растет все огромней, переламывается на стене – в купол – еще выше. Она смотрит издалека, сверху, на застывшие в последнем взмахе машины, на неподвижные, когда-то убившие друг друга тела, на это, тоненькое, неподвижно уткнувшееся лицом в колени – оно уже сливается с другими, с тысячами других, чуть темнея на зеленоватом ледяном небе.

Она подходит к мальчику, приподнимает его голову, целует еще теплый рот, голова у него опять падает на колени. И подходит к другому, к мужчине: у него дрожат скулы, ноздри, верхняя губа с чуть заметной ложбинкой, он – человек. Так же подняла бы его голову и поцеловала бы эти – еще пока живые и теплые – губы, но только проводит рукою по его лицу. И теперь скорее, скорее –

чтобы хватило сил кончить... Если б не быть человеком – если бы не знать жалости к человеку!

Открыта дверь в последний зал. Две пристальных, диких луны, положивших морды на пол. Какой-то огромный с делениями круг на полу. Да, это произойдет здесь.

Она, высокая, вступает в круг. Секунду стоит неподвижно, мраморная, как судьба; теперь нагнулась, и сейчас –...

Луна – земная, наша, горькая, потому что одна в небе, всегда одна, и некому, не с кем: только через невесомые воздушные льды, через тысячи тысяч верст тянуться к таким же одиноким на земле и слушать длинные песьи вои.

Таля – в палисаднике, одна, никого. Сейчас под луной почти черны железные листья сирени; ветви сирени согнулись от тяжести цветов: цвести – тяжело, и самое главное – это цвести. Таля сгибается – лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое, и мокрая сирень в росе. Там – еще ниже, на железном, чуть согнутом и связанном паутиною листке – окукленное, мертвое тельце Rhopalocera. От этого неподвижного тельца, как от крошечного камня в воде, быстрые, дрожащие круги бегут все шире, все огромней; глаза у Тали стоят, открытые настежь, как двери в доме, где мертвый, и она в первый раз ясно, вся, видит: другое тоже неподвижное тело, согнутые пальцы – один желтый от папиросного дыма. И это немыслимо, невероятно – и что-то надо, что-то надо скорее, больше нельзя стоять так и слушать длинные песьи вои.

В избе. Хозяйка, взгромоздившись на табурет, зажигает перед образом лампадку, ее поднятые вверх руки – в красном вспыхивают, потухают. Самый простой избяной запах – печеного хлеба, но от этого... от этого...

– Тимофевна, милая, я не могу... ну, вот – как же, ну, как же? Вот завтра – трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть – а он? а он?

– Что ж, дитенок, живы-здоровы будем – все, Бог даст, помрем. И ты помрешь – ты что же думаешь? А час раньше, час позже – все едино.

Но, может быть, прав Куковеров, одно и то же – минута и год, и иногда час – это вся жизнь. Белая, в вздрагивающем красном свете видна Таля на лавке; глаза стоят все так же – широко распахнутые настежь; руки между колен. Минута, час, год.

Встает, быстро, в лихорадке – перед зеркалом. Тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень. Вытереть лицо чем-нибудь мокрым – полотенцем, чтобы не видно было следов; теперь пальто...

– Да ты что – ай спятила? Да тебя на улице сейчас зацапают – и поминай как звали!

– А может, я и хочу – чтоб сцапали?

Белая под луною пыль. Над забором – черная, острая ветка в небе. От наваленной камнями тишины воют собаки. Знакомое крылечко: столбики с перехватом, на ступенях часовой, винтовка между колен, сидит так же, как вчера сидел тот, келбуйский – и, может быть, он дремлет? Таля делает еще один шаг.

Часовой вскочил, глаза разинуты, как рот – орет ртом, вытаращенными глазами:

– Куды, куды прешь? Кэ-эк вот чучкну по башке прикладом, так... Приказа не знаешь – дома сидеть?

Но в руках у нее ничего нет, чуть пригнула голову, загородилась пустыми руками. Рябое под глиняным картузом лицо – разглаживается, затихло. Не спускай глаз – а вдруг... мало ли, что? – часовой стучит в окошко, темным крестом вырезан переплет рамы в красном свете, и, должно быть, там сейчас...

Выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе – тысячный, муравей, винтовка. Часовой говорит ему:

– Вот что: постой пока тут, а я эту – к начальству представлю.

Собаки, луна, пыль. С выгона – полынный, горький ветер, сохнут губы.

– Эх, кобели-то развылись... Скучают... Ты... тебя как зовут-то?

– Наталья.

– Во-от, черт! У меня жена – Наталья, ну, скаж-жи ты, пожалуйста! Эй, эй, под ноги-то гляди: корова наложила – ножки измажешь... Тут у них коровищи – ух! Тут

за фунт гвоздей... Места – вообще! Ты что же – соль, что ли, сюда привезла менять, или материю?

– Нет, я тут приехала ребят учить – в училище.

– Господи! Так ты ему – прямо: так и так, ребят, мол, учу. Ничего не будет, право слово. Ты – не бойсь, хоть он и...

– Я не боюсь.

И вот дверь открыта, дыхание – стиснутое, сквозь какую-то тончайшую щелочку между зубов. В раме – в колеблющемся круге свечи – навсегда это лицо, заряженные глаза, острия скул и губы: нет губ, нет розовой полосы – нет и не будет никогда слов.

Молча, глазами. Потом вдруг у него разрез рта – не там, а гораздо выше, и верхняя губа очень короткая. Слова:

– Приказ знали?

– Знала.

– Так зачем же?

– Чтоб меня привели к вам.

Свеча, нагорая, трещит, от скул – тени. На столе, на бумагах – револьвер, и два дула – глаза.

– Оружие есть?

Дыхание – сквозь тончайшую щель; стиснутое: «Нет». Он встает из-за стола, на свечке огонь колеблется; минуту – молча. Потом привычно, легко он проводит руками по ее телу, чуть сжимая здесь, на бедрах – где может быть в складках оружие. Тале кажется, что рука у него вздрагивает – или это ее дрожь? – у ней сухие губы, и игла сквозь все на один миг: «Э т о? С ним?» И отвечает себе: «Да, и это, и все – только бы...»

Не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов – спотыкаясь, облизывая сухие губы:

– Я – не то... вы напрасно. Я – потому, что у вас... Я знаю: вы хотите его завтра утром...

– Кого – его?

– Куковерова. Я – я не могу, чтобы он... И я вам – все, всю себя – что хотите! – я буду вам всю жизнь... Я его люблю, понимаете?

Тишина. Свеча, нагорая, трещит. Теперь на лице у него ясно виден разрез губ, верхняя очень короткая, и в ней легкая дрожь – может быть, тени от свечки.

– Я его – тоже люблю.

Громадные – настежь глаза у Тали:

– Вы?

– Да, я. Мы с ним год сидели вместе в тюрьме. Вдвоем жили. Это не забывается.

– Так, значит, вы... его не...

– Завтра я его расстреляю. Не я – ну, это все равно.

Задыхаясь в нагаре, качается свеча, пол, стены. Тале надо опереться руками о стол, нагнуться ниже глазами в глаза, глаза у нее – крылатые, настежь.

Дорда встает – крепко, весь в кобуре; берет револьвер со стола с бумаг.

– Я сейчас иду к нему. Вы будете ждать меня здесь.

И еще раз его голос – издали, из-за дверей часовому:

– Останешься тут с ней, пока я не вернусь.

Тишина. Фитиль – черным крючком, как ястребиный клюв. Сверху – потолок, тысячепудовый, и дальше – небо, пустыни, льды, темная звезда.

Оцепеневшие в последнем взмахе машины и люди, и немые толпы книг, и века – с неслышным, оглушительным ревом: все это, чтобы в конце выбросить сюда, на голый берег, троих последних людей на звезде.

Голый, пустой зал – только огромный, с какими-то делениями, круг на полу и, пока еще неподвижная, черная стрелка. Это – просто, в этом нет ничего, и все-таки – как зверь, дрожа, чует черную дырочку дула, – так и они.

Они двое – сюда лицом. Свет лун – снизу и сзади, их лица в тени, на зеленоватом, застывшем небе вырезаны два темных профиля: мужчина – исподлобья, прижатый к груди подбородок, узлы мускулов пониже плеча; и молодая женщина – острия ресниц, губы, только что сказавшие что-то и еще не закрытые.

Теперь та, старшая, кто тысячу кругов назад была Мать, нагнулась. На стрелке – ее рука, мраморная, и мрамор от руки подымается все выше, и кажется – никогда не сдвинуть с места руки. Брови, зубы, всю себя – еще крепче! – чтобы хрустнуло! Движение; стрелка начинает медленно, со скрипом ползти по кругу.

Это – просто, в этом нет ничего. Я, мужчина, знаю. Прижмись ко мне, чтоб твое плечо... не бойся, только не

надо туда смотреть, не надо смотреть. Стрелка ползет со скрипом, вот над какой-то цифрой – да, здесь... остановилась. Это – все.

Она, Мать – стоит, прямая, высокая. По лицу у ней – облака вихрем – обо всем сразу: о мертвом уже мальчике, о них, о себе, о тысячелетиях, об этой – последней – секунде и о том, что произойдет сейчас.

Натягиваясь все больше, тончайший секундный волосок обрывается, где-то внизу огромный, круглый гул. Все вздрагивает; нелепо подпрыгнув и в последний раз сверкнув – проваливаются две луны; в соседнем зале – цепной лязг и звон сорвавшихся машин; сквозь грохот – крик; и – внезапная тьма, ночь на темной звезде.

Дорда смотрит в широко, сине раскрытые ему глаза, смотрит, как шевелятся у Куковерова губы, смотрит на его палец – сбоку, около ногтя, желтый, прокуренный табаком. Это – человек, живой человек. И вот знать, именно з н а т ь, что завтра –...

Так: будто бы если Дорда только чуть двинется, вот только карандашом по бумаге, то это случится не завтра, а сейчас, здесь – потому что Куковеров из тончайшего, как папиросная бумага, стекла. И Дорда неподвижен – статуя из темного, кожаного, блестящего металла.

– Дай папиросу... – трудный, сквозь сухие губы голос Куковерова.

С папиросой он нагибается над стеклом жестяной лампочки (спичек нет) – красный язык в стекле вспрыгивает вверх, коптит.

– А помнишь, Дорда, как мы с тобой в камере без табаку сидели? Одна папироса – и я хотел, чтобы ты взял, а ты – чтобы я, а потом прибили ее гвоздиком на стене – как память... как...

На платформе – уже пробил третий звонок, и надо скорее – скорее еще о чем-то и еще о чем-то – обрывки. Куковеров курит жадно, на папиросе растет седой, чуть курчавый пепел, в голове у него стрелки кружатся сумасшедше.

– А это: мы с тобой – у окна на табурете, небо – и что-то... Да: трамвайные звонки – и это нам казалось как... как... А сейчас – ты и я... смешно! Я все думал...

Вот кружка с водой, жестяная – вот, видишь, тут грязь вверху под рубчиком? Понимаешь – вот я смотрел на нее и думал: она завтра будет совершенно такая же... Там, может быть – совершеннейшая пустота, пустыня, ничего – и, понимаешь, думаю: вдруг увидеть т а м вот эту самую кружку и вот тут на ней грязь – может быть, это такая невероятная радость – такая... Или увидеть: ползет червяк – больше ничего: червяк.

Дорда сидит, крепко подперев голову, рта у него нет, карандашом чертит на бумаге крест – еще больше – не хватает места, надо снять с бумаги револьвер. Но едва касается револьвера – вдруг какая-то мысль. Слышит: раз! два! три! – как часы в бессонницу – сердце. Да, это будет, пожалуй, самое...

Встал; медленно – к окну; остановился. И спиною – вот где-то тут, между лопатками, хочется даже потрогать это место, там сейчас чуть покалывает – спиною Дорда ясно видит: Куковеров взял оставленный на столе револьвер, теперь поднял. Сквозь окно – небо, пустыни, льды, огромная, синяя звезда, ниже – из крыш чугунной стеной растет туча. Неизвестно почему – на мгновенье: мать на пороге, руку козырьком к глазам... Дорда ждет минуту, еще минуту.

И – ничего. Быстро оборачивается, там Куковеров, нагнувшись над лампой, закуривает новую папиросу. Револьвер лежит на столе, как лежал. В тени, под острой скулой у Дорды вздрагивает какой-то червяк. Дорда идет к столу, берет с бумаги револьвер, на лице – внезапно прорезаны красные губы, но не там, а гораздо выше, верхняя губа очень короткая. И слова:

– Ты – идиот, интеллигент! Я тебе это всегда говорил.

– Помню... – улыбка; пепел – седой, чуть курчавый – скоро осыпется, упадет.

– Я бы взял и выстрелил. Это уж будь покоен. Завтра в тебя выстрелю – не я, ну, это все равно.

– Завтра – да. А сейчас ты...

– Довольно, не мели ерунду! Ты, может быть, воображаешь, что я тебе это нарочно подложил? Идиот!

– Ладно. А я, может быть, тебе за эту одну минуту... Слушай: неужели ты не понимаешь, что самое главное...

Сумасшедше кружатся лопнувшие часы, час – секунда. Нет людей, и потому двое – люди, и как после тре-

тьего звонка – надо скорее – еще о чем-то и еще о чем-то. На щербатом столе белые трупики папирос, курчавый пепел. У Куковерова морщины возле висков складываются веером, улыбаясь; глаза блестят.

– А знаешь, Дорда? Мне тебя жалко – ну, просто вот... Это, может быть, только сейчас – может быть, завтра я...

Вдруг – это простое, их обоих, завтра: еще невидное, оно где-то катится сейчас огромной световой волной – все ближе. В тени, под острой скулой у Дорды мечется какой-то червяк. Оба молчат, это кажется очень долго. Потом Дорда говорит тихо, глядя вниз, на карандаш:

– Ко мне приходила твоя... не знаю, кто. Говорила разную... ну, что тебя любит и там – не помню еще что. Не важно. Я, собственно, поэтому.

Дорда смотрит на крест – на бумаге карандашом – и слышит дыхание Куковерова, медленное, тугое, будто весь воздух для него сразу затвердел кусками. Куковеров молчит.

– Ну? Чего же ты молчишь? Ч-черт!

Дорда вскакивает – к окну; там звезды уже нет, все небо – туча, чугун. Опять – к столу, где молчит Куковеров.

– Это, может быть, глупо и нельзя, – но все равно: вот хочешь – она придет сюда, к тебе? Я скажу конвойному. Ну? Хочешь?

Воздух – колючими кусками, слов нет. На лице у Куковерова улыбка, облака – светлые и темные: о том, что это – как день или как... – и что это невозможно, нестерпимо. И все-таки кивок головой, чуть заметный: да, хочу.

И когда Дорда встает, чтобы уйти – голос Куковерова, с трудом протиснутый сквозь зубы:

– Оставь мне папирос – у меня нет ни одной. Спасибо. Вообще.

Однажды, давно – последняя папироса была прибита гвоздем на стене. Так было.

От Дорды, от Куковерова, от людей, от Земли – железной громыхающей занавесью туч еще закрыто завтра – и закрыта мертвая, вдруг вздрогнувшая звезда. Там – все черное, ночь. Эта ночь – минута, вот уже проступает

небо. Но оно не из зеленого льда, какое было над звездою вчера, позавчера: оно вспыхивает красным – как девушка, которая в первый раз увидела, почувствовала – щеки у ней все горячее, и сердце, жужжа кровью, мчится навстречу – чтобы сгореть, сжечь.

Еще одно какое-то деление, волосок и, вместо двух лун, прижавшись носом к стеклу, медленно, огромно подымается небывалая луна: красное, косматое, рябое, жестокое, веселое, равнодушное, любопытное лицо. Прозрачной кровью багровеют стены, красная полоса на груди у младшей женщины – это похоже на трещину в чаше – и красные рубцы у мужчины на плече.

Ноздри у него дрожат – как у зверя, который чует еще далекий, неясный запах и, ощетинившись, пятится. Не сводя глаз с новой страшной луны, он ступает шаг назад, еще шаг – заслонился ладонью. Вдруг стрелой к двери – скорее отсюда, чтобы не видеть, чтобы...

Но уже нет двери, она завалена снаружи кусками расколотых стен – глыбы, груды, горы стеклянного льда в красных искрах, назад нельзя, только – вперед. Куда?

Я одна – я, Мать, живу тысячу кругов – я одна знаю, куда. Я слышу, как со свистом, в сто раз быстрее, мы мчимся навстречу Земле, кружась – и ради этого все, ради этого обречены мною эти двое последних, мужчина и женщина: они еще живы, еще люди.

И я – человек. Если б не быть человеком, если б... Но вслух нельзя, и я знаю: я сейчас улыбнусь ему – вот! – я улыбнулась.

Обеими руками он крепко держит свою бушующую голову, глаза круглы – как у ребенка, как у зверя. Тихо он говорит ей, Матери:

– Что ты сделала? Что это – там, красное?

– Это – Земля. Я повернула к Земле – чтобы мы... Нет, нет, слушай: там, на Земле – воздух, там – люди, мужчины и женщины, и они все дышат целый день, целую ночь – сколько хотят, и там уже не надо убивать, и там...

Губы у него шевелятся – он повторяет за ней слова, как молитву – на верхней губе у него чуть заметная теплая ложбинка. И уже знать, видеть, как вздернется эта губа в оскаленной последней улыбке, как его зубы...

Вслух:

– И ты... ты будешь дышать – днем, ночью, всегда, сколько хочешь!

Мужчина закрывает глаза – невозможно поверить сразу, сердце стучит; и тотчас открывает, чтобы поверить – чтобы протянуть руки к косматой, прекрасной, страшной Земле – чтобы закричать ей навстречу, как на заре зверь – чтобы в пьяной радости схватить ту, другую женщину, сжать ее грубо, жестоко, нежно.

Кружась и дрожа, Земля ждет, чтобы ее пронзили до темных недр – чтобы вырвались нетерпеливые бурлящие багровые лавы – чтобы сгореть, сжечь. Дрожа, она закутывает наготу в тучи, льет дождь, обжигающий, как слезы – о том, чтобы это скорее, чтобы это – никогда: это ослепительно, это больно.

С крыши – капли о каменный подоконник, и во всем мире двое – Куковеров и Таля – слышат каждую каплю. Лампочка, деревянный стол, на столе – трупики папирос, согнутые тяжестью цветения ресницы опущены вниз – на Куковерова, он на полу, лицом в теплую долину между Талиных колен, где недавно метался червь Rhopalocera... И в тишине – капли; от капли до капли – века.

Куковеров поднимает лицо, закрытые глаза, улыбку:

– Капли – вы слышите? До чего огромна кажется капля – или, может быть, не то, но вы понимаете? Я знаю: я их буду слышать всегда – всю свою...

Он хотел сказать: «всю свою жизнь» – и споткнулся. Улыбка белеет, он стоит на коленях молча, потирает лоб вот здесь, над правою бровью – один палец на руке желтый от табаку.

Внутри, в Тале, как живой ребенок, поворачивается сердце с такой болью, что хочется крикнуть и всю себя – что-то, самое невозможное, самое трудное – только, чтобы ему этот час или два...

Куковеров сине, удивленно открывает глаза – потому что вдруг слышит ее смех.

– Слушайте – ну, до чего же я глупая! Ведь я же забыла вам самое главное... Я сейчас с ним говорила – с Дордой, он говорит, что завтра... что вообще вас не...

Я не помню... я торопилась – он сказал, что вас перевезут в город – он устроит, чтобы...

Глаза у Куковерова – круглые, как у ребенка – все синее, все шире.

– Но... но он мне – совсем другое – только что... Мы с ним здесь...

– Нет, нет! Потому что я просила, может быть... Я не знаю – он сказал, я же вам говорю!

Папиросу. Спичек нет – красный язык в лампе дрожит и вытягивается вверх. В голове у Куковерова, жужжа, сумасшедше несутся, как в часах с лопнувшей пружинкой; выскочившие из клетки слова – друг через друга:

– Да, да, ведь мы когда-то с Дордой вместе... Ему это очень... Вот это вот его папиросы – понимаете? И если... И потом мы бы с вами куда-нибудь... Это очень просто: фамилию можно... Смешно – откуда это? Фамилия была – Пупынин, Пантелей – понимаете? И человек подал прошение, чтобы переменить на «Робеспьер» – Пантелей Робеспьер! Именно, именно: Пантелей Робеспьер!

Тале нужно засмеяться вместе с Куковеровым, потому что, если она не засмеется... Одна пустая, страшная, без дыхания секунда, потом смех – кусками, комьями – совершенно сухими, тотчас же рассыпающимися в пыль. Куковеров – опять что-то такое об этом – как они вместе с ней будут... Будут? И больше уже нет сил, Таля кричит:

– Замолчите! Не надо! Я не могу!

Тишина. Капли о камень. Куковеров на коленях, его голова у Тали в руках – вот так, обеими руками, крепко сжать эту голову и не дыша смотреть, еще, еще – чтобы запомнить его на всю жизнь.

В Куковерове навеки – до завтра – отпечатываются чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губы. И когда он потом целует сквозь шелк, Таля, кружась и дрожа – дрожат и холодеют руки – всю себя, что-то самое немыслимое – быстро расстегивает платье, вынимает левую грудь – так вынула бы ее для ребенка – дает Куковерову:

– Вот... хочешь так?

Капли – за тысячу верст. Горячей щекой, губами – Куковеров слышит всю ее – и ее спутанные, соскочившие слова:

– Когда он обыскивал меня – мне показалось... Я подумала, что я могла бы и это – да, могла! Я хочу, чтобы ты – ты... Я хочу, чтобы ты оставил во мне себя, чтобы... Нет-нет-нет, это совсем не потому, что я думаю, что завтра... нет! Я же говорю: он сказал мне – я же говорю! Но разве нужно, чтобы всю жизнь вместе есть и ходить гулять? Ведь самое главное, чтобы...

Капли о камень, огромные в тишине. И огромно, легко, как Земля – Куковеров вдруг понимает все. И понимает: да, так, это нужно; и понимает: смерти нет.

Идет к двери, прислушивается, накидывает крючок. Запоминается навеки – до завтра: под крючком на дереве полукруг – это прочертил крючок, качаясь часы, годы, века. И еще: окно уже побледнело, черный крест рамы, тучи, какой-то громадный, далекий, круглый гул все ближе.

Сквозь миллионоверстные воздушные льды, кружась все неистовей, со свистом мчится звезда – чтобы сгореть, сжечь – все ближе. И там – трое последних. Освещенные новым, красным, последним светом – они, не считая, жадно пьют оставшийся воздух, пьянеют, дышат так, как здесь, на земле, дышали люди давно – тысячи кругов назад. О, один раз в жизни – не думая, без счету – телом, ртом, грудью!

Мужчина и женщина обнялись тесно: двое – одно. И та, старшая, Мать – над ними, над всем. В красное зарево неба врезан ее профиль, брови и губы крепко сжаты, она мраморна, как судьба, чуть согнуты под какой-то тяжестью плечи, стоит, ждет. И вот – пол под ногами вздымается, как живое тело, залитые красным, прорезываются трещины в тысячелетних стенах, звон стеклянных брызг –...

Тишина. В пустынях острые зубчатые тени опрокинутых скал. Зажженные алыми искрами ледяные глыбы стекла, под ними – как сквозь лед на дне – темные груды машин, книг, тел, три мгновенно замерзших, тесно друг к другу, трупа.

В тишине – капли о камень, от капли до капли – века, секунды. В какую-то назначенную секунду – вдруг рушатся тучи вниз, на ослепительно-белом – переплет рамы

черным крестом, молнии – столбами, сверху – камни, грохот, огонь.

Из ворочающихся, как медведи, встающих на дыбы изб – выскакивают келбуйские, орловские, и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире – еще – всю себя – чтобы зачать, чтобы в багровом свете – новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане – еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы –...

1923

ИКС

В спектре этого рассказа основные линии – золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень – в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия – по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это – просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотея, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба – в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роеньем.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЕПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно, пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда слу-

чалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИКа – так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о голавлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь – совершенно некстати – дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

– А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь... штаники сзади... не то чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

– Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут – из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету.

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему – конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов – вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить тайну в душе: призвание поэта – открывать душу настежь для всех. И к утру все от восемнадцати до пятидесяти знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, то есть нечто, прикрывающее наготу Адамов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев – настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской, непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги – и так далее. Словом, прозодежда – это, явно, нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, и раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мною нырнуть в пыльные облака на улице Розы Люксембург, то сквозь

чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видали дьякона?» Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок-икс, с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной. Эта линия пролегает не по Розы Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку, – через минуту мы услышим во дворе розовый голос Марфы: «Кузьма Иваныч, это вы?» – калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и с подписью внизу: «Быть по сему». Неизвестно, что это значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он – бритый: с тех пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду, – ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть – это сущая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит – что же? – значит, она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно – как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится почти ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо – глотает шепот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав – и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно – раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его

лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном у Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (заметьте: рифмой оказалось слово «осечка»). Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался на улицу Розы Люксембург.

Там сейчас подготовлялась катастрофа: столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра – красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы, – и виден был издалека, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли – к нему, как к магниту, повернулась вся улица Розы Люксембург – к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом амвоне и с амвона раздавал каждому: «Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра».

Но один из народа (бас) брякнул:

– Какая там бумага! Ври больше!

– То есть как это – «ври больше»?

– А так, очень просто.

– Не веришь? Ну, гляди – ну, вот те крест святой, ну? – И, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел – рефлекс другой линии спектра – и (невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа эта была вызвана тем, что из соседнего облака пыли в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо: Стерлигов из УИКа. И конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукою, другую прижал к сердцу.

– Товарищ Стерлигов... Товарищ Стерлигов, простите ради Христ... – и, побагровев еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта цигарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал – и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять-десять строк – и, глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

– Осечка! То есть... я хочу с вами...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу, – непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул цигарку.

– Ну? По какому делу?

– По... по секретному, – шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей – шепот услышали, и он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом – это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадцати до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет – дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, – знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе или повести – но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набранная жирным цицеро булла была расклеена на заборах – и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление – настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне доподлинно известно: то, что

произвело в дьяконе переворот и заставило его раскаяться, – был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спустилась к реке – искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги – какова сегодня вода? – плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эй, должно быть, крупная играет!» – взглянул... и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы – волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! – ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах – шпилька, зубы – сахарные, голубовато-белые, на черном шнурочке – зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог – по случаю своей наготы; одеваться – белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца – пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончиков!), оделась – не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «Возлюби ближнего своего». Для ближнего – она всегда готова была, по Евангелию, снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты, бедняжечка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну поди, миленький, ко мне – ну поди!» – Это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в тюрьме сидел!»), говорила Хаскину из ячейки («бедненький – шейка прямо как у цыпленка!»), говорила телеграфисту Алешке («бедненький, все сидит – пишет!»), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма – собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

– А я желаю, чтоб ты была моя – и больше никому! Если я тебя... ну, вот как... ну, не знаю как... – понимаешь?

– Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-Богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова – и в саду еще горчее вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.

Как-то раз вместо сахара гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу – красил в модный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседки ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке – нечто круглое: может быть – бомба, может быть – отрубленная голова, а может быть – горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) – и вернулась домой. Затем – как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду – дьякон. Он вздохнул раз-другой – и выругался:

– Фу-ты, ч-черт! И тут краской воняет – никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе – согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Не удивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться – схватил штаны... Владычица! – не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника – все сиденье красное, и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена – то-то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу – надеть другие брюки, которые не представляли бы собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

– Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! – кричала дьяконица. – Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел – как некогда пророк Елисей – со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе – сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, Марфе.

– Ах ты, бедненький! Ну поди, поди ко мне... да что это у тебя глаза этакие чудные?

– Что – глаза! Тут мозги наперекосы́ пойдут – от всего от этого...

Мозги у дьякона шли наперекосы́: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты – теперь из Маркса – и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа, – неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена – две конструктивных, по Мейерхольду, площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год – 1919-й). Действие развертывается одновременно на обеих площадках: справа – Стерлигов и телеграфист Алешка, слева – марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике

это видно) произносит наконец какое-то слово – у Стерлигова цигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове – будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь – голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке – явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупо, без жестов – и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там зашита кошка: это – свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори – кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы – так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует – мозги у него явно пошли наперекосы́, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, – видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно – погоди!» – и уходит с твердым решением (кулак в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится – дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить – как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом – бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком – барышня, из породы секретарш (особый вид болонок).

У Стерлигова сквозь меха на лице – или от волнения – голос глухой.

– Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

– Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самим товарищем Папалаги. На столе возле него – тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги – громадные, черные, острые, греческие – или еще какие усы...

– Ну, гражданин... как вас? ага! – рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь, с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер, явно, ночевал на сеннике в сарае.

– Тем лучше: сам к нам на рога лезет, – (действительно: острые усы были как рога). – Тем лучше, тем лучше... – Папалаги нажал звонок, в дверях – желатинное лицо. – Вот что – сегодня вечером на Блинной улице... Впрочем – потом. Пока идите. Вы тоже можете идти – (это уже Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

– Черт возьми! – понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдать прозодежду... И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтоб реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.

– Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

– Ну, у Перелыгина так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотен на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта – представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят

трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шепотом заволновались:

– Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок – милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал – как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:

– Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно – как, закурив, бросают спичку:

– Прозодежда.

И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:

– Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам – шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг – пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды – волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону Б выдали спички – один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще – как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван – все прочные *д* дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных *р*: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку –

все эти *р* закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы – где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте – кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некоей спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый дьяконов нос, – там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться – надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили, – конец! Перекрестился бы – но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене – меховой, похожий на Стерлигова Маркс...

От Стерлигова – как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголку – соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели Интернационал – и невозможно, чтоб это было все вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей-Богу же – никакого Бога нет, а есть... а есть... Что, ну – что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе, наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромной зале – за сто верст, на дне – мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушка за роялью играла миньон, в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном назад, натыкаясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.

Дьякон крикнул:

– Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с цигаркой:

– Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога... Мне – по срочному делу: нельзя ли сейчас? – узнайте.

– Ладно... – и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в три восьмых пауза, заполненная смесью колокола с Интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издали – за сто верст – услышал сквозь дым:

– Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты, дошло до дьякона это слово – «задержать». Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона – и под музыку, пятясь, как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько мог, воздуха – сломя голову вниз по ступеням, на улицу – и побежал.

Как в поезде: мимо – столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то – косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад – нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную верею у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом у дьякона:

– Выдали!

Кто выдал – все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко – как птичку, которая сейчас улетит, – он держал кусок черного хлеба.

– Выдали, – крикнул он, – заместо прозодежды! Я – последний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой. Но Алешка схватил за рукав:

– Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна – на ступенях стоял Сюсин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев – тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:

– Так ты говоришь – хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось. Сюсин упал, на него насели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно – рука Сюсина с зажатым в ней ключом...

Здесь несколько зачеркнутых строк – или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на «р», как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж больше никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И, захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень – сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах – тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее – туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь *его*.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень – сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове – как тогда, на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтоб поднять занавеску, – но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся – и возле Марфиной калитки увидал *его*. Лица не разобрать – было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская – белой тарелкой – шляпа-канотье.

В кармане – далеко, за сто верст – дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть *он* залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет...

Дьякон немного помедлил – как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полой – и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтоб одним махом прикончить *его* и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом – готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешеней: на скамейке дьякон никого не нашел – и, ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела – быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, – вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона – это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать – куда глаза глядят!

Дьякон несся по Блинной – огромный – и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он – крошечный, с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот – огромный – дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры... ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое, – дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло – как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выс-

трелы. И конечно, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене – и ахнул: этот в канотье – раздвоился и теперь уже двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл *он* – споткнулся – отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища – оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаз, – дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный, запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И. И. Феноменов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище – дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором – и решил ждать, пока начнется прием у Феноменова.

Но дождаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался *он*, в белом канотье. И *он* размножался с ужасающей быстротой: *он* был уж не раздвоенный, а распятеренный – в пяти канотье. Дьякон понял, что это – конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

– Фамилия?

– Индикоплев, – ответил дьякон.

– Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст – дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

– Родителей не... не было.

Папалаги – как рога – наставил на него страшные черные усы:

– Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона прокололо. Значит, уже все известно – тогда все равно.

– Я сознаюсь, – сказал он. – Я перекрестился. Хотя и отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.

Папалаги обернулся к кому-то в угол:

– Что он – сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! – Папалаги нажал кнопку.

И тогда вошел *он* – неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:

– Он самый... пять шляп – эти самые... Пожалуйста, не надо. Ради Христ... то есть – нет, не ради!

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворился сумасшедшим:

– Увести его в десятый – и сами ко мне, сейчас же!

Когда дьякона увели и затем в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье, – Папалаги закричал:

– Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

– Это, видите ли, товарищ Папалаги... это, согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

– Сейчас чтобы снять! Ну, слыхали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что уже не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

1926

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩУ ЧУРЫГИНУ

Уважаемые граждáне – и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, граждáне, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас все как по писаному идет, а это неписаное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию – ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке – царство ему небесное! – было годов эдак двадцать пять, и, кроме того, он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой – это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря,

особенно одна с копьем, вроде бог – конечно, не наш православный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся – и Степка тоже.

Степка – он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все завидуют сзаду и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а можно сказать, отбросы общества – или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками Псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идеть. Ну, тут он меня измутыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались – насилу отдох.

А Степка утром – папаше в ноги: «Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно». А папаша ему произнес: «Ты, говорит, Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал было против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной – он и говорит Степке: «А в писании-то в твоем что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должон. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, ревут и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и вскорости жди меня обратно. Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей – глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие – не слыхать, только пар из роту клубками ввиду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там со своей бабой произведет свидание». И только он это сказал – Егорова баба сама к нам ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, – надо вступиться за женское существо. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим – самовар кипит, на лавке постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него – наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.

Обомлели мы – стоим безо всяких последствий. Спустя, Егор засмеялся нехорошо – так что у меня даже зубы заныли – и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь как надо меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот вот прищемил, но даже никакой боли не чую: иду – и все в глазах воображение Егора у сундука.

Вечером в Егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор – под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли сидит – уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись – все на него ужахаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только это налил другой, как чей-то

мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием: «Барин! Барин!» Глядим – а уж барин Тарантаев в дверях. Бритый весь, и дух от него роскошный – видать, пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак – и прямо к Егору: «Ну, говорит, Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «Ввиду, что ты есть гордость и герой, приявший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какою были закрыты у Егора нижние места, и нагнулся, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел – да как по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху́ ткнул Егора, который набок, как куль, а подняться не может, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот ничего мне не надо – только в глотку ему вцепиться. Барин Тарантаев, красный, рот разинул – сказать, но об наши ненавистные глаза обстрекнулся, как вроде об крапиву, – и бегом в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору говорят, что ты действительно герой первой степени. Егор, конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму присел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам и шмякнуло. «Но мы, говорит, вскорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут как это услыхали наши – ну прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам – крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик. И вот, граждáне, конечно, про этого Григория Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но тогда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил барина по шее, то вышел у нас с этим пауком полный разрыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный

черкес с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество Христово и Масленица, мороз переменный. И на Масленице папаша получает из города от Степки внезапное письмо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к нему народу собралось труба – Степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет Бога – это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство, и потому ждите – вскорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично.

Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это его работа, уж это уж будьте спокойны!»

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет Бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако чуем – это все не зря, и действительно ждем. Чего ждем, не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим – про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день и два, и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная естафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится – от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он говорит: «Это – оно самое, начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».

На случай часовых поставили меня да еще одного – горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слыхать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. Спустя глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой,

плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але!» И, значит, санки – в одну сторону, а этот конный – обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и я – прямо как в виде алкоголя – сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» – и лошадью мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?» – «Это, говорит, не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возражает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой – тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!» – и при этом скачет в направлении.

Тут я что есть мочи – к Егору. В избе у него полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладáть, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, а я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу – все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у нас в Питере происходит торжество революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у Егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спустя, Егор объявил из кошелки, что мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а может быть, он еще, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял

крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева-барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно сломаем.

Тут мы слышим молчание с шепотом, потом заскрипели ворота – открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит вовсю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину: «Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой!» – и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками – вот этак вот, вроде крыльями, ну прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, брат-

цы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»

Что, как – не знаем, и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрился возле статуи на скамейку, варежкой слезы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему Евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом – круши весь их роскошный бюджет!»

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы встрепенулся из своего трупа и говорит: «Это ни в чем не виноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и он говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знамения и предлагаю обнажить шапки».

Я вас, граждáне, кратно прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится – индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития

живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошелке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка – незначительный дымок. И может быть, еще одно десятое мгновение секунды, после чего ужасный звук в виде выстрела – и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклёматься не поспели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным выражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий, или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и

тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает Псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя, приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч, или, вкратце, Гришка – был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все – горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава Богу, существует уж на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждáне, в ваши неизвестные ряды.

1926

ЁЛА

1

Двухнедельные тучи вдруг распороло как ножом, и из прорехи аршинами, саженями полезло синее. К полночи солнце уже било над Оленьим островом вовсю, тяжело, медленно блестел океан, кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали, их становилось все больше, они скликали всех, отовсюду.

Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, пробежал вверх, в гору. С последнего поворота, по каменной площадке над собою он увидал десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской ёлы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки – прочный, смолёный, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним, вместо кулаков, были привязаны гири.

Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли.

Клаус Остранд, норвежец, сказал:

– Теперь мы ожидаем, что уж придет. После сторма оно должно приходить.

У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот – лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней – но не успел. Он увидел то самое, чего все искали: недалеко от берега легкие водяные вихры прокалывали снизу водя-

ную гладь, тотчас же опадали, рядом выскакивали новые – и еще, и еще – вся вода в этом месте как будто кипела.

У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал:

– Играет...

Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. Круглое, бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним.

Через минуту все становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на оголтело шныряв-ших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбаса́. Пришел, наконец, долгожданный час: в губе играла селедка, киты загнали ее сюда из океана, люди и чайки торопились хватать ее – она могла уйти в океан так же быстро, как пришла, она уже сейчас, на глазах у всех, уходила за Олений остров, надо было догонять ее – догонять счастье.

Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил – как будто спокойно. Торопиться ему было нечего: у него не было ни бота, ни ёлы, он нанимался к другим, кто ходил промышлять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от Высоцкого чая у него уже лежало двести рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, у Анны началась цинга, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли: как ребенок внутри женщины, в этой коробке лежала их ёла, трудно, медленно зрела, питаясь человечьим соком – и, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится.

– Если селедка продержится три дня, так тогда пожалуй что...

Цыбин не кончил, но Анна поняла и так.

– Хоть дожить, поглядеть, – сказала она и стиснула, повернула на пальце серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток – из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту всё могло рассыпаться.

Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по-коровьи, дыша.

– Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку, – сказал он.

– Сколько? – спросил Цыбин.

– По пятнадцать с пуд.

– Двугривенный – меньше не пойду.

Клаус задышал еще громче, побагровел, потоптался и молча зашагал дальше – к Туюлинской избе. Цыбин не двинулся с места, только под скулами на лице у него проступили крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная: ставкой была цыбинская ёла. Если Сашка Туюлин проспался после вчерашнего, так ясное дело – Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда – прощай ёла...

Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было вдесятеро слышнее, чем днем, каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца.

– А если Клаус не вернется? – сказала Анна.

Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и ёлам. На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивали якорь. Клауса все не было. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходят в море.

В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги.

– Хм... До зимы, пожалуй, дотянут... – сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне – и освирепел. – Ну, чего стоишь? Чего пялишься? – закричал на нее.

В дверь просунулось красное, бритое лицо Клауса.

– Согласно. Идем... чшорт! – сказал он сердито.

У Цыбина внутри стало быстро, горячо. «Ёла»... – ёкнуло сердце. Он встал.

– Ну, идем... – сделал шаг – и не вытерпел, заорал вовсю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер, облапил Клауса, поднял его.

– Ты что? С ума сошел? – еле продышал Клаус.

Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил, белые зубы сверкали, в шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам, Клаус ругался по-норвежски.

Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот рукою по обшивке:

– Эх, Клаус, посудина у тебя! – и прибавил: – Ну, ничего...

А в этом «ничего» и было все. Наполовину игра была уже выиграна, оставалось взять еще одну карту: у моря – и тогда... Тогда – ёла, тогда – новая, великолепная жизнь!

Море было ласковое – как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной, белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними – вдруг спрятал селедку, нигде не видно было кипеней на воде, все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов.

Легкая ёла старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бота. Короткий, раскорячивши корневища-ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу:

– Черти-и! Шлепалы-ы! Машинами своими всю селедку распугали! Назад, назад ворочай – она назад пошла!

И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь, взят галс – и паруса уже белые, под лопоухими шляпами-зюйдвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло, вода за кормой мурлычет.

Но едва успели повернуть – как селедка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, щурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир – и люди и птицы стали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи.

Ёлы и два моторных бота стали у переймы, в губу с сетями побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их уже грузными, богатыми, с трудом. Бечевка до крови резала Цыбину руку, но чем больнее было рукам, тем ему было шире, радостней, хотелось петь, орать разбойно, вовсю.

Уже никто не знал – день сейчас или ночь. Солнце все время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все забыли о том, что нужно есть, спать – только

вытирали крепкий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ведерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые поворачивались под солнцем чайки, кричали по-ребячьи, летели за карбасами, не отставая. Грузные, медленные, похожие на возвращающихся из стада, отягощенных молоком коров, карбаса шли назад в становище – сдавать селедку в магазин, еще живую валить ее в чаны, засыпать солью.

– Эй, Фомич, у вас сколько? – мокрый, белозубый, пьяный, счастливый кричал Цыбин с берега вниз.

– Пудиков триста е-есть!

– Не допрыгнешь! У нас с Клаусом за пятьсот перевалила-а!

Где-то вдали, – а, может, и тут же, рядом, Цыбину как во сне мелькнула Анна, у ней на пальце было серебряное кольцо, она что-то протягивала в руке – должно быть, хлеб, Цыбин отмахивался: «Некогда, не надо...» И снова греб в карбасе, снова нагибался с сетью, пил теплую воду, вытягивал тяжелый, веселый груз. С соседней шлюпки кричали: «Гляди, ребята, кит, кит!»

Над темной гладью поднялся белый водяной столб, но Цыбин даже не повернул головы – кит для него сейчас был куда меньше селедки.

Селедка продержалась в губе почти четверо суток. Потом вдруг засвежело, подула моряна, тучи пошли все ходчей, в какие-нибудь полчаса запарусили все небо, и селедка прочно села на дно. Только тут все почуяли, что выбились из сил, подняли якоря и по ветру побежали назад, к дому.

Лов был такой, какого не бывало давно. На бот Клауса пало больше тысячи пудов. Клаус отсчитал Цыбину двадцать червонцев. Это была ёла – это была его, Цыбина, ёла!

Цыбин шел домой. В лицо, в глаза било косым холодным дождем, но он ничего не чуял, кроме ёлы, кроме зажатых в левом кармане денег, кроме счастливого, накрывающего с головой сна.

Дома он ничего не стал есть, не раздеваясь, бухнулся на кровать и заснул. Во сне он улыбался. Так во сне улыбаются дети, обнявшись с давно желанным и нынче, наконец, полученным в подарок деревянным конем.

2

Дождя на другой день уже не было, но все еще дул полунощник – сверху от Новой Земли. Вода в губе была железного цвета, скалы черные, на скалах сидели тучи.

Цыбин проснулся далеко за полдень, сел на кровати. Он знал, что светит солнце и снаружи, и здесь – везде. Потом увидел за окном толстое ватное небо – и все равно: какое-то великолепное солнце было. Он сейчас же вспомнил какое – и засмеялся. Подошла Анна.

– Ты чего? – спросила она.

Но сказать вслух, словами, было нельзя. Цыбин посадил Анну к себе на колени, взял ее рукою за грудь. Грудь сейчас походила на мешочек с высыпавшимся наполовину зерном, а раньше была полная доверху.

– Ну, ничего, Анка, – сказал Цыбин. – Теперь у нас все пойдет...

Он наскорях выпил чаю, съел печеных селедок и побежал к Фомичу. Говорили, что когда-то в драке Фомич одним ударом уложил человека наповал и что лучше его моря никто не знает. Лет тысячу назад такой же Фомич, может быть, на этих же самых каменных берегах, был главою племени. Теперь – его выбирали в восемнадцатом в Учредительное Собрание, его спрашивали – сдавать налог или нет, идти в море или не идти.

Заросший серым волосом, коротконогий, он сидел у себя в избе без штанов – парусной иглой прилаживал к ним заплату. Вошел Цыбин. Фомич зажмурил правый глаз и остро, по-ястребиному, посмотрел левым.

– Ну, что? – спросил он.

Цыбин конфузливо, не глядя – так же, как он стал бы говорить о любви, рассказал Фомичу, что вот теперь деньги есть и надо скорей заказать ёлу.

– Ёлу, говоришь? – Фомич зажег трубку, помолчал. – Так... А только посудину покупать – это, брат, все одно как жениться. Это надо не торопясь. Это – в жизни раз. Оно, да!

Он снова стал стегать иглою. Стежки были из суровых ниток, медленные, прочные – и такие же были слова. Да. Заказать ёлу. А где заказать? На казенном заводе? Лапти им плесть, а не строить! В Архангельском –

там могут. Это – оно, да. А только там, как у нас в советском кооперативе – в очередь становись. Год ждать – не меньше. Да...

За окном на скалах каменно сидели тучи, все небо кругом было серое, состарившееся. Цыбину ясно стало: ждать... Ёла уплывала, становилась все меньше, чуть виднелась вдали. Он вздохнул, встал. Руки у него висели так, как будто вместо кулаков были гири.

– Ну, что ж... спасибо, Фомич. Пойду...

Фомич опять одноглазо, по-ястребиному поглядел на Цыбина – и даже не так: в Цыбина, внутрь. Поглядел – и сказал:

– Погоди-ка... – Цыбин остановился. – А если тебе не на заказ, а готовую купить? Слыхал я, одна сейчас продается...

Сердце у Цыбина застучало, как пущенный в ход мотор. Он уже не слышал даже слов, какие говорил Фомич, но и без слов – как понимают друг друга рыбы – понял все, что надо: ёла стоит в Мурманске, не какая-нибудь, а норвежская, продает ее норвежка с Кильдина, муж у нее недавно помер. Теперь одно: скорей попасть в Мурманск, пока никто не перехватил ёлу – его, Цыбина, ёлу. А пароход на Мурманск, на Вардэ – только через неделю. Перехватят в неделю – как пить дать перехватят!

Фомич порылся в серой, спутанной шерсти на лице – и вспомнил:

– А вот – будто Клаус собирался в Мурманск идти. Поршень у него на моторе... Новый надо.

Через минуту Цыбин был уже у Клауса. Клаус молчал, громко сопел по-коровьи. Потом сказал:

– Когда селедка, ты мне двугривенный пуд, но теперь: «Клаус! Клаус!» Но я не вспоминаю. Ты мне помогаешь грузить, и я иду после два дня, воскресенье.

Грузить? Да Цыбин сейчас хоть сто пудов поднять может! Только бы дожить – только бы скорее дожить. Как пьяный, напинаясь на людей, на вещи, Цыбин ходил эти два дня. И как пьяный кружил из стороны в сторону ветер, погода была непрочная, вот только что было ясно – и вдруг налетел осенний шквал, все темнело. Темнел и Цыбин: а что если к воскресенью ветер разыграется как следует и Клаус побоится идти?

Но за ночь будто все улеглось. Когда утром в воскресенье Цыбин вышел из дому, небо было чистое, легкое, летнее. И пахло по-летнему: мхами и дымком – где-нибудь горел сухой торф. Цыбин заторопил Анну: «Скорее, скорее...» Анна вынула заветную коробочку из-под Высоцкого чая и пошла провожать.

Уходили на боте вчетвером: Цыбин, Фомич, Клаус и его младший брат, белоголовый Олаф. Цыбин явился в новой, еще не стиранной рубахе, в черном пиджаке. Фомич поглядел на него, потом обмерил одним глазом небо сверху донизу. Внизу, далеко, лезвием ножа блестел океан. Фомич сказал Цыбину:

– Ты куда – в море идешь или нет? Поди кожан надень и буксы. Вырядился – как к невесте!

Цыбин сбегал к себе и принес желтые непромокаемые штаны и куртку. Переодеваться он не стал, не мог: он ехал все равно что к невесте – Фомич угадал.

В Мурманск шли по ветру. В подмогу машине Клаус поднял кливер и грот, бот бежал быстро – маленькой черной мошкой. Следом за ботом – следом за Цыбиным – летело солнце. Цыбин, обняв колени, сидел на канате возле якоря-храбрина. На темном, смоленом лице его рот расцветал, зубы блестели, впереди было счастье. Он думал о корпусе, о тросах, о парусах, о конопатке, о пеке, о своей ёле, – о том, о чем не спал ночью три года.

В одиннадцать часов белым, чуть желтоватым кусочком сахара открылся маяк, а к часу они уже входили в Мурманск. Небо, все еще голубое, летнее, было тут изрезано на куски мачтами и трубами. Цыбин среди маленьких, больших, красных, черных корпусов искал ее – свою ёлу.

– Храбрин, храбрин бросай... ччерт! – кричал ему Фомич, должно быть, давно уж.

Цыбин очнулся, обеими руками поднял якорь-храбрин и сронил его. В лицо брызнула вода, он утерся.

Долго ждали гепеушника – получить пропуск. Показали бумаги, сошли на берег. Олаф остался на боте, из кубрика торчала его беловолосая голова. Клаус сопел и шел медленно. Фомич тоже: ноги увязали в сухом месиве из песка и пыли. Цыбин стиснул зубы, кулаки, всего себя, – чтобы не бежать.

Идти пришлось порядочно: ёла отыскалась только в Базной гавани. Там, среди бокастых двухмачтовых шхун стояли три ёлы – как тонконогие козы, затесавшиеся в стадо коров. Свою Цыбин угадал сразу же, издали. Борт у нее был выкрашен желтой, радостной краской, и такая же желтая, будто окованная золотом, сверкала верхушка мачты, а палуба была выскоблена, как в избе пол под праздник. Ёла стояла и ждала, нарядная, как невеста. Губы у Цыбина в одну секунду пересохли, он хотел что-то сказать Фомичу – и не мог.

Фомич быстро окинул ёлу одним левым глазом, потом крикнул:

– Эй, хозяйка!

Из кубрика высунула голову женщина, что-то пролопотала по-норвежски, махнула рукой и опять ушла в кубрик. Цыбин понял: ёла уже продана, опоздал! Он ухватился за мачту, – может быть, чтобы сейчас изломать ее в куски, потом кинуться на хозяйку в кубрике.

– Продана? – хрипло спросил он у Клауса.

– Она говорит, что она идет сделать порядок на кубрике. Она не продавала.

Цыбин засмеялся, изо всей мочи тряхнул мачту, мачта чуть скрипнула.

– Эх! И крепка же! – закричал он.

– Да уж что там: оно... – сказал Фомич.

Хозяйка позвала в кубрик. Она не продала ёлу, она была удивительная. У ней были желтые волосы – как обшивка у ёлы, синие глаза, под глазами темные летние тени.

На столе в кубрике стояла бутылка горькой и закуска. Хозяйка налила. Цыбин, не дожидаясь, схватил и залпом выпил свой стакан. Хозяйка что-то заговорила по-своему с Клаусом, взглянула на Цыбина, засмеялась. Цыбин засмеялся в ответ и на ее руку положил свою – заскорузлую, похожую на лапу какой-то большой птицы. У хозяйки рука была холодная.

– Ну, что же, спроси у ней, сколько она хочет, – сказал он Клаусу.

– Шестьсот, – ответил немного погодя Клаус.

У Цыбина было только четыреста сорок, больше не было. Но все равно он знал, что ёла будет его – должна

быть, они ждали друг друга всю жизнь. «Милая ты моя синеглазая – пойми ты!» – глазами сказал он хозяйке и прочнее взял ее руку своей.

– Четыреста у меня только и есть, – вслух сказал он.

– Нэй, нэй! – хозяйка вынула руку и опять залопотала с Клаусом. Клаус объяснил: она говорит, что ёла еще совсем молодая, хорошая, таких здесь нет.

– Ты, Клаус, скажи ей, что она сама молодая, хорошая.

Клаус перевел, хозяйка засмеялась, кивнула Цыбину, налила всем еще. Потом пошли наверх и стали все осматривать: корпус, лебедку, якоря, такелаж, подняли и спустили парус. Цыбин один полез в трюм, ощупал, обласкал каждый бимс, каждую доску, он улыбался – один, себе, руки у него тряслись. Еще какая-то тоненькая пленочка, волосочек, минута – и все это будет его!

Он вылез на палубу. Ёлу теперь чуть покачивало... Фомич левым глазом глядел вдаль: там – чуть приметная полоса, будто где-то, еще очень далеко, бежал пароход, а за пароходом длинный дым. Но солнце взодрало вверх, сломя голову летело все выше, было совсем жарко, летне. Спустились опять в кубрик.

Тут Клаус сказал Цыбину:

– Она говорит теперь пятьсот. Меньше нет.

Цыбин набрал воздуху – будто чтобы кинуться с высокого берега в воду.

– Эх... Ну, все равно: ладно! Только пусть сотню подождет до весны.

– Она думает. Она сейчас скажет – и все будет конец... – перевел Клаус ответ хозяйки.

Хозяйка сидела молча и водила пальцем по краю своего стакана. Цыбин слышал, как неслось в нем сердце, как громко, по-коровьи, дышал Клаус, потом как будто на палубе чьи-то шаги. Только он хотел подумать – чьи же это, как вдруг увидел: Клаус ковыряет стол концом ножа. Цыбин, стиснув зубы, выхватил у него нож:

– Ну, ты! Поковыряй у меня еще, попробуй!

Хозяйка взглянула, должно быть поняла все, заулыбалась, хотела что-то сказать. Цыбин знал: она сейчас скажет – согласна. Он весь раскрылся, ухватился за нее глазами и ждал, не дыша.

Но тут наверху, в синем квадрате, где была открыта дверь из кубрика на палубу, показались высокие сапоги. В кубрик спускался кругленький человечек в синей вязаной мурманке. Лицо у него было безволосое, пухлое, похожее на булку – неизвестно, мужик или баба. Он тонким голосом спросил:

– Эта самая, что ли, ёла продается?

– Ю... да... пятьсот рублей, – сказал Клаус и опасливо покосился на Цыбина. Цыбин закуривал папиросу, спичка в пальцах у него дрожала.

– Даю! – сказал человек бабьим, тонким голосом.

Цыбин скрипнул зубами, взглянул на хозяйку. Она молчала. Цыбин поднялся, кинул ножик на стол. Снова взял его и пошел к трапу. Руки у него тяжело висели. Не глядя, он столкнул с дороги человека в синей мурманке и вылез наверх.

На голубом небе, дразня, чуть покачивалась мачта с желтой, золотой верхушкой. И покачивалась вся легкая ёла – будто уже плыла, убегала куда-то от Цыбина. Он сбросил картуз, и обеими лапами огребая лицо как медведь – сел на лебедку. К горлу подступило, ему хотелось зареветь по-медвежьи и по-медвежьи крушить все и ломать. Из кубрика слышались голоса, там продавали его ёлу. Этого нельзя было стерпеть.

Зажав нож в кармане и глотая что-то соленое, он ринулся вниз, в кубрик. Там сразу все замолчали. Человек в синей мурманке встал из-за стола, попятился.

– Ты что? Ты не очень! – крикнул он Цыбину нарочно громко, чтобы подбодрить себя.

– Уходи... – сказал Цыбин чужим голосом и не глазами, а как-то зубами, оскаленными белыми зубами поглядел в пухлое бабье лицо.

– Сам уходи! Ёла не твоя... – человек в мурманке опять сел.

Если бы он не сказал: «Ёла не твоя» – может, ничего и не было. Но тут в Цыбине, внутри, будто прорвало шлюз, все хлынуло в голову. Он вытащил из кармана кулак с зажатым ножом, замахнулся.

Все закричали. Фомич стиснул его руку, так что захрустело, хозяйка вырвала нож. Человек в мурманке си-

дел, зажмурив глаза, и растопыренными пальцами прикрывал голову.

Цыбин поднял над ним пустые, тяжелые руки, как будто подумал одну секунду, потом схватил его толстое, вязкое тело, комкая, выволок на палубу, подтащил к борту, с веселой, злой легкостью поднял и бросил на берег. Тяжело, как тесто, тело шлепнулось о камни.

Все выскочили из кубрика и стояли сзади. У хозяйки были громадные глаза. Клаус сопел.

– Ты убиваешь. Нехорошо... – сказал он.

– Что ж, и убью! – крикнул Цыбин.

Тело на берегу заворочалось, поднялось. Человек, прихрамывая, не оглядываясь, пошел.

Цыбин вынул из кармана деньги, трясущимися руками пересчитал их и сунул хозяйке, крепко упираясь в нее глазами. Она стояла, не двигаясь. Если не возьмет, значит...

– Бери! – хрипло сказал Цыбин.

Хозяйка медленно поднимала синие глаза. Глубоко посмотрела в Цыбина, может быть, – увидела все, взяла деньги. Цыбин глядел, раскрыв рот, будто все еще не верил. Вдруг схватил норвежку, потянул ее к себе, притиснул и стал целовать ее щеки, губы, волосы.

– Ты... ёла! Ёла – моя! – кричал он. – Моя ёла! Моя!

Потом опять все пили в кубрике, и пил Цыбин. Ему казалось – он все понимает, что говорит по-норвежски хозяйка. Клаус сказал:

– Она тебе говорит, что теперь ёла твоя, а за ёлу она возьмет тебя.

Норвежка засмеялась и тронула рукой щеку Цыбина. Рука была холодная, как у мертвой. Цыбин отодвинулся, встал. Клаус тоже поднялся.

– Пойдем, пора стащить груз с бота, – сказал он. – Потом надо скоро домой.

Втроем – Клаус, Фомич и Цыбин – пошли к боту. Цыбин обернулся еще раз на свою ёлу и смотрел, упиваясь, жадно глотая ее глазами. На самом носу стояла хозяйка, под белой кофтой у нее торчали широко расставленные, острые груди, она кричала что-то вслед Цыбину. За нею, сзади, было совсем ясное, легкое небо, и только

внизу, на уровне ее ног, как дымок от очень далекого еще парохода – чуть приметная полоса.

– Н-да... Оно! – сказал Фомич – неизвестно о чем.

3

К шести часам уже все было погружено, Клаусов бот подошел и стал рядом с ёлой, чтобы взять ее на буксир. Хозяйка с узелочком ушла с ёлы на берег. Цыбин – потный, счастливый, влез в кубрик бота и взял в охапку свою морскую одежду.

– Куда ты? – спросил Фомич. – Одевался бы тут скорее.

– Нет уж, я лучше... у себя на ёле... – сказал Цыбин и сам услышал, как он это сказал: «У себя».

В кубрике на ёле Цыбин быстро натянул желтые проолифленные буксы – тройные на заду и на коленях, влез в шуршащий желтый кожан. Потом вышел наверх, запер дверь, еще раз обежал свою ёлу. Все было готово к походу, трюм закрыт, прочно принайтовлены якоря. На корме Цыбин заметил: чуть-чуть согнуто железное погудало от руля – должно быть, ёлу однажды хватило штормом.

«Ничего! Эта – всякий шторм выдержит!» – Цыбин влюбленно поглядел на ёлу.

– Давай, давай конец! Не копайся! – кричал с бота Фомич.

Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, понюхала платье, ткнулась носом в руку – и вдруг, поджав хвост, с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные»... – вспомнил на секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пошла. Это была его,

Цыбина, ёла, и она завтра, и зимою, и всегда – будет его...

– Эй, эй! Вперед гляди! Успеешь еще налюбоваться, – крикнул Фомич.

Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был норвежец, на нем тарахтела лебедка. Над водою был виден весь его черный борт и большой кусок подводной части, окрашенной красным: пароход сбросил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.

«Эх, на ёлу не положили грузу... – подумалось Цыбину. – Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».

Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, все было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер переменился и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поставить паруса и, глядишь, к ночи – уже дома, к ночи ёла будет уже стоять на месте, утром все соберутся на нее глядеть... Эх, хорошо жить!

Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич, надвинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, огибали берег из огромных круглых камней, они все выше дыбились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки остановившиеся волны.

Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену. За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высотою с человека, и над ней, над самым краем, неслось солнце. Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот. Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще лоснилась, зверь дремал.

Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и сказал:

– А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу... – Потом поглядел одним глазом на Цыбина и помотал головой: – Хм... Оно!

– Ничего-о! Ла-адно! – крикнул ему Цыбин.

Весь он напружен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ёла шла сзади, чуть вспенивая штевнем воду, золотая верхушка ее мачты по-

качивалась в небе. Все было удивительное, голубое, прекрасное – и так останется навсегда.

Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверям и закричал:

– Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам – живо!

Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в воде справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть виднелся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди была вода, пустыня. На севере быстро вырастала, нагибалась все ближе тяжелая серая стена.

Одну секунду солнце покачалось на краю стены – и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла – и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.

С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся – хорошо! – и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Цыбину. Ветер с маху ударил в паруса, бот накренился, покатилась и грохнулась в борт бочка, Олаф побежал за ней.

– Куда, куда? Брось... после! – кричал, стоя у мачты, Фомич. – Рифы бери на парусах, поворачивайся!

Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на ёлу: она шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что все будет хорошо.

Ветер сейчас ударил только один раз, и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепуганное, почуявшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу. Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он подумал: «Где она теперь?»

Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сразу стало туго дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер ворвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.

Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:

– Эй, ру-уль! Право на бо-орт!

Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть скорее к берегу – все равно куда, чтобы только где-нибудь переждать шторм.

– Что? Боишься? – крикнул Цыбин, держа руль по-прежнему.

– Поговори у меня! Клади руль! – яростно заорал Фомич.

Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем показывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как будто провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой, как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пена.

Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, догнала ёлу, ёла рванула буксир, зарылась в воду носом – и тотчас же взлетела наверх. Одно мгновенье она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голову, любовался на нее и шепотом кричал ей: «Так, так, милая ты моя, так!» Потом огромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Олафа, он выплевывал воду и одной рукой сгребал ее с лица.

Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Бот сейчас был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич взглянул туда одним глазом, как наседка на коршуна. Было ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет паруса в клочья или сломает мачту.

– Рони паруса-а! – крикнул он Олафу.

Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать по палубе хоть один шаг – для него было то же

самое, что для солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был снова на верху волны. Совсем низко, над головой, с шумом неслось темное, каменное небо.

Волна была длинная, цыбинская ёла и бот шли на одном уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти не задевал, но этот же ветер быстро гнал вперед порожнюю, высоко сидевшую над водой ёлу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, ёла уже подбежала к корме бота. Сквозь пену Цыбин увидел ее веселые, желтые, будто солнцем покрашенные, бока. «Ах, ты... моя!» – сказал он, радуясь на нее. Она была уже совсем близко и, не останавливаясь, все быстрей неслась к боту, Цыбин глядел на нее.

И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими ногами, животом, всем телом он внезапно почуял – сейчас случится что-то ужасное. Он не успел понять, что́: все это было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее – ёла с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, ёла отскочила.

– Фомич! Фомич! – сквозь свист ветра отчаянно крикнул Цыбин.

Фомич все видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» – издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало все ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бросить ёлу – его, Цыбина, ёлу – в океане!

Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено, тихо сказал ему:

– Если ты только... Я тебя самого... сволочь!

Клаус попятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича – Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное им погудало руля. Клаус закричал плачущим голосом:

– Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас всех пропадет!

Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну и снова ёла, перепрыгивая через белые гребешки, неслась к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него были плотно стиснуты, но сейчас они откроются и скажут. Темно, на дне, Цыбин знал: Фомич – это судья, и то, что он скажет – закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.

Сквозь косые, серые веревки дождя ёла виднелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно, Фомич сказал, не глядя на Цыбина:

– Руби...

У Цыбина перехватило горло, чтобы не видеть – он зажмурился, поднял топор. И закрытыми глазами тотчас же увидел: серебряное кольцо на руке у Анны, белые водяные вихры от играющей в море селедки, бабье лицо человека в мурманке, хозяйку с желтыми волосами и ёлу, какой она стояла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.

Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не видя, хватаясь за что попало, пошел – все равно куда. Там, где позади него остались все – ударили топором еще раз, еще раз. Ёлы больше не было, больше не было ничего.

Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через ноги перекатывалась вода, и он видел за бортом круглую, черную воду, так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двойную зимнюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним. Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». «Я – ничего...» – сказал, а может быть, только хотел сказать Цыбин.

Олаф встал и, стоя над Цыбиным, вгляделся в серый, хлещущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него блестели.

– Гляди, гляди! – крикнул он Цыбину.

Цыбин поднял голову и увидел свою ёлу. Теперь, без буксира, еще легче разрезая воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу налились теплым, стали живыми ноги, руки, глаза, он вскочил... Ёла тут, она –

тут, ему нужно что-то сделать – и опять все будет хорошо.

– Эй, эй! Куда! – услышал Цыбин и потом еще что-то по-норвежски – это, должно быть, звала хозяйка ёлы. Потом сейчас же понял: это – Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть еще: Фомич, глядя одним глазом на ёлу, круто поворачивает бот, чтобы ёлу пронесло мимо, – чтобы она не задела.

Все это мгновенно падало одно за другим. Нос ёлы мелькнул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на одну секунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою ёлу. Ей как будто это и было нужно: она сейчас же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.

Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели ёлу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира глубокой водяной ямой – Цыбина они уже больше не могли разглядеть.

1928

ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ДРАМА

Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:

– Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!

Этот возглас был прологом к драме, в нем уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны – труд, с другой стороны – нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося Деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошел очаровательный молодой человек с нумером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие гриперлевые брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие – на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский Остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не

давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.

И, наконец, он появился. Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, не ощутимое землетрясение колыхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...

– Тютька, тютька... Тютёчек ты мой!

Он нагнулся – погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.

– Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? – сказал он. – Им-мею полное право, да! Потому – вот они мозоли, вот, глядите!

Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный человек.

Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа – белые, красивые – от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком – и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались все шире, шире – и, наконец, в полном восторге, он воскликнул:

– О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну, и хорош! Милый ты мой!

Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.

Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.

– А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! – вдруг сказал он, вставая. – Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шуществую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!

Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному – нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.

Мастеровой подошел к молодому человеку, вынул руку из кармана...

Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза – чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:

– Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!

– Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! – угрожающе буркнул мастеровой.

Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.

– Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! – пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.

– Большой проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я еще не слезу! Я останусь!

Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.

Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на гриперлевых брюках.

– Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! – сказал мастеровой.

Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами

замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над «членом капитала».

– Ну, – сказал он, – я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. А на прощанье – я тебя сейчас...

Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.

– Стой! Не смей! – крикнул мастеровой. – Дай кончить!

Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, – и закончил фразу.

– На прощанье... Красавчик ты мой, – дай я тебя поцелую!

Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы – и вышел.

Секундная пауза – потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам все дальше – сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей Невы.

1928

МУЧЕНИКИ НАУКИ

1

Начиная с Галилея, все они перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова. Спб., 1901). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было бы не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода – и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом – пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка – пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку Анну, и полковник Столпаков продиктовал ей:

– Пиши расписку: «Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких-либо членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только наполовину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через месяц немецким снарядом у него оторвало голову, вследствие чего он уже не мог более пускать табачных колец, а, стало быть, – и жить.

Газету с известием о безголовии Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и геликонным голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» – вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

– Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел – и только тогда в тело Александра III вернулась нежная, женская душа. Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

– Ростислав, столпаченочек мой, единственный...

С тех пор – был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпаковой – его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны – этот мощный волнолом, выдвинутый вперед, в бушующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг. Громыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету. Лампочка на столе была прикрыта абажуром, свет стекал вниз, и потому трезвоосвещенными, реалистическими были только рыжие сапоги Якова Бордюга, прочая же его сущность скрывалась в полумраке. Это была личность таинственная, и такой она останется здесь до самых последних строк, когда неожиданно...

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг – заговорил. Никто до тех пор не слыхал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась – Яков Бордюг вдруг произнес речь:

– Ето выходить... Что, стало быть, я теперь... вроде... ето самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была – в очень сжатой форме – декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

– Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей – живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался – и пошел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того же рефлекса распряг лошадей, засыпал им овса – и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаковский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах и то, что лежало у нее в сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сейфы антисейсмической конструкции, как то: самоварные трубы, спичечные коробки, выдолбленные внутри поленья. Поэтому все содержимое

сейфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции – в мезонин у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день – в воскресенье. Вечером он, как каменный гость, прогромыхал по лестнице на мезонин, выложил перед Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки – и произнес вторую в своей жизни речь:

– Как, значть, я лошадей упахал... то теперь, значть, и прощайте навовсе.

В ответ – разгневанный императорский бас:

– Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню – самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами – он занимался в течение трех следующих глав.

2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных родителей дети – человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катастрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки – и надо было это перевести на дензнаки. Бедная морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

– Дайте-ка мне, – сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута – и все было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

– Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это, наконец, было сказано: профессор. Рукою бедного часовщика был заложен маяк, осветивший весь дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя богу, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя и не с прописной буквы – здесь, в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела всех к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего профессора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская безрукавка. Вдруг огонь в печи ярко вспыхнул, осветились сапоги Якова Бордюга, его стеганая солдатская безрукавка – и вдруг, по какой-то непонятной для нас кротовой логике, в воображении Варвары Сергеевны рядом с безрукавкой просиял... сахар.

– Поди сюда! – вдруг скомандовала она Бордюгу. – Стой... Снимай! – она ткнула пальцем в безрукавку. – Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем все это было – пока никому не понятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря – упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром – с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то забытые руки из-под скамьи. Все руки – крас-

ные от зари и холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка, густо простеганная... сахарным песком. Кроме того, ее матёринское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час – и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию...

Варвара Сергеевна осторожно запахнула на груди безрукавку – так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестного пола (бабья кацавейка и борода) понимающе взглянул на бюст, осенил себя крестным знамением и сказал:

– Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окне водокачка. Кооперативные гражданки выскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на станции запел петух – видимо, молодой: он знал только пол-петушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скомандовала:

– Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам, мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже входили о н и, заградиловцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади – три бабьевидных солдата с винтовками на веревочках.

– Ну-ну, граждáне, веселей – расстегивайся, распоясывайся, – крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал – и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и прищурясь глядел на одну из кооперативных гражданок.

– Ты что, тетка, из Киева, что ли, – из киевских пещер?

– Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.

– А почему же у тебя голова мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

– Ну-ка, снимай, снимай платок? Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе – у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной обертке...

– А у вас? – морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь – как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую ковровую сумку: там были только законные вещества.

– Это... все? – парень остановился и острым мышиным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и впустила его в себя, внутрь – как будто внутри ее не было ни сахару, ни...

– Ку-кка-рекк... – опять запнулся начинающий петушиный поэт за окном.

– Да закройте же... – начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда – левого и правого – молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была, как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не знает о ней – но зато знает что-то другое.

Это другое – был сахар: стеганную сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика – в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги, бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная

история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: «Куккаре-куу!» – это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну. Но она будто не слышала, она никогда не оглядывалась, она стояла, как привязанный к дереву мученик Себастиан, она знала, что совершает свой подвиг ради будущего профессора, ради науки.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпою, над головами – чью-то голову на тончайшей, жердяной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

– Вы меня помните? Я – Миша.

– Эй... Миша-Труба! Миша-Труба! Миша-Труба! – издали кричали мальчишки.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства – тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, казалось, что как во времена Марата – добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом – эта трагическая, окровавленная голова – кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сергеевну. Варвара Сергеевна знала: ей нужно сейчас сказать герою какие-то два-три слова – чтобы в них сразу же выразить все. Она сказала нежно:

– Вытрите нос... – и протянула ему свой платочек. Потом, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава, и подала Мише:

– Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело – но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стреко-

зы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна – перед раскрытым окном. За окном – в сирени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены 2-й ступени – и самый серьезный экзамен начинается для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы ее встретил Яков Бордюг, подал ей букет сирени и произнес речь:

– Ето самое... сказано, хоть ты тресни – чтоб вам в собственные руки.

На улице Варвара Сергеевна увидела приколотую к букету записку: «Я к вам – с сиренью, а вы ко мне – с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.».

А за обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М» – Мишу. Это было не простое – это было вейнингеровское «М», но Варвара Сергеевна почувствовала, как у нее мгновенно исчезло все александро-третье и осталось только чистое «Ж». Как женщина, обреченная на гибель и, вдобавок, принадлежащая к обреченному на гибель классу, она имела полное право молиться – и она молилась, может быть, о том, чтобы погибнуть как можно скорее.

При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май...

– Вы... вы чувствуете: мы – вдвоем? – задыхаясь, сказал Миша.

– Да, – сказала Варвара Сергеевна.

– И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем... Я играю на трубе в Нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна – да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава, единственного... Нет, уже не единственного! Несокрушимый, казалось, волнолом треснул, расселся на две половины, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

– Завтра вечером... Приходите... я тогда скажу... – ответила, наконец, Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен – политграмота. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. Варвара Сергеевна осталась одна. На столе перед нею лежал непроданный вчера наполеон – точь-в-точь такой же, каким она однажды наградила героя. Она взяла наполеон, откусила – и тотчас же неизвестно почему ей почудилось: непременно случится какое-то несчастье – в наказание за то, что она... Наполеон упал из рук: вдруг, например, Ростислав сегодня не выдержит? «Господи, все, что угодно, – только не это!» Если б она знала, что все-что-угодное Господу Богу было куда хуже...

К обеду Ростислав вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

– Студент ты мой! Столпаченочек мой, един... – Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолоки, он начал приветственную речь:

– Как, значть, вы... вроде, например, лошадь на ярманке... и ежели благополучно продамши – и значть, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

– Ладно, ладно – спасибо... Иди к себе на кухню... – сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна – и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она расстегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, красная от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосился, он крикнул, умирая: «Мама!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

– Что ты? Что с тобою? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь – прочла...

В газете была статья о том, что необходимо, наконец, изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолоки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном – робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

– Да... Да! – отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. – Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, мадонну, мать – все в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запело, но сейчас же, на полуфразе, оборвалось.

– Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если б вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... – Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов:

– Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

– Варечка!

– Тогда приходите сюда завтра в десять, и мы прямо отсюда же пойдем...

– В Загс? – крикнул Миша.

– Как вы догадались? – удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было не трудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где – как буржуазия и пролетариат – рядом живут мать и любовница, заключают временные соглашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже – с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

5

Ночью шел дождь. День начался свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дома на улицу. Там уже ждал ее Миша, он увидел в ее глазах слезы – такие же майские, впитывающие в себя солнце слезы висели на сирени, Миша сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Морщинкер, а за ним – Яков Бордюг. Миша понял: свидетели. Морщинкер был в сюртуке, на Якове Бордюге был новый синий картуз – он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывал таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы – быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: «Просят отнюдь граждан не разлагаться»... И под плакатом сидел человек в кепке, как судьба – одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим гражданским состояниям.

– Вступаете в брак? – сказал он, закуривая папиросу. – Невеста? – Он взял у Варвары Сергеевны документ, перелистал. – Гм... Ростислав, семнадцать лет... Гм... Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III.

Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И, подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

– То есть... ето – вроде как мой...

– Как? – человек за столом даже выронил папиросу.

– Да, – твердо сказала Варвара Сергеевна. – Хотя он и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего... от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет ввиду нового строя и вступает со мною в брак.

– Как? – крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

– ...И вот эти двое граждан, – Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, – подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком, Мишина голова была как голова Крестителя на блюде. Его посинелые губы еле выговорили:

– Да... Подтвер... ждаю...

– Да, и я говорю тоже: да, – подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно – студент и будущий профессор.

Когда вернулись в мезонин (втроем – Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

– Спасибо, Яков, иди... Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

– Иди же, ставь самовар, – сморщилась Варвара Сергеевна.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, програбил пятерней караковые лохмы и сказал:

– Иди, ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

– Ты кто мне теперь, жена? Ну, так и иди, ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

1928

НАВОДНЕНИЕ

1

Кругом Васильевского Острова далеким морем лежал мир: там была война, потом революция. А в котельной у Трофима Иваныча котел гудел все так же, манометр показывал все те же девять атмосфер. Только уголь пошел другой: был кардиф, теперь – донецкий. Этот крошился, черная пыль залезала всюду, ее было не отмыть ничем. Вот будто эта же черная пыль неприметно обволокла все и дома. Так, снаружи, ничего не изменилось. По-прежнему жили вдвоем, без детей. Софья, хоть было ей уже под сорок, была все так же легка, строга всем телом, как птица, ее будто для всех навсегда сжатые губы по-прежнему раскрывались Трофиму Иванычу ночью – и все-таки было не то. Что «не то» – было еще неясно, еще не отвердело в словах. Словами это в первый раз сказалось только позже, осенью, и Софья запомнила: это было ночью в субботу, был ветер, вода в Неве поднималась.

Днем на котле у Трофима Иваныча лопнула водомерная трубка, нужно было пойти и взять запасную на складе при механической. В мастерской Трофим Иваныч не был уже давно. Когда он вошел, ему показалось: не туда попал. Раньше здесь все шевелилось, подзванивало, жужжало, пело – будто ветер играл стальными листьями в стальном лесу. Теперь в этом лесу была осень, ремни трансмиссии хлопали вхолостую, сонно ворочались только три-четыре станка, однообразно вскрикивала какая-то шайба. Трофиму Иванычу стало нехорошо, как бывает, если стоишь над пустой, неизвестно для чего вырытой ямой. Он поскорее ушел к себе в котельную.

К вечеру вернулся домой – и все еще было нехорошо. Пообедал, лег отдохнуть. Когда встал, все уж прошло, позабылось – и только вроде видел какой-то сон или потерял ключ, а какой сон, от чего ключ – никак не вспомнить. Вспомнил только ночью.

Всю ночь со взморья ветер бил прямо в окно, стекла звенели, вода в Неве подымалась. И будто связанная с Невой подземными жилами – подымалась кровь. Софья не спала. Трофим Иваныч в темноте нашел рукою ее колени, долго был вместе с нею. И опять было не то, была какая-то яма.

Он лежал, стекло от ветра позвякивало однообразно. Вдруг вспомнилось: шайба, мастерская, хлопающий вхолостую ремень... «Оно самое», – вслух сказал Трофим Иваныч. «Что?» – спросила Софья. «Детей ты не рожаешь, вот что». И Софья тоже поняла: да, оно самое. И поняла: если не будет ребенка, Трофим Иваныч уйдет из нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из рассохшейся бочки. Эта бочка стояла у них в сенях за дверью. Трофим Иваныч уже давно собирался перебить на ней обручи, и все было некогда.

Ночью – должно быть, уже под утро, – дверь раскрылась, с размаху грохнула в бочку, и Софья выбежала на улицу. Она знала, что конец, что назад уже нельзя. Громко, навзрыд плача, она побежала к Смоленскому полю, там в темноте кто-то зажигал спички. Она споткнулась, упала – руками прямо в мокрое. Стало светло, она увидела, что руки у нее в крови.

«Ты чего кричишь?» – спросил ее Трофим Иваныч. Софья проснулась. Кровь была и в самом деле, но это была ее обыкновенная женская кровь.

Раньше это были просто дни, когда ходить было неудобно, ногам холодно, неопрятно. Теперь как будто ее каждый месяц судили и она ждала приговора. Когда приближался срок, она не спала, она боялась – и хотела, чтобы поскорее: а вдруг на этот раз не будет – вдруг окажется, что она... Но ничего не оказывалось, внутри была яма, пусто. Несколько раз она заметила: когда она, стыдясь, шепотом ночью окликала Трофима Иваныча, чтобы он повернулся к ней, – он притворялся, что спит. И тогда Софье опять снилось, что она одна, в темноте, бе-

жит к Смоленскому полю, она кричала вслух, а утром губы у нее были сжаты еще плотнее.

Днем солнце, не переставая, птичьими кругами носилось над землей. Земля лежала голая. В сумерках все Смоленское поле дымилось паром, как разгоряченная лошадь. Стены в один какой-то апрельский день стали очень тонкими – было отчетливо слышно, как ребята во дворе кричали: «Лови ее! Лови!» Софья знала, что «ее» – это значит столярову девочку Ганьку; столяр жил над ними, он лежал больной, должно быть, в тифу.

Софья спустилась вниз, во двор. Прямо на нее, закинув голову, неслась Ганька, за нею четверо соседских мальчишек. Когда Ганька увидела Софью, она на бегу что-то сказала назад, мальчишкам, и одна степенно подошла к Софье. От Ганьки несло жаром, она часто дышала, было видно, как шевелилась верхняя губа с маленькой черной родинкой. «Сколько ей? Двенадцать, тринадцать...» – подумала Софья. Это было как раз столько, сколько Софья была замужем, Ганька могла бы быть ее дочерью. Но она была чужая, она была украдена, у нее, у Софьи...

Внезапно в животе что-то сжалось, поднялось вверх к сердцу, Софье стало ненавистно то, чем пахла Ганька, и эта ее чуть шевелящаяся губа с черной родинкой. «К папке докторша приехала, он в бессознании», – сказала Ганька. Софья увидела, как губы у Ганьки задрожали, она нагнулась и, должно быть, глотала слезы. И тотчас же Софье сделалось больно от стыда и жалости. Она взяла Ганькину голову и прижала к себе. Ганька всхлипнула, вырвалась и побежала в темный угол двора, за нею шмыгнули туда мальчишки.

С засевшей где-то, как конец сломанной иглы, болью – Софья вошла к столяру. Направо от двери, у рукомойника докторша мыла руки. Она была грудастая, курносая, в пенсне. «Ну, как он?» – спросила Софья. «До завтра дотянет, – весело сказала докторша. – А там работы нам с вами прибавится». – «Работы... какой?» – «Какой? Одним человеком будет меньше, нам лишних детей рожать. У вас – сколько?» Пуговица на груди у докторши была расстегнута, она попробовала застегнуть, не сходилось – она засмеялась. «У меня... нету», – не скоро сказала Софья, ей было трудно разжать губы.

Столяр на другой день умер. Он был вдовый, у него никого не было. Пришли какие-то соседки, стояли у дверей и шептались, потом одна, укрытая теплым платком, сказала: «Ну, что ж, милые, так стоять-то?» – и стала снимать платок, держа булавку в зубах. Ганька сидела на своей кровати молча, согнувшись, ноги тонкие, жалкие, босые. На коленях у нее лежал нетронутый кусок черного хлеба.

Софья спустилась к себе вниз, нужно было сделать что-нибудь к обеду – скоро придет Трофим Иваныч. Когда она все приготовила и стала накрывать на стол, небо было уже вечернее, непрочное, и его проколола одинокая, тоскливая звезда. Вверху хлопали дверью: должно быть, там соседки уже все кончили и уходили домой, а Ганька все так же сидела на кровати с куском хлеба на коленях.

Пришел Трофим Иваныч. Он стоял возле стола широкий, коротконогий – будто по щиколотку вросши ногами в землю. «Столяр-то ведь умер», – сказала Софья. «А-а, умер?» – рассеянно, мимо спросил Трофим Иваныч; он вынимал из мешка хлеб, хлеб был непривычнее и редкостнее, чем смерть. Нагнувшись, он начал резать осторожные ломти, и тут Софья, будто в первый раз за все эти годы, увидела его обгорелое, разоренное лицо, его цыганскую голову, густо, как солью, присыпанную сединами. «Нет, не будет, не будет детей!» – на лету, отчаянно крикнуло Софьино сердце. А когда Трофим Иваныч взял в руки кусок хлеба, Софья мгновенно очутилась наверху: там Ганька, одна, сидела на кровати, у нее лежал хлеб на коленях, в окно смотрела острая, как кончик иглы, весенняя звезда. И седины, Ганька, хлеб, одинокая звезда в пустом небе – все это слилось в одно целое, непонятно связанное между собой, и неожиданно для самой себя Софья сказала: «Трофим Иваныч, возьмем к себе столярову Ганьку, пусть будет нам вместо...» Дальше не могла.

Трофим Иваныч поглядел на нее удивленно, потом сквозь угольную пыль слова прошли в него, внутрь, он начал улыбаться – медленно, так же медленно, как развязывал мешок с хлебом. Когда развязал улыбку до конца, зубы у него заблестели, лицо стало новое, он сказал: «Молодец ты, Софья! Веди ее сюда, хлеба на троих хватит».

В эту ночь Ганька ночевала уже у них на кухне. Софья, лежа, слушала, как она возилась там на лавке, как потом стала дышать ровно. Софья подумала: «Теперь все будет хорошо» – и заснула.

2

Ребята во дворе играли уже совсем по-новому: «в Колчака». Один – «Колчак» – прятался, другие его отыскивали, потом с барабанным боем, с пением расстреливали из палок. Настоящий Колчак был тоже расстрелян, конину теперь уже никто не ел, в лавках продавали сахар, калоши, муку. Котел на заводе топили еще все тем же донецким углем, но Трофим Иваныч теперь брил бороду, угольная пыль легко отмывалась. Без бороды он ходил много лет назад перед свадьбой, и сейчас будто вернулся к тем годам, иногда даже смеялся по-прежнему, зубы белели, как клавиши на гармонии.

Это бывало по воскресеньям, когда он сидел дома и дома была Ганька. Она теперь кончала школу. Трофим Иваныч заставлял ее читать вслух газету. Ганька читала быстро и бойко, но перевирала по-своему все новые слова: «мольбизация», «главнука». «Как, как?» – переспрашивал Трофим Иваныч, закипая смехом. «Главнука», – спокойно повторяла Ганька. Потом рассказывала, что к ним вчера пришел в школу какой-то новый и стал объяснять, что вот на земле тела – и на небе тоже тела. «Какие тела?» – уже еле сдерживаясь, говорил Трофим Иваныч. «Ну какие? Вот!» – Ганька тыкала себя пальцем в грудь, острившую под платьем. Больше Трофим Иваныч уже не мог, смех вырывался у него из носа, изо рта, как пар из предохранительных клапанов распираемого давлением котла.

Софья сидела одна, в стороне. Главнаука, небесные тела, Ганька с газетой – все это было ей одинаково непонятное и далекое. Ганька говорила, смеялась только с Трофимом Иванычем, а если оставалась вдвоем с Софьей, она молчала, топила печку, мыла посуду, разговаривала с кошкой. Только иногда медленно, пристально наплывала на Софью зелеными глазами, явно думая что-то о ней, но что? Так, уставясь в лицо, смотрят кошки, думают о чем-

то своем – и вдруг становится жутковато от их зеленых глаз, от их непонятной, чужой, кошачьей мысли. Софья набрасывала шугайку, теплый платок и шла куда-нибудь – в лавку, в церковь, просто в темноту Малого проспекта – только бы не оставаться вдвоем с Ганькой. Она шла мимо еще не замерзших черных канав, мимо заборов из кровельного железа, ей было зимне, пусто. На Малом против церкви стоял такой же пустой с выеденными окнами дом. Софья знала: в нем уже никогда больше не будут жить, никогда не будет слышно веселых детских голосов.

Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету, углом одного глаза, как видят птицы, она увидала в пустом окне свет. Она остановилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый, должно быть цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели.

Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая и еще все может перемениться.

Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с девятьсот восемнадцатого, когда Трофим Иваныч вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшелый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.

Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Иванычу, но о чем же это – обо всем? Она сейчас уже и сама не знала и сказала только одно: что была в церкви. Трофим Иваныч засмеялся: «В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих бог – все-таки вроде с партийным билетом». Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды – лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеленовато, чуть покосилась на Софью.

С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпою своих. Живоцерковец был рыжий верзила, в куцей рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» – и вцепился в него, оба покатились на паперть, над толпою, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту, там сапожник Федор – с желтой лысиной – проповедовал «третий завет».

Весна в этот год была поздняя, на Духов день деревья еще только начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для глаза дрожью и лопались. Вечером было непрочно, светло, метались ласточки. Сапожник Федор проповедовал о скором Страшном суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба, нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» – весь дрожа, сапожник ударил себя в грудь, рванул на ней белую рубаху, показалось желтое, смятое тело. Он вцепился – разодрать грудь, как рубаху, – ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом и хлопнулся об пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрания.

От безумных сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья поняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и, наверно, придут домой только часов в одиннадцать – она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока они не вернутся?

Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорила своему ребенку: «Агу-агу-агунюшки... Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело, как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне на кухне шпингалет сломан, и, наверно, Ганька забыла привязать окно – всегда забывала. Значит, можно открыть снаружи и влезть.

Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано, Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто может забраться – а может, уж и забрался? Показалось, в соседней комнате какой-то шорох. Софья остановилась. Было тихо, только тикали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках, Софья пошла. Платьем она зацепила прислоненную к стене гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну – выскочить – звать на помощь...

Но она ничего не успела: в дверях показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнутся, крикнула: «Трофим Иваныч!» – и метнулась назад, в комнату.

Софья подняла доску, поставила ее на место и села. У нее ничего не было, ни рук, ни ног – только одно сердце, и оно, кувыркаясь птицей, падало, падало, падало.

Почти тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно – не раздевался. Он стал посредине кухни, большеголовый, широкий, ноги короткие – будто был вкопан по колени в землю. «Ты... ты как же это рано вернулась нынче?» – сказал Трофим Иваныч и сам удивился: зачем он это сказал, как мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались – так дергается пенка на молоке, уже совсем застывая. «Что ж это, что ж это, что ж это?» – с трудом выговорила Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уже постукивала полсапожками, одетая.

Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они столкнулись глазами и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто. Больше не-

возможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе – нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза, Ганька усмехнулась.

После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца, это было, может быть, самое трудное за весь этот вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель, внутри все горело, ее трясло. Трофим Иваныч, отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья постлала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иваныч встал и пошел на кухню к Ганьке.

3

На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка, под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая же жара была на всем Васильевском Острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет над головой зеленое стекло и наконец прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое: одна – зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое – сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.

Утром Трофим Иваныч уходил на завод. Ганька уже кончила учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далеко от Софьи: и Ганьку, и Трофима Иваныча, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это – Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.

Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно

почему, случилось так, что Софья увидела – увидела эти колени, чуть подвитую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя: «Я сама... Поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Иваныча.

Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея, верхняя, однажды сказала Софье: «Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегает. Вы бы за ней приглядели, а то добегается девчонка». Софья подумала: «Нужно об этом Трофиму Иванычу...» Но когда пришел Трофим Иваныч, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя: Ганька. Она ничего Трофиму Иванычу не сказала.

Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето, и осень шла такая же сухая. В какой-то синий и не по-осеннему теплый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услышала пухлый, ватный выстрел, потом скоро другой и третий – должно быть, в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Иваныча. Опять мягко стукнула пушка в окно, стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея – запыхавшаяся, разлатая, вся настежь, она крикнула Софье: «Ты что же, с ума спятила – сидишь-то? Нева через край пошла, сейчас все затопит».

Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя, всю ее туго обернул, как полотном. Она услышала: где-то хлопали двери, бабий голос кричал: «Цыплят, цыплят собирай скорее!» Над головой быстро, косо пронесло ветром какую-то большую птицу, крылья у нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто именно это ей и было нужно – вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту, зубам было холодно, хорошо.

Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала наверх свои постели, одежу, съестное, стулья. Кухня была уже пустая, только в углу стояла расписанная цветами укладка. «А это?» – спросила Пелагея. «Это... ее», – ответила Софья. «Чья – ее? Ганькина, что ли? Так что ж ты оставляешь?» Пелагея подняла укладку и, придерживая ее выпяченным животом, потащила вверх.

Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея подбежала – заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос: «Пропали мы... Господи, пропали!» – и схватила на руки своего ребенка. Софья взглянула в окно и увидела: там, где была улица, теперь неслась зеленая, рябая от ветра вода; медленно поворачиваясь, плыл чей-то стол, на нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был раскрыт – должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку, Софья подумала о ней, сердце забилось.

Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну, где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта фортка, было видно, как теперь ее покачивало водою. Вода все подымалась, несла бревна, доски, сено, потом мелькнуло что-то круглое, показалось, что это голова. «Может, уж и мой Андрей и твой Трофим Иваныч...» – Пелагея не кончила, слезы у нее катились – настежь, широко, просто. Софья удивилась себе: как же это она – будто даже забыла о Трофиме Иваныче, и все время только об одном, о той, о Ганьке.

Сразу обе – и Пелагея и Софья – услышали где-то на дворе голоса. Они побежали в кухню, к окнам. Распихивая дрова, по двору плыла лодка, в ней стояло двое каких-то и Трофим Иваныч без шапки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза, ветром ее плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и казалось – он сломан посередине тела. Те двое спросили его о чем-то, лодка завернула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли дрова.

По пояс мокрый, Трофим Иваныч вбежал в кухню, с него текло, он как будто не замечал. «Где... где она?» – спросил он Софью. «С утра ушла», – сказала Софья. Пелагея тоже поняла – о ком. «Я уж давно Софье говорила... Вот и догонялась, плывет где-нибудь...» Трофим Иваныч отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он долго стоял так, с него текло, он не чувствовал.

К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под висячей лампой блестела его крепкая, спелая лысина, он рассказывал, как господин с портфелем саженками плыл в свой подъезд, как барыни бежали, все выше подымая юбки. «А утопло много?» – спросила Со-

фья, не глядя. «Страсть! Тыщи!» – зажмурился извозчик. Трофим Иваныч встал. «Я пойду», – сказал он.

Но он никуда не пошел: дверь открылась, в двери стояла Ганька. Платье у нее прилипало к груди, к коленям, она была вся захлюстанная, но глаза у нее блестели. Трофим Иваныч стал улыбаться нехорошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке и стал ее бить, Ганька всхлипывала. Потом долго плескалась водой и вошла в комнату опять веселая, встряхивая челкой на лбу.

Пелагея уложила ее спать в чуланчике за перегородкой, а Трофиму Иванычу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они остались вдвоем. Трофим Иваныч потушил лампу. Окно побледнело, в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белея, Софья разделась, легла, потом – Трофим Иваныч.

Лежа, Софья думала сейчас только об одном: чтобы он не заметил, как она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой из тончайшего льда: в таких непрочных ледяных чехлах бывают ветки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром – все рассыпается в пыль.

Трофим Иваныч не шевелился, его не было слышно. Но Софья знала, что он не спит: во сне он всегда чмокал, как маленькие дети, когда сосут. И знала, почему он не спит: здесь ему уже нельзя было пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя – чтобы ни о чем не думать.

Вдруг Трофим Иваныч, будто что-то решив, быстро повернулся к Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она ждала. Месяц, кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Трофим Иваныч приподнял голову, поглядел в окно, потом осторожно, стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной.

Когда он наконец задышал ровно и стал причмокивать во сне, как дети, Софья открыла глаза. Она тихонько нагнулась над Трофимом Иванычем, совсем близко, так что увидела один длинный черный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил губами. Со-

фья смотрела, она уже ничего не помнила о нем, его было только жалко. Она протянула руку – и сейчас же отдернула: ей хотелось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела...

Так было каждую ночь все три недели, пока нижняя квартира просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иваныч спускался туда на полчаса, кое-что подправлял там. Однажды он вернулся оттуда веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за Ганькой: Ганька, нагнувшись, мела комнату. Уходя, Трофим Иваныч сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора – все готово». И потом Ганьке: «Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру тепло было».

Софья поняла: не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке, уже совсем застывая.

4

Извозчик, Пелагеин муж, выезжал нынче только после полудня, до тех пор вместе с Софьей и Ганькой он быстро перетаскал все вниз. «Ну что же, как тебя поздравлять-то: со старосельем, что ли?» – сказал он Софье.

Быстро, в несколько взмахов, как большая птица, Софья облетела глазами комнату. Все стало, как прежде: стулья, тусклое зеркало, стенные часы, кровать, где Софья по ночам будет опять одна. Ей показалось счастьем то, что было наверху: там ночью она слышала его дыхание, он не был с тою, с другой, он был ничей, а теперь – вот сегодня, сегодня же...

Ганьки не было, она ушла за дровами. Софья стояла, прислонившись лбом к окну. Стекло позванивало, бил ветер, летели серые, городские, низкие, каменные облака – будто опять вернулись те же душные тучи, ни разу за все лето не прорвавшиеся грозой. Софья почувствовала, что эти тучи не за окном, а в ней самой, внутри, они каменно наваливались одна на другую уже целые месяцы – и, чтобы не задушили сейчас, нужно что-то разбить вдребезги, или убежать отсюда, или закричать таким же голосом, как тогда сапожник о Страшном суде.

Софья услышала: вошла Ганька, из мешка вытряхнула дрова на пол, потом стала укладывать их в печку. Окно вздрогнуло, будто снаружи в него тукнуло сердце. Это была пушка, воду опять гнало ветром, она напруживала синие невские жилы. Софья стояла все так же, не оглядываясь, чтобы не увидеть Ганьку.

Вдруг Ганька негромко, в нос запела – раньше этого не случалось никогда. Софья оглянулась. Она увидела: бросив топор, Ганька сидела на корточках и ножом щепала лучину; круглые, широко раздвинутые колени вздрагивали под платьем, и вздрагивала челка на лбу. Софья хотела отвести от нее глаза и не могла. Медленно, трудно, как баржа, канатом подтягиваемая к берегу против течения – канат дрожит и вот-вот лопнет, – Софья подошла к Ганьке. От работы Ганька вся разгорелась, Софью ошунуло жарким, сладковатым запахом ее пота – должно быть, ночью она пахла вот так же.

И как только Софья вдохнула в себя этот запах, снизу, от живота, поднялось в ней, перехлестнуло через сердце, затопило всю. Она хотела ухватиться за что-нибудь, но ее несло, как тогда по улице несло дрова, кошку на столе. Не думая, подхваченная волной, она подняла топор с полу, она сама не знала зачем. Еще раз стукнуло в окно огромное пушечное сердце. Софья увидела глазами, что держит топор в руке. «Господи, Господи, что ж это я?» – отчаянно крикнула внутри одна Софья, а другая в ту же секунду обухом топора ударила Ганьку в висок, в челку.

Ганька не крикнула ничего, только ткнулась головою в колени, потом с корточек мягко перевалилась на бок. Софья еще несколько раз жадно, быстро ударила по голове острием, хлынула кровь на железный лист перед печкой. И будто эта кровь – из нее, из Софьи, в ней наконец прорвало какой-то нарыв, лилось оттуда, капало, и с каждой каплей ей становилось все легче. Она бросила топор, вздохнула глубоко, свободно – никогда не дышала, вот только что глотнула воздуха в первый раз. Ни страха, ни стыда – ничего не было, только какая-то во всем теле новизна, легкость, как после долгой лихорадки.

Дальше было так, как будто Софьины руки совсем отдельно от нее думали, делали все, что надо, а она сама, в стороне, блаженно отдыхала, и только изредка глаза у

нее раскрывались, она начинала видеть, она смотрела на все с удивлением.

Ганькины туфли, коричневое платье, сорочка, политые керосином, уже горели в печи, а сама она, вся голая, розовая, парная, лежала ничком на полу, и по ней, не спеша, уверенно ползла муха. Софья увидела муху, прогнала ее. Чужие, Софьины руки легко, спокойно разрубили тело пополам – иначе его было никак не унести. Софья в это время думала, что в кухне на лавке лежит еще не дочищенная Ганькой картошка, нужно ее сварить к обеду. Она пошла в кухню, заперла дверь на крючок, затопила там печь.

Когда вернулась в комнату, она увидела, что новая серая, под мрамор, клеенка вытащена из комода и лежит на полу, разорванная на два куска. Софья удивилась: кто же это разорвал, зачем? Но сейчас же вспомнила, постелила клеенку на дно в мешок и положила туда половину розового тела. На руки к ней садилась, липла к ним все та же муха, Софья сгоняла ее, она садилась опять. Один раз Софья увидела ее совсем близко: ноги у нее были тоненькие, как из черных катушечных ниток. Потом и муха и все исчезло, было только одно: кто-то стучал в кухонную дверь.

Софья на цыпочках подошла к порогу и ждала. Опять стучали, все сильнее. Софья смотрела, как от ударов вздрагивал крючок, – и даже не смотрела, а чувствовала: крючок сейчас был частью ее самой, как ее глаза, ее сердце, ее мгновенно похолодевшие ноги. Как будто знакомый голос крикнул за дверью: «Софья!», она молчала, чьи-то шаги, спускаясь, затопали по ступеням. Тогда Софья стала дышать, посмотрела в окно. Это была Пелагея, ветром сзади на ней плотно обхлестывало платье, и казалось, что она идет, подогнувши колени.

Опять долго были только одни Софьины руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, что стоит на краю канавы, вода в канаве лиловая, стеклянная от заката, и туда же, в канаву, выброшен весь мир, небо, сумасшедше-быстрые лиловые тучи, а за спиной у Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под пальто придерживает правая рука, Софья не могла понять – что. Но рука вспомнила, что это – лопата, снова стало все просто. Она перешла

через канаву, отдельно от себя, одними глазами, огляделась кругом: никого, она была на Смоленском поле одна, быстро темнело. Она выкопала яму и свалила туда все, что было в мешке.

Когда было уже совсем темно, она принесла полный мешок еще раз, зарыла яму и пошла домой. Под ногами была черная, неровная, распухшая земля, ветер обхлестывал ноги холодными, тугими полотенцами. Софья спотыкалась. Она упала, ткнулась рукой во что-то мокрое и так шла потом с мокрой рукой, боялась ее вытереть. Далеко, должно быть на взморье, загорался и потухал огонек, а может быть, это было совсем близко – кто-нибудь закуривал папиросу на ветру.

Дома Софья быстро вымыла пол, сама вымылась в лотке на кухне и надела на себя все свежее, как после исповеди перед праздником. Зажженные Ганькой дрова давно прогорели, но по угольям еще бегали последние синие огоньки. Софья бросила туда мешок, клеенку, весь мусор, какой еще оставался. Огонь ярко вспыхнул, все сгорело, теперь в комнате было совсем чисто. И так же сгорел весь мусор в Софье, в ней тоже стало чисто и тихо.

Она села на лавку. В ней сразу ослабели, развязались все узлы, она внезапно почувствовала, что устала так, как не уставала ни разу за всю жизнь. Она положила голову на руки, на стол и в ту же секунду заснула – полно, счастливо, вся.

5

Маятник на стене метался, как птица в клетке, чующая на себе пристальный кошачий глаз. Софья спала. Это длилось, может быть, час, может быть, только от одного удара маятника до другого. Когда она подняла голову, перед нею, вросши ногами в землю, стоял Трофим Иваныч.

Ему было тесно, он расстегнул воротник у рубахи. «Где она?» – сказал он, нагибаясь к Софье. Пахну́ло вином, от его тела шел тугой, напряженный жар. «Где Ганька?» – переспросил он. «Да, где она теперь?» – подумала Софья.

и ответила вслух: «Не знаю». «Ага... Не знаешь?» – криво, медленно сказал Трофим Иваныч, совсем близко Софья увидела его глаза, они были оскалены, как зубы. Он никогда ее не бил, а сейчас показалось: вот ударит. Но он только посмотрел на Софью и отвернулся – если б ударил, может, было бы легче.

Сели обедать. Софья была одна, она чувствовала: Трофим Иваныч ее не видит, видит не ее. Он хлебнул щей и остановился, крепко зажав ложку в кулаке. Вдруг громко задышал и стукнул кулаком в стол, из ложки выкинуло капусту к нему на колени. Он подобрал ее и не знал, куда девать, скатерть была чистая, он смешно, растерянно держал капусту в руке, был как маленький – как тот цыганенок, которого Софья видела тогда в пустом доме. Ей стало тепло от жалости, она подставила Трофиму Иванычу свою, уже пустую тарелку. Он, не глядя, сбросил туда капусту и встал.

Когда вернулся, в руке у него была бутылка мадеры. Софья поняла, что это было куплено для той, сердце у нее сразу же зазябло, она опять сидела одна. Трофим Иваныч наливал и пил.

После обеда он молча придвинул к себе лампу и взял газету, но Софья видела, что он читал все одну и ту же строчку. Она видела, как газета вздрогнула: в сенях заскрипели половицы... Нет: это не к ним, это наверх. Опять стало тихо, только, как птица, метался маятник на стене. Было слышно: наверху передвигали что-то тяжелое, там, должно быть, уже ложились спать.

Ганьки все не было. Трофим Иваныч прошел мимо Софьи к вешалке, надел шапку, постоял, потом сорвал ее с себя так, как будто вместе с шапкой хотел сорвать и голову – чтоб больше не думать, и лег на лавку, лицом к стене. «Погоди, дай я постелю», – сказала Софья. Он встал, посмотрел, его глаза прошли через Софью, как сквозняк.

Она сделала постель, подошла к двери, чтобы запереть на крючок, протянула уже руку – и остановилась: а вдруг Трофим Иваныч спросит, почему она знает, что Ганька не вернется? Было нельзя, но все-таки Софья оглянулась. Она увидела: Трофим Иваныч следит за ней, за ее рукой, протянутой и не смеющей дотронуться до

крючка. «Что? Что же стала?» – спросил он и усмехнулся неровно, наполовину. «Все знает...» – подумала Софья, маятник перед ней метнулся один раз и застыл. Трофим Иваныч наливался кровью молча, медленно, он оттолкнул стол, что-то упало, это было в Софье, внутри. Вот сейчас, сию минуту, он скажет все...

Тяжко вытягивая ноги из земли, он двигался к Софье, на лбу у него вспухла, как Нева, синяя жила. «Ну? Что же ты? – крикнул он; все в комнате остановилось. – Запирай! Пускай где хочет, у кого хочет ночует, на улице, под забором, с собаками! Запирай, слышишь?» «Как... как?» – еще не веря, сказала Софья. «Так!» – отрезал Трофим Иваныч и повернулся. Софья накинула крючок.

Она еще долго дрожала под одеялом, пока наконец согрелась, поверила, что Трофим Иваныч не может знать, не знает. Часы над ней громко долбили клювом в стену. На лавке у себя заворочался Трофим Иваныч, задышал жадно сквозь стиснутые зубы. Софья слышала это так, как будто он обо всем говорил словами, громко, вслух. Она увидела ненавистные белые кудряшки на лбу – и в ту же секунду они исчезли: Софья вспомнила, что их нет и больше никогда не будет. «Слава Богу... – сказала она себе и сейчас же спохватилась: – Что «слава Богу»? Господи!»

Опять заворочался Трофим Иваныч, Софья подумала, что ведь и его тоже нет и никогда не будет, ей теперь всегда жить одной, на сквозняке, и тогда зачем же все это, что было сегодня? Трудно, ступенями, она стала набирать в себя воздух, она, как веревкой, дыханием поднимала какой-то камень со дна. На самом верху этот камень оборвался, Софья почувствовала, что может дышать. Она вздохнула и медленно стала опускаться в сон, как в глубокую, теплую воду.

Когда она была уже почти на дне, она услышала: об пол шлепнули босые ноги. Она вздрогнула и тотчас же всплыла вверх. Там сейчас скрипел пол, Трофим Иваныч осторожно шел куда-то. Так по ночам он ходил на кухню к Ганьке, Софья всегда сжималась в комок, чтобы не дохнуть, не крикнуть, и так же она сжалась теперь. Она поняла: его тянуло туда, он, может быть, схватит, стиснет там ее подушку или просто будет стоять там, перед пустой Ганькиной постелью...

Половицы скрипели, потом перестали, Трофим Иваныч остановился. Софья приоткрыла глаза: Трофим Иваныч, белея, стоял на полдороге между своей лавкой и кроватью, где лежала она. И вдруг Софью прокололо, что он идет не в кухню, а к ней – к ней! Ее всю опахнуло жаром, зубы у нее застучали, она зажмурилась. «Софья...» – тихо сказал Трофим Иваныч и потом еще тише: «Софья». Она узнала его тот самый, особенный, ночной голос, сердце оторвалось от ветки и, неровно перевертываясь, птицей падало вниз. Без мыслей, чем-то другим – стиснутыми до боли коленями, складками тела – Софья подумала, что ему будет проще, легче, если она не откликнется, и она лежала не дыша, молча.

Трофим Иваныч нагнулся к ней, она близко слышала его дыхание, должно быть, он смотрел на нее. Это была только секунда, но Софья боялась, что не выдержит, она закричала неслышно: «Господи! Господи!» Наверху, за тысячи верст, где сейчас неистово неслись тучи, чуть слышно засмеялась Пелагея. Горячая, сухая рука коснулась Софьиных ног, она медленно раскрыла губы, раскрылась мужу вся, до дна – первый раз в жизни. Он стиснул ее так, как будто хотел выместить на ней всю жадную злобу к той, другой. Софья услышала, как он заскрипел зубами, как опять наверху шепотом засмеялась Пелагея, – и больше уж не помнила ничего.

6

Утром был мороз, окна были из леденца, сине-желтый зайчик полз по белой стене. Софья вышла во двор. За ночь все утихло, утро стояло спокойное, прозрачное, дым, прямой и розовый, шел к небу.

На дворе была Пелагея. Она сказала Софье: «Ганька-то ваша сбежала, а? Вот и корми их, этаких!» Софья посмотрела на нее легкими, прямыми, сделанными из этого утра глазами, попробовала вспомнить вчерашнее – и не могла: это было все очень далеко, скорее всего ничего этого не было. Пелагея рассказала, что перед заводом Трофим Иваныч заходил к ним, спрашивал, не видали ли Ганьку. Софья про себя засмеялась. «Чему ты?» – удиви-

лась Пелагея. «Так...» – сказала Софья, она смотрела на прямой, розовый дым – такой же дым был в деревне, откуда ее взял Трофим Иваныч. Там сейчас, должно быть, рубят капусту, кочерыжки – холодноватые, белые, хрусткие. Ей показалось, что все это было только вчера, и она сама такая же, какая была, когда ела кочерыжки.

Вернувшись с завода, Трофим Иваныч спросил только: «Ну? Нету?» Софья уже знала, о чем он, она спокойно сказала: «Нету». Трофим Иваныч пообедал и сейчас же ушел куда-то. Вернулся поздно, темный – должно быть, искал, спрашивал у всех, всюду. Ночью он опять пришел к Софье – так же молча, злобно, жадно, как вчера.

На следующий день Трофим Иваныч заявил о Ганьке в милицию. Софью, Пелагею с мужем, соседей вызвали туда. За столом сидел какой-то молодой малый в кепке, на носу у него было серьезное пенсне без оправы, а лицо было цыплячье, конопатое, и на столе под бумагами лежали черные сухари. Все говорили ему одно и то же: что видели, как Ганька гуляла с какими-то ребятами, и не гаваньскими, а пришлыми, с Петербургской стороны. Пелагея вспомнила: Ганька сказала однажды, что ей тут надоело, что она уйдет. Малый в кепке записывал, Софья смотрела на конопатое лицо, на пенсне, на сухари, ей стало жалко его.

Когда шли оттуда домой, Софья попросила Трофима Иваныча купить новый топор: старый, должно быть, украли, а может, и завалился куда-нибудь – не найти. Больше о Ганьке Софья не думала, Трофим Иваныч тоже больше не говорил о ней ни слова. Только иногда он сидел, без конца глядя на одну и ту же строчку в газете, и Софья знала, о чем он молчит. Так же молча он поднимал на нее угольные, черные, цыганские глаза, тяжело, молча, глазами плыл за ней, ей становилось жутко: а вдруг он что-нибудь такое скажет, но он ничего не говорил.

Дни были все такие же ясные, хрусткие и только становились все короче, будто вот-вот, не сегодня-завтра, вспыхнут последний раз, как огарок, – и темно, конец всему. Но приходило завтра, все еще не было конца. И все-таки с Софьей началось что-то неладное. Она не спала одну ночь, другую и третью, под глазами у нее было темно, они куда-то осели. Так весною темнеет, оседает,

проваливается снег – и под ним вдруг земля, но до весны было еще далеко.

Вечером через жестяную лейку Софья наливала в лампу керосин. Трофим Иваныч крикнул ей: «Гляди, гляди – что делаешь-то: через край!» Только тут Софья увидела, что лампа уже полна, и керосин, должно быть, давно уж льется на стол. «Через край...» – растерянно повторила Софья, всегда сжатые губы у нее были раскрыты, как ночью; она смотрела на Трофима Иваныча, ему показалось – она хочет сказать что-то еще. «Ну что?» – спросил он. Софья отвернулась. «Про... про нее что-нибудь... про Ганьку?» – услышала она голос, протиснутый сквозь белые, цыганские зубы. Она не ответила.

Когда она подавала ужин, она уронила на пол тарелку с кашей. Трофим Иваныч поднял голову, увидел ее какие-то новые, осевшие, как снег, глаза, ему стало нехорошо смотреть на нее: это была не она. «Да что с тобой, Софья?» И опять она ничего не сказала.

Ночью он пришел к ней, он не был с ней ни разу после тех двух ночей. Когда она услышала тот самый его, ночной, голос: «Софья, скажи, я знаю – тебе надо сказать», – она не выдержала, это было через край, хлынули слезы. Они были теплые – Трофим Иваныч почувствовал их щекой, испугался. «Да что, что? Все равно – говори уж!» Тогда Софья сказала: «У меня... ребенок будет...» Это было в темноте, это было не видно. Сухой, горячей рукой Трофим Иваныч провел по ее лицу, – чтобы увидеть, у него дрожали пальцы, он почувствовал ими, что Софьины губы широко раскрыты и улыбаются. Он только сказал ей: «Со-офка!» Так он не называл ее уж давно, лет десять. Она блаженно, полно засмеялась. «Да когда ж это?» – спросил Трофим Иваныч. Это случилось в одну из тех двух ночей, сейчас же, как пропала Ганька. «Еще помнишь – наверху Пелагея... и я еще тогда подумала, что и у меня, как у Пелагеи, будет... Нет, вру: я ничего тогда не думала, это я сейчас... Да я и сейчас не верю... нет, верю!» – она путалась, слезы текли легко, как талые ручьи по земле. Трофим Иваныч положил руку ей на живот, осторожно, робко провел рукой снизу вверх. Живот был круглый, это была земля. В земле, глубоко, никому не видная, лежала Ганька, и в земле, никому не вид-

ные, рылись белыми корешками зерна. Это было ночью, потом опять настал день и вечер.

Вечером, к обеду, Трофим Иваныч принес бутылку мадеры. Точно такую же бутылку Софья уже видела один раз: лучше бы он теперь принес что-нибудь другое. Это Софья даже не подумала, а так – будто прочитала одними глазами, внутрь это не вошло: все тело у нее улыбалось, оно было полно до краев, больше туда уж ничего не могло войти. Ей только было страшно, что дни становились все короче, вот-вот догорят совсем, и тогда – конец, и нужно торопиться, нужно до конца успеть сказать или сделать что-то.

Однажды Трофим Иваныч вернулся домой позже, чем всегда. Он остановился на пороге, широкий, крепко вросший ногами в землю, на лице у него была угольная пыль. Он сказал Софье: «Ну, опять вызывали». Софья сразу же поняла, куда и зачем, внутри в ней маятник остановился и пропустил – раз, два, три удара. Она села. «Ну?» – спросила она Трофима Иваныча. «Да что ж: сказали – дело кончено, не нашли. Куда-нибудь с хахалем уехала – ну и черт с ней! Только бы опять не заявилась...» Сердце у Софьи ожило: еще не конец.

И тотчас же встрепенулось, ожило в ней, чуть пониже, будто еще одно, второе сердце. Она ахнула вслух, схватилась руками за живот. «Что ты?» – подбежал Трофим Иваныч. «Он... шевелится...» – чуть сказала Софья. Трофим Иваныч мотнул головой, схватил, поднял Софью вверх, она была легкая, как птица. «Пусти», – сказала она. Он поставил ее на пол, зубы у него белели, как клавиши на гармонии, он засмеялся во все клавиши сразу. После Ганьки это было впервые, должно быть, он и сам это сейчас понял. Он сказал Софье: «Ну, вот что, Софка: запомни – если она теперь заявится, я ее...»

В дверь постучали, оба повернулись быстро. Софья услышала, как Трофим Иваныч почти вслух подумал: «Ганька», и то же самое мелькнуло Софье. Она знала, что это не может быть – и все-таки это было. «Открывать?» – спросил Трофим Иваныч. «Открывай», – ответила Софья совсем белым голосом.

Трофим Иваныч открыл, вошла Пелагея – громкая, разлатая, вся настежь. «Ты что ж это – белая такая? –

сказала она Софье. – Тебе теперь, бабочка, есть надо побольше». Пелагея рожала уже два раза, она заговорила об этом с Софьей, снова у Софьи заулыбалось все тело, она забыла о Ганьке.

Ночью, когда она уже совсем опускалась на дно, засыпая, – ей вдруг, неизвестно почему, опять мелькнула Ганька, как будто она лежала где-нибудь на этом ночном дне. Софья вздрогнула, открыла глаза, на потолке плескались светлые пятна. Она услышала: за окном бил ветер, чуть позванивало стекло – так же было и в тот день. Она стала вспоминать, как все это вышло, но ничего не могла вспомнить, долго лежала так. Потом, как будто совсем ни к чему, отдельно, увидела: кусок мраморной клеенки на полу, и муха ползет по розовой спине. У мухи ясно видны были ноги – тоненькие, из черных катушечных ниток. «Кто же, кто это сделал? Она – вот эта самая она – я... Вот Трофим Иваныч рядом со мной, и у меня будет ребенок – и это я?» Все волосы на голове у нее стали живыми, она схватила за плечо Трофима Иваныча и стала трясти его: нужно было, чтобы он сейчас же сказал, что этого не было, что это сделала не она. «Кто... кто? Это ты, Софка?» – еле расклеил глаза Трофим Иваныч. «Это – не я, не я, не я!» – крикнула Софья и остановилась: она поняла, что больше сказать ничего не может, нельзя, и она никогда не скажет – потому что... «Господи... Родить скорей бы!» – сказала она громко. Трофим Иваныч засмеялся: «Вот дура! Успеешь!» – и скоро опять зачмокал во сне.

Софья не спала. Она перестала спать по ночам. Да и ночей уже почти не было, за окном все время колыхалась тяжелая, светлая вода, не переставая жужжали летние мухи.

7

Утром, уходя на завод, Трофим Иваныч рассказал, что вчера у них маховиком зацепило смазчика и долго вертело, а когда его сняли, он пощупал голову, спросил: «Где шапка?» – и кончился.

Окно было уже выставлено, Софья протирала тряпкой стекла и думала про смазчика, про смерть, и показа-

лось, что это будет совсем просто – вот как заходит солнце, и темно, а потом опять день. Она встала на лавку, чтобы протереть верх, – и тут ее подхватил маховик, она выронила тряпку, закричала. На крик прибежала Пелагея, это Софья еще помнила, а больше не было ничего, все вертелось, все неслось мимо, она кричала. Один раз она почему-то очень ясно услышала далекий звонок трамвая, голоса ребят на дворе. Потом все с размаху остановилось, тишина стояла, как пруд, Софья чувствовала – из нее льется, льется кровь. Должно быть, так же было со смазчиком, когда его сняли с маховика.

«Ну, вот и конец», – сказала Пелагея. Это был не конец, но Софья знала, что до конца теперь только минуты, надо было все скорее, скорее... «Скорее!» – сказала она. «Что – скорее?» – спросил Пелагеин голос. «Девочку... покажи мне». «А ты почем знаешь, что девочка?» – удивилась Пелагея и показала вырванный из Софьи живой красный кусок: крошечные пальцы на подобранных к животу ногах шевелились, Софья смотрела, смотрела. «Да уж на, на, возьми», – сказала Пелагея, положила ребенка на кровать к Софье, а сама ушла в кухню.

Софья расстегнулась, приложила ребенка к груди. Она знала, что это полагается только на другой день, но ждать было нельзя, надо было все скорее, скорее. Ребенок, захлебываясь, неумело, слепо начал сосать. Софья чувствовала, как из нее текут теплые слезы, теплое молоко, теплая кровь, она вся раскрылась и истекала соками, она лежала теплая, блаженная, влажная, отдыхающая, как земля – ради этой одной минуты она жила всю жизнь, ради этого было все. «Я к себе наверх сбегаю – тебе больше ничего не надо?» – спросила Пелагея. Софья только пошевелила губами, но Пелагея поняла, что ей теперь больше не надо ничего.

Потом Софья как будто дремала, под одеялом было очень жарко. Она слышала звонки трамваев, ребята на дворе кричали: «Лови ее!» – все это было очень далеко, сквозь толстое одеяло. «Кого же – ее?» – подумала Софья, открыла глаза. Далеко, будто на другом берегу, Трофим Иваныч зажигал лампу – шел густой дождь, от дождя было темно, лампа была крошечная, как булавка. Софья увидела белые, как клавиши, зубы – Трофим Иваныч,

должно быть, улыбался и что-то говорил ей, но она не успела понять – что, ее тянуло ко дну.

Сквозь сон Софья все время чувствовала лампу: крошечная, как булавка, – она была теперь уже где-то внутри, в животе. Трофим Иваныч ночным голосом сказал: «Ах, ты... Софка моя!» Лампа стала так жечь, что Софья позвала Пелагею. Пелагея дремала около кровати сидя, она вздернула голову, как лошадь. «Лам... па...» – трудно выговорила Софья, язык был как варежка. «Потушить?» – метнулась Пелагея к лампе. Тогда Софья совсем проснулась и сказала Пелагее, что жжет в животе, в самом низу.

На рассвете Трофим Иваныч сбегал за докторшей. Софья узнала ее: та же самая, грудастая, в пенсне, она тогда была у столяра перед концом. Докторша осмотрела Софью. «Так... хорошо... очень хорошо... А здесь больно? Так-так-так...» Потом весело, курносо повернулась к Трофиму Иванычу: «Ну, надо скорее в больницу». У Трофима Иваныча зубы потухли, рукой с угольными прожилками он ухватился за спинку Софьиной кровати. «Что с ней?» – спросил он. «А еще не знаю. Похоже – родильная горячка», – весело сказала докторша, пошла в кухню мыть руки.

Софью подняли на носилки и стали поворачивать к двери. Мимо нее прошло все, с чем она жила: окно, стенные часы, печь – как будто отчаливал пароход и все знакомое на берегу уплывало. Маятник на стене метнулся в одну сторону, в другую – и больше его не было видно. Софье показалось: надо здесь, в этой комнате, что-то еще сделать последний раз. Когда уже открылась дверца в карете, Софья вспомнила – что, быстро расстегнулась, вытащила грудь, но никто не понял, чего она хочет, санитары засмеялись.

Некоторое время ничего не было. Потом опять появилась лампа, она была теперь вверху, под белым потолком. Софья увидела белые стены, белых женщин в кроватях. Очень близко по белому ползла муха, у нее были тоненькие ноги из черных катушечных ниток. Софья закричала и, отмахиваясь, стала сползать с кровати на пол. «Куда? Куда? Лежите!» – сказала сиделка, подхватила Софью. Мухи больше не было, Софья спокойно закрыла глаза.

Вошла Ганька – с полным мешком дров. Она села на корточки, широко раздвинув колени, оглянулась на Софью, ухмыляясь, встряхнула белой челкой на лбу. Сердце у Софьи забилось, она ударила ее топором и открыла глаза. К ней нагнулось курносое лицо в пенсне, толстые губы быстро говорили: «Так-так-так...», пенсне блестело, Софья зажмурилась. Тотчас же вошла Ганька с дровами, села на корточки. Софья опять ударила ее топором, и опять докторша, покачивая головой, сказала: «Так-так-так...» Ганька ткнулась головою в колени, Софья ударила ее еще раз.

«Так-так-так... Хорошо, – сказала докторша. – Муж ее тут? Позовите скорей». «Скорей! Скорей!» – крикнула Софья; она поняла, что – конец, что она умирает и надо торопиться изо всех сил. Сиделка побежала, хлопнула дверью. Где-то очень близко ухнула пушка, ветер бешено бил в окно. «Наводнение?» – спросила Софья, широко раскрывая глаза. «Сейчас, сейчас... Лежите», – сказала докторша.

Пушка ухала, ветер гудел в ушах, вода подымалась все выше – сейчас хлынет, унесет все – нужно скорее, скорее... Вчерашняя, знакомая боль рванула пополам, Софья раздвинула ноги. «Родить... родить скорее!» – она схватила докторшу за рукав. «Спокойно, спокойно. Вы уже родили – кого ж вам еще?» Софья знала – кого, но ее имя она не могла произнесть, вода подымалась все выше, надо было скорее...

Ганька, уткнувшись головой, на корточках сидела возле печки, к ней подошел и заслонил ее Трофим Иваныч. «Не я – не я – не я!» – хотела сказать Софья – так уже было однажды. Она вспомнила эту ночь и сейчас же поняла, что ей нужно сделать, в голове стало совсем бело, ясно. Она вскочила, стала в кровати на колени и закричала Трофиму Иванычу: «Это – я, я! Она топила печку – я ударила ее топором...» «Она без памяти... она сама не знает...» – начал Трофим Иваныч. «Молчи!» – крикнула Софья, он замолчал, из нее хлестали огромные волны и затопляли его, всех, все мгновенно затихло, были одни глаза. «Я – убила», – тяжело, прочно сказала Софья. «Я ударила ее топором. Она жила у нас, она жила с ним, я убила ее, я хотела, чтобы у меня...» «Она без ф-ф-фа-

мя... без ф-фамяти», – губы у Трофима Иваныча тряслись, он не мог выговорить.

Софье стало страшно, что ей не поверят, она собрала все, что в ней еще оставалось, изо всех сил вспомнила и сказала: «Нет, я знаю. Я потом бросила топор под печку, он сейчас лежит там...»

Все кругом было белое, было очень тихо, как зимой. Трофим Иваныч молчал. Софья поняла, что ей поверили. Она медленно, как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся.

Первым опомнился Трофим Иваныч. Он кинулся к Софье, вцепился в спинку кровати, чтобы удержать, не отпустить. «Померла!» – закричал он. Женщины соскакивали с постелей, подбегали, вытягивали головы. «Уходите, уходите! Ложитесь!» – махала на них сиделка, но они не уходили. Докторша подняла Софьину руку, подержала ее, потом сказала весело: «Спит».

Вечером белое стало чуть зеленоватым, как спокойная вода, и такое же за окнами было небо. Возле Софьиной постели опять стояла грудастая докторша, рядом с ней Трофим Иваныч и еще какой-то молодой, бритый, со шрамом на щеке – от шрама казалось, что ему все время больно, а он все-таки улыбается.

Докторша вынула трубочку, послушала сердце. Софьино сердце билось ровно, спокойно, и так же она дышала. «Так-так-так... – докторша на секунду задумалась. – А ведь выживет, ей-Богу, выживет!» Она сняла пенсне, глаза у нее стали как у детей, когда они смотрят на огонь.

«Ну что же – начнем!» – сказал бритый молодой человек и вынул бумагу, ему было больно, но он улыбался шрамом. «Нет, уж пусть спит, нельзя, – сказала докторша. – Придется вам, товарищ дорогой, завтра приехать». – «Хорошо. Мне все равно». – «А ей уж и подавно все равно, теперь что хотите с ней делайте!» Пенсне у докторши блестело, молодой человек, улыбаясь сквозь боль, вышел.

Докторша все еще стояла и смотрела на женщину. Она спала, дышала ровно, тихо, блаженно, губы у нее были широко раскрыты.

1929

ЧАСЫ

В этом рассказе не появляются на сцене никакие в Бозе почившие высокие особы. Мой скромный герой Семен Зайцер – или, если угодно, товарищ Зайцер – благополучно здравствует по сей день и проживает все там же, в доме № 7 по Караванной улице в Ленинграде. И тем не менее – это рассказ исторический, ибо описываемые здесь происшествия случились в ту романтическую эпоху, когда время в России считалось еще на года, а не на пятилетки, когда водка была объявлена буржуазным ядом и жаждущие забвения пили одеколон, когда в синей морозной пустыне петербургских улиц всю ночь щелкали выстрелы, когда веселые бандиты отпускали домой прохожих в одном воротничке и галстуке, когда лучшим подарком любимой девушке был перевязанный ленточкой фунт сахару, когда всего за один воз дров товарищ Зайцер приобрел свои знаменитые золотые часы.

Зайцер был великий человек: он заведовал заготовкой дров для замерзающего Петербурга, он подписывал дровяные ордера, он согревал людей, как солнце – круглый, рыжий, сияющий. И если вы осмеливались когда-нибудь смотреть на солнце, вы заметили, вероятно, что у него не только сияющий, но как бы несколько ошеломленный своим собственным сиянием вид. Именно такое самоудивление было на лице товарища Зайцера: брови у него всегда были выразительно вздернуты вверх, как будто он до сих пор никак не мог поверить, что он, Зайцер, вчерашний портновский подмастерье в городе Пинске, сидит теперь в собственном служебном кабинете, что в его распоряжении находится секретарша Верочка, что у него в жилетном кармане лежат золотые часы, что...

Впрочем, раскроем лучше все карты сразу и, не тратя драгоценных строк, скажем прямо, что вышеупомянутый фунт сахару с розовой ленточкой был преподнесен именно товарищем Зайцером секретарше Верочке, и что золотые часы были им приобретены тоже ради Верочки – в качестве противоядия серебряному кавказскому поясу, на днях появившемуся на тонкой талии товарища Кубаса, секретаря коммунистической ячейки и редактора стенной газеты в зайцерском учреждении.

Но Верочка – увы! – не замечала знаменитых золотых часов. Товарищ Зайцер уже несколько раз щелкал крышкой, он положил часы перед собой на груду бумаг, а Верочка по-прежнему рассеянно смотрела в окно на медленные хлопья снега. Товарищ Зайцер, наконец, не выдержал и сказал:

– Слушайте, товарищ Верочка, вы видели такие часы, а? Так я вам скажу, что вы – нет, не видели!

Он сверкнул в воздухе часами, сунул их в жилетный карман – и Верочка сейчас же услышала как бы исходившую из недр самого Зайцера нежнейшую фейную музыку и затем серебряный звон: девять. Верочка широко открыла глаза (они были синие). Зайцер, сияя, объяснил, что стоит только незаметно нажать в часах «вот здесь, на ихний, так сказать, животик, – и вы уже имеете и музыку, и время!» Верочке сейчас же захотелось попробовать самой – можно? Боже мой, ну что за вопрос! Ну, конечно!

Верочка подошла к товарищу Зайцеру. Она стала нащупывать рукой скрытую в его груди (точнее – в жилетном кармане) музыку. Совсем близко перед глазами Зайцера была ее шея, ее обнаженная до локтя рука. Верочка была вся чуть позолочена, она вся была покрыта тонким золотым пушком, она была слегка меховая – и может быть, именно это-то в ней и было то самое, что могло свести с ума хоть кого. Когда Верочка нашла, наконец, часы и надавила на них рукой, это было так, как будто она тихонько сжала в руке сердце товарища Зайцера. Его пойманное сердце забилось, он решил: как только часы кончат свою музыку – он немедленно скажет Верочке то, что он давно уже хотел сказать, но все никак не мог набраться храбрости.

Очень вероятно, что он и в самом деле сказал бы, если бы в этот момент в кабинет не вошел товарищ Кубас. Верочка, покраснев, выпрямилась, Зайцер зашуршал бумагами, ядовитый змеиный хвостик улыбки мелькнул и спрятался в углу губ товарища Кубаса. Он нарочно помедлил секунду и затем подсушенным официальным тоном заявил, что товарищ Вера должна быть сегодня откомандирована для составления очередного номера стенной газеты. Зайцер приветливо улыбнулся:

– Дорогой товарищ Кубас, вы же забываете, что сегодня вечером у нас заседание и я должен продиктовать моей (подчеркнуто) секретарше доклад о весенней кампании по заготовке дров. Товарищ Вера, принесите сюда свою пишущую машинку, я вас прошу...

Верочка вышла. Снимая чехол с машинки, она слышала сквозь дверь кабинета, как голоса там становились все громче, как они поднялись до крика. «Без нее я не могу выпустить стенгазету! Вы срываете работу по политическому воспитанию трудящихся!» – кричал Кубас. «А вы суете свою палку в колесо отопления красной столицы!» – кричал Зайцер. Верочка знала, что именно от нее зависит политическое воспитание трудящихся и отопление красной столицы. Но она до сих пор не могла понять своего сердца: кто – товарищ Зайцер или товарищ Кубас? Зайцер – уютный и теплый, у него дрова и часы и квартира (не комната, а целая квартира!). У Кубаса – перетянутая серебряным поясом тонкая талия, у него острые птичьи глаза, с ним страшновато, но...

Что «но», Верочке было неясно. Ясно было только одно, что срок пришел, что если не сейчас – там, в кабинете, то сегодня вечером, ночью, завтра утром все должно было, наконец, как-то разрешиться. Но как? Как – чтобы не пришлось потом жалеть о сделанной ошибке? Верочка вздохнула, своими пушистыми руками осторожно подняла тяжелую, как судьба, машинку и понесла ее навстречу роковым решениям в кабинет.

– Сидите, прошу вас, – сказал Верочке Зайцер. – Я сейчас буду вам диктовать.

– Ах, так? Очень хорошо! – товарищ Кубас клюнул Зайцера глазами и вышел.

Верочка положила руки на клавиши. В тишине было слышно, как тяжело дышал Зайцер. Он смотрел на ее руки... За окном падал пушистый снег.

– Да... Так вот, значит – весна, – сказал Зайцер.

– Весна? – удивилась Верочка.

– Если я говорю, что весна, то, значит, – да, весна. Пишите: «К началу нашей весенней кампании...»

Товарищ Зайцер, наперекор стихиям, был прав. Вы думаете, что весна – это розовое, голубое и соловьи? Сентиментальный предрассудок! На снежной поляне два вчера еще пасшихся рядом оленя вдруг кидаются один на другого из-за оленьей девушки – это весна. Вчера еще смирные, как олени, люди сегодня становятся героями и окрашивают снег своей кровью – это весна. Цвет весны не голубой, не розовый, а красный – опасности, страсти, лихорадки, сражения.

Вечернее заседание в зайцеровском кабинете было сражением, вернее, поединком. Верочка лихорадочно стенографировала выстрелы – иначе нельзя было назвать реплики, которыми обменивались противники. Каждый пункт в докладе Зайцера Кубас осыпал двенадцатидюймовыми цитатами из Ленина. Каждый куб дров становился чем-то вроде знаменитого «дома паромщика» в марнских боях.

– Слушайте, товарищ Кубас, этак мы и к утру не кончим! – не выдержал председатель.

Чтобы не компрометировать себя капиталистическим блеском золота, Зайцер еще в начале заседания положил свои часы в ящик письменного стола. Теперь он незаметно выдвинул ящик, взглянул: двенадцать. Уже замолкли звонки последних трамваев, уже вышли на промысел ночные бандиты, когда, наконец, началась баллотировка. Верочка в лихорадке подсчитывала голоса: она знала, что голосуются не кубические метры дров, но человеческие сердца.

Десять голосов против одного. Этот один, разбитый наголову, туго стянув свой серебряный кавказский пояс, ушел, не прощаясь ни с кем. И, разумеется, счастливый победитель – Зайцер отправился провожать Верочку домой.

Чуть сияющие снегом ущелья улиц были темны и пусты: нигде ни души, ни единого огонька в черных окнах. Если бы товарищ Зайцер был теперь в этой пустыне один, он, может быть, шел бы на цыпочках, чтобы не было слыш-

но скрипа его сапог на снегу, он, вероятно, шарахнулся бы от первого встречного в сторону, он, конечно, пустился бы бежать во всю прыть. Но сейчас, когда где-то впереди мелькнул выстрел и теплая рука Верочки вздрогнула в его руке, Зайцер только засмеялся:

– Ну и что? Пусть себе стреляют, я же с вами.

Это был новый, героический Зайцер. Этому Зайцеру даже хотелось, чтобы случилось что-нибудь страшное, он ничего не боялся. Кроме только одного: предстоящего сейчас объяснения с Верочкой. Боже мой... как, с чего начать? Начать – это страшнее всего.

Зайцер неистово крутил пуговицу своего пальто, как будто она-то и мешала ему раскрыть рот. Пуговица, наконец, оторвалась, Зайцер заговорил:

– Я вам хочу сказать, Верочка, одну вещь...

«Вот оно!» Верочкина рука вздрогнула, как недавно от выстрела.

– Какую вещь? – спросила Верочка, хотя она и отлично знала – какую.

– У моей мамаши – кошка вчера окотилась, – выпалил Зайцер.

Верочка в полном недоумении посмотрела на Зайцера. Зажмурив глаза, он продолжал умиленным, теплым голосом:

– ...Знаете, лежит и себе поет, и семеро котят. И я смотрю и говорю: «Ой, Семен, ты тоже мог бы петь, как эта счастливая семейная кошка...»

По-видимому, Верочка слишком живо вообразила товарища Зайцера в счастливом положении семейной кошки: ямочка на правой щеке у ней задрожала, она закрыла рот рукой. Зайцер увидел это и понял: она сейчас вслух засмеется – и тогда погибло все... Он в ужасе ждал этого смеха, как в романах Толстого герои ждут взрыва крутящейся бомбы.

И вдруг он почувствовал, что пальцы Верочки крепко стиснули его руку, она вся прижалась к нему. Зайцеру захотелось неистово закричать от счастья. Он нагнулся к Верочке ближе...

– Да смотрите же! – испуганно шепнула ему Верочка.

Тогда Зайцер увидел: с противоположной стороны улицы наперерез им быстро шел высокий человек в военной

шинели без погон. Одну секунду, не больше, существовал прежний Зайцер, попятившийся назад. Но тотчас же, новый, героический Зайцер скомандовал Верочке: «Прячьтесь в подъезд!», шагнул навстречу бандиту и, заняв позицию недалеко от проглотившего Верочку темного подъезда, остановился. Зайцер весь дрожал, но это не был страх: так, бурля, дрожит паровой котел, напряженный до предела своих пятнадцати атмосфер.

Человек в военной шинели подошел и тоже остановился. Страшная бесконечная пауза. Зайцер не мог больше ждать. Пересохшим голосом он сказал:

– Ну, и что?

Держа руку в кармане (револьвер!), человек молчал. Зайцер успел схватить глазами наглые, как у кайзера Вильгельма, усы и очень белые, крупные зубы.

Человек молчал, явно издеваясь: это для Зайцера было ясно. И еще яснее это стало, когда усы зашевелились и хрипло спросили:

– Спички есть?

Зайцер кипел, ему хотелось сразу же кинуться, ударить, но он принял вызов, он притворился, что поверил в спички, он достал коробок, зажег. Человек нагнулся к Зайцеру совсем вплотную, бесцеремонно взял его рукою за борт пальто, отогнул – чтобы ветром не задуло зажженную спичку, закурил. Зайцер увидел: на пальце человека блеснул перстень (снятый с кого-то, может быть, в эту же ночь). Зайцер почувствовал легкое, едва заметное прикосновение чужой руки. Он хотел уже потушить спичку, чтобы не видеть этих издевательски шевелящихся усов, как вдруг в красноватом пламени спички перед Зайцером проплыли в воздухе... золотые часы.

Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы Зайцеру стала ясна вся механика проделанного бандитом трюка с закуриванием папиросы. И еще доля секунды, чтобы схватиться за свой жилетный карман: часов там уже не было. Сердце у Зайцера бешено забилось, он бросил еще горящую спичку прямо в лицо грабителя, выхватил у него свои часы и дико заорал (он никогда не думал, что у него может быть такой голос):

– Руки вверх! Застрелю! – и сунул руку в карман своего пальто.

Этот жест был так решителен, отпор был так неожидан, что бандит поднял руки вверх, а затем, не дожидаясь, пока Зайцер выстрелит, согнулся и, делая петли, побежал в темноту за углом.

Зайцер вынул из пальто платок (никакого револьвера, конечно, у него там не было) и вытер пот. Он еще весь дрожал, когда к нему подбежала бледная Верочка.

– Что? Что? – схватила она его за руку.

– Ничего. Вот... – Зайцер встряхнул на ладони отвоеванные часы. – Негодяй! Он их уже вытащил, вы понимаете? Но он таки серьезно ошибся со мной.

– Но как же вы не боялись, что он... Нет, я даже не думала, что вы – такой! – глаза у Верочки восторженно блестели.

– Я вам скажу, Верочка, что если бы он даже выстрелил, то мне это все равно, потому что я сейчас как сумасшедший, потому что я вас... Ой, Боже мой, вы же, Верочка, знаете!

Верочка, блестя глазами, молчала. Но там, внизу, в темноте, рука Верочки, ласкаясь, как кошка, медленно вползла в рукав Зайцера, его ладони коснулась кисть, покрытая невыносимым пушком. Сердце Зайцера оторвалось, как от ветки сладкое, спелое яблоко, и упало вниз.

– Ну, и что же вы молчите? Я же не могу больше! – крикнул Зайцер.

– Я вам лучше скажу завтра утром, хорошо?

Но Верочкины глаза и легкое движение ее руки все сказали Зайцеру уже сейчас... На утро осталась, по-видимому, только банальная счастливая развязка. Впрочем, не правильнее ли будет сказать, что банальной из зависти называют ее те, кому не дано судьбой чувствовать весну в любое время года.

Неизвестно, спал ли товарищ Зайцер в эту весеннюю снежную ночь (едва ли). Неизвестно, спала ли Верочка (может быть). Но наутро к приходу товарища Зайцера все в его учреждении уже знали, что он – герой. Когда, наконец, он появился, его окружили, его засыпали вопросами, поздравлениями, улыбками. Не останавливаясь, пробормотав что-то неясное, Зайцер устремился в свой кабинет. Странно, но вид у него был совершенно не соответствующий его геройскому положению: он был растерян, бле-

ден. Может быть, это было результатом бессонной ночи, может быть, он слишком волновался в ожидании встречи с Верочкой и ее обещанного ответа. Еще страннее было, что, вбежав в свой кабинет, он только испуганно, боком взглянул на Верочку, кивнул ей и сейчас же кинулся к письменному столу. Торопливо расстегнув пиджак, он вынул свои золотые часы, бросил их на груду бумаг, выдвинул ящик стола – и, нагнувшись над ним, застыл. Брови его были подняты до крайнего, допускаемого природой, предела.

– Что случилось? – испуганно подбежала к нему Верочка.

– Что случилось? – чужим голосом сказал Зайцер. – Вот что случилось!

Из ящика письменного стола он достал и рядом с золотыми часами положил... золотые часы. Верочка круглыми глазами смотрела, ничего не понимая.

– Так я же его ограбил – этого негодяя! – в отчаянии закричал Зайцер. – Вот же мои часы, они себе лежали здесь, а тот подлый бандит имел свои часы, вы поняли, да?

Верочка поняла. Зайцер увидел, как задрожала ямочка на ее правой щеке. Она отвернулась. Какой-то странный звук, похожий на задушенное рыдание, через секунду – взрывы неистового, неудержимого смеха – и Верочка стремглав вылетела в дверь.

Вероятно, она упала там, корчась, задыхаясь, на первый попавшийся стул. Из кабинета было слышно, как она сказала, вернее, крикнула что-то столпившимся около нее сослуживцам – и следом затем стихийная катастрофа хохота, перекидываясь из комнаты в комнату, из этажа в этаж, охватила все учреждение товарища Зайцера.

Засунув пальцы в волосы, он сидел один в кабинете. Перед ним лежало двое золотых часов. Когда скрипнула дверь и в кабинет просунулась чья-то голова, Зайцер, не поднимая глаз, пробормотал:

– Я сейчас занят. Завтра...

Больше уж никто не рисковал к нему войти – и меньше всех Верочка: она знала, что как только она его увидит – она не вытерпит и опять засмеется ему в лицо.

Когда в учреждении затихли последние шаги, захлопнулись последние двери, Зайцер встал, сунул в карман

свои (настоящие свои) часы, подошел к столику, на котором стояла прикрытая чехлом Верочкина машинка. Горькими глазами он посмотрел на ее пустой стул, прижал руки к сердцу. Рядом с сердцем помещались часы – и эти проклятые, погубившие его часы, заиграли свою музыку. Зайцер яростно надавил рукой, чтобы музыка перестала, в часах что-то хрустнуло – они замолчали.

Пустые, обезлюдевшие комнаты, лестница, вестибюль. На стене, в вестибюле Зайцер увидел экстренный номер стенгазеты, выпущенный сегодня Кубасом (и может быть, Верочка ему помогала). Там был изображен маленький смешной человечек со свирепо вздернутыми бровями, в каждой руке у него были огромные часы. Внизу была крупная подпись: «Руки вверх!»

Зайцер поспешно отвернулся и вышел, навсегда, из своего учреждения, из сердца Верочки, из этого рассказа.

[1934]

ЛЕВ

Все началось с происшествия совершенно фантастического: именно – великолепный царь зверей, лев оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копье: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно – и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса – лев подложил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у «красного директора» театра шло SOS-ное заседание.

В двери постучали, и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. «Красный директор» (он сейчас на самом деле был красный – от злости) накинулся на него:

– Ну, что, что надо? Некогда! К черту!

– Я, товарищ директор... я – насчет льва, – сказал пожарный.

– Ну, что насчет льва?

– Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть...

Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный, в чугунных сапожищах, Жеребякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он

божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он когда еще был солдатом, играл в «Царе Максимилиане». И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «Марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз – и запнулся.

– Падай же, черт... падай! – бешеным шепотом зашипел на него режиссер.

Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент – опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, держась за спину, и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская (впрочем, в медведях – всегда есть что-то детское, не правда ли?)

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить:

– Ну, товарищ, назвался львом – полезай в шкуру. Лезь, лезь, брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность – он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин – кандидат в партию, что он – ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить – и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра.

– Ну, куда, зачем его черт понес? – снова красный от злости спрашивал директор. – Какие такие у него секреты?

Красному директору никто не мог ответить: секрет был известен только Пете Жеребякину – и, разумеется, авто-

ру этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет.

Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает; вместо него – Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Александровского сада – милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо милиционера – круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное: милиционера хватают за руки, за плечи – и наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером – и милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жеребякиным – девушка в милиционерской фуражке и гимнастерке, первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз – искры.

– Стыдно вам, товарищ, – только и сказала она Пете Жеребякину, но как сказала! Он растерялся, он забормотал виновато:

– Да это же ей-Богу не я! Я просто домой шел...

– Эх ты... А еще рабочий! – посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела!

Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк – и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра – снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театре домой, и снова у решетки Александровского сада – милиционерка. Же-

ребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него – и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря, сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии, и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну, как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету...

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума – и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спросил милиционерку:

– А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть, не при исполнении, а вообще – как ваша служба вроде военная...

– А зачем – замуж? – опершись на винтовку, сказала Катя-милиционерка. – Мы теперь – как мужчины: хочем и так любим...

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина – и договорила:

– Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял... Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захлопал...

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше: его дело – конченное...

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда случилось невероятное это происшествие, что лев, Божьим изволением, напился пьяным – Петю Жеребякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору...

Впрочем, это все – уже позади: сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это –

рядом с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка – это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней проступали росинки – и никогда она не была милее, чем вот такая, домашняя.

Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле – она не поверила. Потом – заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него (но как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом, балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребякина волновались режиссер и директор.

– Помни: ты ударник! Смотри – не подгадь! – в львиное ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх – и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился – и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось – он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу ставшие чужими, руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову – и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два! – и остановилось. Он весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него копье. Раз! – ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так – и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни – куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа...

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное: смертельно раненный лев стоял неподвижно на

верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услыхали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился – и камнем рухнул со скалы...

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

[1935]

ВСТРЕЧА

Человек с колючим бобриком, в мундире жандармского полковника, по-военному отчеканил свои показания и сел. Он производил у подсудимого обыск, его показания были бесспорны, точны, убийственны. Но подсудимый даже не посмотрел на него. Он не дыша, боясь шевельнуться, прислушивался к мерному топоту солдатских ног: сейчас в зал должен был войти тюремный конвой – и с ним последняя надежда на спасение для подсудимого. Подсудимый знал, что конвоем командует Попов, тоже революционер, как и он сам, и что Попов попытается в удобный момент передать ему револьвер.

Но Попов дошел только до эстрады, на которой сидели судьи: тут, вместо того, чтобы подойти с конвоем к подсудимому, он растерянно остановился и, не мигая, вытянув шею, глядел в глубь зала. Шея у него была неожиданно тонкая для его широких плеч – как будто по ошибке взятая от чужого человеческого комплекта. Он стоял и удивленно, забыв обо всем, смотрел на жандармского полковника.

Кроме полковника, никто этого не заметил, никому не понятна была причина происшедшего замешательства. Впрочем, ничего не понял и полковник: он только почувствовал, как немигающий взгляд конвойного офицера с журавлиной шеей споткнулся на нем.

Раньше времени зазвенел звонок: перерыв. Продолжение заседания суда было отложено. Судьи, сверкая генеральскими эполетами, встали, задвигались. Все торопились в буфет, чтобы успеть там наспех проглотить чаю или кофе. Последними вышли из зала огромный краснолицый извозчик и лысый нищий, тоже вызванные в качестве свидетелей по делу.

В буфете после ярко освещенного зала показалось темно – тускловатые, пыльные лампы были, вдобавок, завешены табачным туманом. Было открыто окно, всякий раз распахивалась дверь от сквозняка, подвешенные к потолку лампы слегка покачивались – и все внизу под ними тоже слегка покачивалось, все было непрочно, как во сне. И в самом деле – особенно после суровой реальности того, что происходило в зале, все здесь было похоже на сон или бред.

Мелькали в дыму солдаты, цыгане, мужики, офицеры. Священник, приводивший на суде свидетелей к присяге, обнимая цыганку, напевал шансонетку. К столику, за которым о чем-то спорили извозчик и нищий, дружески подсел жандармский полковник. «Из-за чего изволите горячиться, ваше превосходительство?» – спросил он нищего. Здесь, во сне, никто не удивлялся, что нищий принял титул превосходительства, как должное, но даже и здесь полковнику показалось нелепым, когда нищий сердито показал на извозчика: «Из-за того, что прапорщик Симков позволил себе сесть за мой столик, не спросив разрешения у меня, как полагается по уставу. Он забывает о моем чине!» Прапорщик-извозчик, добродушно колыхаясь животом, захохотал: «Все мы тут, дорогой мой, в одном чине: фи-гу-ранты! И всем нам одна цена: сто франков в день. Исключение – полковник: во-первых, получает сто двадцать, во-вторых, – играет самого себя. Это называется «повезло»!»

И действительно повезло: в этом фильме из русской жизни бывшему жандармскому полковнику дали роль жандармского полковника. Режиссер говорил, что он играет превосходно, а он совсем не играл: он просто стал прежним самим собой. Стал настолько, до таких мелочей, что вот сейчас, закурив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ленивым жестом – и, как бывало тогда, бросил спичку еще горящей.

Сверху, из табачного тумана, спустилась рука и взяла из пепельницы еще горевшую спичку. Полковник взглянул вверх – и встретился с глазами длинношеего конвойного офицера Попова. Нагнувшись, Попов пристально посмотрел полковнику прямо в лицо. Догоревшая спичка обожгла ему пальцы, он бросил ее, не за-

курив – и молча исчез в фантастической толпе цыган, солдат, мужиков.

«Что это значит?» – сказал полковник. «Что – что значит?» – удивленно переспросил извозчик. Полковник попробовал объяснить, но не мог, потому что ничего, в сущности, не произошло. Вернее, произошло только одно: полковнику показалось, что этого длинношеего офицера он уже встречал когда-то. Но когда? Где? В Крыму? В Константинополе? Он никак не мог вспомнить и это не давало ему покоя, как застрявшая где-то в зубах незаметная рыбья косточка, которую непременно нужно вынуть.

Прапорщик-извозчик, вкусно подхохатывая, рассказывал что-то про цыганку, про какую-то подвязку, но слова не доходили до полковника: мешала рыбья косточка. А может быть, и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе еще до сих пор им не принесли. Гарсон опять пролетел в тумане мимо их столика. Полковник обернулся, чтобы поймать его – и сзади себя, совсем близко, снова увидел Попова: перед самым носом священника он встряхивал на ладони два револьвера. «За каким чертом ты таскаешь с собой настоящий револьвер, раз тебе здесь дают бутафорский?» – спросил священник. «Об-обожаю револьверы... с детских лет...» – сказал Попов, слегка заикаясь.

Как только полковник услышал этот захлебывающийся, заикающийся голос, в голове у него, как в театре, мгновенно раздернулся какой-то занавес – и он все вспомнил, даже увидел с какой-то испугавшей его самого ясностью.

Этот человек, тогда – в студенческой форме, сидел спиною к нему, нагнувшись над железным столиком тюремной камеры. Полковник смотрел на него сквозь стеклянный глазок двери. Студент увлекся и не замечал ничего: перед ним на столике были сделанные из хлеба шахматы, он играл сам с собою. Полковник вошел в камеру, схватил разграфленный листок бумаги вместе с шахматами, скомкал и сунул к себе в карман. Он был сам шахматист и знал, что это будет самым чувствительным наказанием для заключенного, а этот упрямец заслуживает наказания. Студент взглянул на полковника и ничего не сказал, только сделал глотательное движение, на тонкой шее поднялся вверх и опустился кадык. Полковник, не отрывая глаз от его шеи, сказал очень ласково: «Вы получите

свидание с вашей невестой. Я объяснил ей, что если вы будете молчать, то вам грозит петля, и она обещала убедить вас быть откровенней».

Свиданий с невестой у студента было не одно, а несколько. Это тянулось целый месяц. Полковник слышал, как девушка плакала, умоляла, целовала. В конце концов студент заговорил откровенно. Когда полковник подписал приказ о его освобождении, студент секунду, не мигая, смотрел на него ненавидящими глазами, потом, заикаясь, сказал: «Ллу-ллучше бы вы меня повесили! И з-знаете, если мы к-когда-нибудь встретимся...» Он запнулся и так, не кончив фразы, ушел.

И вот – теперь, здесь – они встретились. Кругом них в бредовом тумане мелькали ненастоящие цыгане, офицеры, мужики, нищие. Прежние свои роли играли только они двое: полковник – себя, Попов – революционера, хотя он и был теперь в офицерской форме. И в буфете уже звенел звонок, призывая их продолжать игру – и может быть, теперь закончить ее.

Прапорщик-извозчик и превосходительный нищий ушли еще до звонка. Полковник шел в студию один. Из головы у него не выходил этот студент. Полковник вспомнил, что его невесту звали Мусей и что однажды он увидел, как она, покраснев, старалась спрятать палец, высунувшийся из прорванной перчатки, но лицо ее он совершенно забыл. «Какая странная вещь – память: забыть человеческое лицо – и запомнить прорванную перчатку...» – подумал полковник.

Он открыл дверь – и увидел себя на полутемном дворе, заваленном какими-то огромными пустыми ящиками. Он понял, что забыл вовремя свернуть направо и никак не мог сообразить сейчас, куда идти. Ощупью он нашел, наконец, дверь, через которую попал сюда, дернул ее – остановился: перед ним стоял «Попов». Вытянув длинную шею, усмехаясь, он сказал: «Зза-за-заблудились?» И продолжал стоять, глядя на полковника и держа руки в карманах.

«Сейчас он вынет из кармана револьвер...» – волосы на голове у полковника стали колючими. Он рассердился на себя и решительно шагнул на Попова: «Позвольте пройти!» Попов, не вынимая рук из кармана, посторонился. Пол-

ковник шел и слышал сзади себя шаги, все ближе. Он изо всех сил старался идти не спеша – и чувствовал, что идет все быстрее.

В студию он вбежал, запыхавшись. Его уже ждали. Режиссер громко, при всех, сделал ему замечание, но полковник подумал только об одном: наверное он – этот Попов – тоже слышит это...

Полковник оглянулся: Попов сидел направо, немного сзади, так что полковнику нужно было только чуть повернуться, чтобы увидеть эти немигающие, неотступные глаза. Потом уже не поворачиваясь, он как-то затылком, шеей, правым ухом (оно горело) чувствовал на себе этот взгляд – и это связывало его, опутывало как паутина.

Режиссер крикнул: «Allons!», лампы зашипели. Полковник встал, чтобы снова повторить свои десять убийственных для подсудимого слов. Он хотел, как делал тот, прежний полковник, вытянуть руку, показывая на подсудимого, но искоса, углом глаза, увидел: держа руки в карманах, Попов тоже встал. Полковник сделал рукой какое-то совершенно нелепое, деревянное движение и замолчал среди фразы: все слова вдруг вылетели из головы: «Да вы что – хватили лишнее или больны? – закричал на него режиссер. – Уходите вон! Проветритесь – тогда придете...»

Кто-то засмеялся. Согнувшись, стараясь быть поменьше, понезаметней – полковник вышел из студии. Впрочем, он уже не был полковником, как все эти дни: он снова стал тем человеком, который недавно мыл окна и получал на чай. Он шел по длинному, белому, пустому коридору и, стиснув кулаки, мысленно говорил режиссеру все то, что он вслух сказал бы, если бы мог.

В буфете было безлюдно, из экономии горела теперь только одна лампа. Полковник сел за столик, заказал кофе, потом остановил буфетчика: «Нет, лучше дайте коньяку!» Буфетчик что-то переспросил. «Ах, да все равно что – только поскорей!» – с досадой махнул полковник рукой: он, кипя, продолжал объясняться с режиссером, а тут этот буфетчик...

И вдруг он забыл сразу и режиссера, и обиду, и буфетчика, и все: к его столику от дверей шел Попов, покачивая головой на тонкой шее. Он остановился перед полковником и, как будто еще не решаясь, нащупывал

что-то в кармане рукой. Полковник уже знал, что такое это «что-то». Сердце у него заколотилось, но его руки и ноги были спутаны какой-то паутиной, он не мог ни встать, ни крикнуть.

Буфетчик принес кофе и коньяк, поставил на столик и ушел в кухню. Бывший полковник и бывший студент остались вдвоем. Полковник слышал, как, жужжа, о потолок шлепалась большая муха.

– А ведь я вас сразу узз-узнал... – сказал «Попов», снова пошевелив рукою в кармане.

Полковник хотел сказать: «Что вам от меня нужно?», но понял, что это выйдет нелепо, смешно: он ведь знал, зачем нашел его здесь этот человек. Он ждал, не двигаясь, только сердце у него заколотилось еще сильнее.

– Помните, как вы в к-к-камере взяли у меня шахматы? – и сказали, что вы т-т-тоже шахматист? Я все п-п-помню! – продолжал «Попов», хитро щурясь и понемногу, медленно вынимая руку из кармана.

Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом. Оставалась еще секунда. Полковник втянул голову в плечи, как черепаха, и закрыл глаза.

Прошла секунда, две – выстрела не было. «Целится»... – мелькнуло в голове и, не выдержав, полковник открыл глаза.

«Попов» стоял перед ним, вытянув руку. В руке у него была карманная шахматная доска.

– Сыграем? – сказал он и, не дожидаясь ответа, сел напротив полковника.

[1935]

ВИДЕНИЕ

Водка была особенная, настоянная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползали на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз, лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей, и вил себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где – на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские: их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человечек на верху буфета и он осторожно спросил Куколя:

– А этого, на буфете, который гнездо вил – помнишь?! Вот чудак!

– На буфете... гнездо? – вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал: – Да, да, помню.

Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытующе поглядывая друг на друга.

Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.

– Ну, где же это самое твое шоссе? Скоро? – спросил наконец Куколь.

– Сейчас, сейчас! – с притворной бодростью сказал Иванов.

И в самом деле, они перешли, спотыкаясь, через рельсы и выбрались на какое-то шоссе. Какое – Иванов не знал. Но Куколь успокоился, снял очки, даже запел что-то.

Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал, зажмурив глаза. Куколь подошел.

– Что такое? – спросил он, ничего не понимая.

– Да нет, ничего особенного... – Иванов открыл глаза, он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы у него дрожали.

– Ну, так идем. Чего же ты стал? – сказал Куколь.

Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся: а что, если повернувшись, он снова увидит э т о? Но близорукие, прищуренные, без очков, глаза Куколя с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом и повернулся.

И справа, на пересекавшей шоссе дороге, он снова увидел э т о.

Уже рассветало, дул легкий ветер. Разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался, колыхаясь вправо и влево... белый слон! Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза – и снова увидел слона.

Его прошиб пот: ему стало ясно, что он допился до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно было бы сесть, с закрытыми глазами проси-

деть полчаса, пока не пройдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но Куколь весело напевал за спиной, Иванову во что бы то ни стало надо было идти вперед – туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени: может быть, он шел так час, а может быть, всего только пять минут.

До его сознания смутно дошло, что сзади, где напевая плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел: разинув рот, Куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки.

– Я бы, знаешь, посидел бы... Покурим, а? – робко сказал он Иванову.

На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба сели спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом, с опаской покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо – и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно.

Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя – тоже галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя.

Догоревшая папироса обожгла Куколю пальцы – только тогда он очнулся, бросил окурок и сказал Иванову:

– Ну, что же, надо идти, а?

Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.

Когда он повернулся и глянул вдаль – ему захотелось орать от радости: галлюцинация исчезла, впереди были только белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо, по-медвежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй». Но пьяные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь.

Догнавший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, – как курица, когда она пьет.

Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась. Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где как блюдо с молоком лежала налитая туманом круглая полянка.

И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невидимую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поляне Иванов снова увидел белого слона и ему показалось даже, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивающий слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного, но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума. Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал прерывающееся, хриплое дыхание Куколя.

В двадцати шагах под березой вился дымок: рябой, с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос – это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамятовался. Он, все еще тяжело дыша, присел возле костра и спросил:

– Вы, товарищ, в Москву? Служите там?

– Да, служба! Черт бы ее взял! – сердито плюнул красноармеец.

– А что? – участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос.

– Да как же... сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда.

– Кого – его? – осторожно вставил Куколь (он уже тоже сидел у костра).

– Да слона этого самого. Из Ливадии везем: сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции – в Москву, в зверинец... Белых у вас нету.

– Нету, нету! – восторженно подхватил Иванов. – Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался: вот, думаю, московским трудящим подарок! Спасибо, дорогой товарищ!

Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу и пошел. Куколь за ним.

И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.

РОМАНЫ

МЫ

Запись 1-ая.
Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.

Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически-безошибочное счастье, – наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия – мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифеста, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это – и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель ИНТЕГРАЛА, – я только один из математиков Единого Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового – еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно – не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, – или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-ая.
Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глу-

по-толкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим – только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни – весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится Интеграл, – и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше – сам с собою: почему – красиво? Почему танец – красив? Ответ: потому что это *несвободное* движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни – только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.

– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она – о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час – мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах[1], с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, – он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни – увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение – прыжок через века, с + на –. Мне вспомнилась (очевидно, – ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

---

[1] Вероятно, от древнего «uniforme».

И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали – как некий мифический Бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это – без улыбки, я бы даже сказал – с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель Интеграла). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

– Но почему же – непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть – можно перекинуть мостик... Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и, следовательно...

– Ну, да: ясно! – крикнул (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

– Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился, взглянул направо, налево – и...

Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:

– Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я – с необычайной для меня резкостью – сказал:

– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

– Даже носы у всех...

– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:

– Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уж никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским нумером. У него такое – внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.

На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне:

– Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

– Если у меня будет наряд – именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

– Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый

иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.

– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день – послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.
Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Посмотрел все написанное вчера – и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому Интеграл принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно – и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей – разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) – есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой – первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того, как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь – можете вы себе вообразить, что у вас – хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице – голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас, со стены у меня в комнате, сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о, Скрижаль, о, сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы – «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью – и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же – С, углерод, – но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль – каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной

точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, – мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу – единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, – мы подносим ложки ко рту, – и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день – от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью – Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних – целомудренно спущены шторы, другие мерно, по медным ступеням Марша – проходят проспектом, третьи – как я сейчас – за письменным столом. Но я твердо верю – пусть назовут меня идеалистом и фантазером – я верю: раньше или позже – но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя – пусть даже зачаточная государственная власть, могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-мораль-

ную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это – разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки – во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время – откуда-то со дна, из мохнатых глубин – еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью – только изредка. К счастью – это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт – у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: это вчерашний, дважды изогнутый, как S, – кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-ая.
Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.

До сих пор мне в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю...

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была – $\frac{1500}{10\ 000\ 000} = \frac{3}{20\ 000}$ (1500 – это число аудиториумов, 10 000 000 – нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнеченный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп – милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне – желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот – звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства – и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

– «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде», – действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране – дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как и дикарь, европеец хотел «дождя», – дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и – пусть дикой – логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть,

он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) – тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось – все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

– «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там их древнейший инструмент) – этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»

И дальше – я опять не помню, очень возможно, потому что... Ну, да, скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она – I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я – я?

Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль... Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце – долой все с себя – все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.

Как и все – я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху – вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце – для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних.

Как обычно, стройными рядами, по четыре через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас – только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом – моя крепость» – ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон – и не мог

оторваться от розового рта до самого последнего момента – 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил – кажется, очень хорошо – о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, – прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

– Милый Дэ, если бы только вы – если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое – относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-ая.
Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, – ну да все его знают. А между тем вы – на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии – кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете – квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это – равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром – человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне – о войне между городом и деревней. Ве-

роятно, из религиозных предрассудков, дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»[1]. Но в 35-м году до основания Единого Государства – была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато – очищенное от тысячелетней грязи – каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых – вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть – это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался потому, что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке) – потому что любви одних добивались многие, других – никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический=сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой нумер».

Ну, дальше – там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови – и вырабатывают для вас соответствующий Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться нумером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти – нет уже никаких, знаменатель дроби счастья приведен к нулю – дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий – у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд,

---

[1] Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.

прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, – а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом какой-то четырехлапый икс. Или это – мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами – мои мохнатые лапы. Я не люблю говорить о них – и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно – –

Хотел зачеркнуть все это – потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи – как тончайший сейсмограф – дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником – –

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии – никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри – все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) – просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю – вы не будете слишком строго судить меня. Я верю – вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие – для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-ая.
Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА.

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения,

кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала – еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) – там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того – нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг – телефон:

– Д-503? – женский голос.

– Да.

– Свободны?

– Да.

– Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает – почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба – и легкое солнце – на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое – как щеки старинного «купидона» – и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы – поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна – там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца – вниз, вниз, вниз – как с крутой горы – и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери – старуха, вся сморщенная – и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос – и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же – заговорила.

– Ну, что, милые, домик мой пришли поглядеть? – и морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

– Да, бабушка, опять захотелось, – сказала ей I.

Морщинки сияли:

– Солнце-то, а? Ну, что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница – тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть – мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

– Люблю я ее – старуху эту.

– За что?

– А не знаю. Может быть – за ее рот. А может быть – ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала – улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

– Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть...

– Ясно... – начал я – тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой взглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены – как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22-х, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных прозрачных клеток – темные с опущенными шторами и там, за шторами – – Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь – и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот, самый странный, «королевский» музыкальный инструмент – и дикая, неорганизованная, сумасшедшая – как тогдашняя музыка – пестрота красок и форм. Белая плоскость – вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза – канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения – линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

– Это – самая моя любимая... – и вдруг будто спохватилась – укус-улыбка, белые острые зубы. – Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

– Или, еще точнее: государств, – поправил я. – Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

– Ну да, ясно... – по-видимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова – комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее – прекрасное, прозрачное, вечное – стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

– И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз). – Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, – не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое – не знаю что, – что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться – не согласиться было нельзя.

Вот – остановились перед зеркалом. В этот момент – я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» – человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала – обернулась. «Ну – вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною – два жутко-темные окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь – пылает там какой-то свой «камин» – и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) – я определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

– Знаете что, – сказала I, – выйдите на минуту в соседнюю комнату. – Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот – и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь – отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там – стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и – – точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка – мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, – и открытая шея, тень между...

– Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

– Ясно, – перебила I, – быть оригинальным – это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным – это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным» – у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

– Да, да, да! Именно, – я не выдержал. – И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз – там, внутри, за своими окнами, – сказала, на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня) – сказала очень разумную вещь:

– Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели – поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

– Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).

– Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

– Да, у нас... – начал я.

И вдруг она – рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню – я весь дрожал. Вот – ее схватить – и уж не помню что... Надо было что-нибудь – все равно что – сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

– Вы не находите, что уже пора? – сколько мог вежливо сказал я.

– А если бы я вас попросила – остаться здесь со мной?

– Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме...

– ...И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук... – моим голосом сказала I. Потом отдернула штору – подняла глаза: сквозь темные окна – пылал камин. – В Медицинском Бюро у меня есть один врач – он записан на меня. И если я попрошу – он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я, наконец, понял, куда вела вся эта игра.

– Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный нумер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

– А не в сущности, – (острая улыбка-укус). – Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

– Вы остаетесь? – Я взялся за ручку двери. Ручка была медная – и я слышал: такой же медный у меня голос.

– Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер – я был настолько взволнован, что не запомнил его, – и крикнула:

– Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку.

– Вы позволите мне взять аэро?

– О, да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода – как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила:

– А эта ваша – что же, там одна осталась?

– Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это – что я невольно обманул старуху – так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 – у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом – законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-ая.
Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ.

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом – медный Будда; вдруг поднял медные веки – и полился сок: из Будды. И из желтого платья – сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам – и какой-то смертельно-сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних – это было самое обыкновенное и нормальное – видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была – вот такая ужасная карусель: зеленое – оранжевое – Будда – сок. Но мы-то знаем, что сны – это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, – какое-то инородное тело – как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чув-

ствуешь, а вот этот глаз с волоском – нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовии: 7, вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены – я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения – повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте – и едва замечать Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре – к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов – и быстро вниз, вниз, вниз – легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон – или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера также на аэро – спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «Интеграла». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Интеграл» от земли. Каждый атом секунды – масса «Интеграла» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, – кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал – «простите».

Я приоткрыл глаза – и сперва (ассоциация от «Интеграла») что-то стремительно несущееся в пространство: голова – и она несется, потому что по бокам – оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка – сутулая спина – двоякоизогнутое – буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира – снова ресничный волосок – что-то неприятное, что я должен сегодня – –

– Ничего, ничего, пожалуйста, – я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза – два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: – один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

– Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... – голос у меня – странный, приплюснутый, плоский – я пробовал откашляться.

– Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

– Но, понимаете, – был не один, я сопровождал нумер I-330, и вот...

– I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он – тогда на прогулке – и может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом – нельзя, немыслимо: это ясно.

– Да, да! Как же, как же! Очень, – я улыбался – все шире, нелепей – и чувствовал: от этой улыбки – я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, – взвинтились обратно в глаза; S – двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось – все на меня смотрят) – и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям – вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же

неразрывно связаны между собой, как... ну как движение аэро и его скорость: скорость аэро=0, и он не движется; свобода человека=0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века – это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 – иду туда непременно...

В 16.10 вышел – и тотчас же на углу увидал О – всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода – все тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

– Гулять, – круглые синие глаза мне широко раскрыты – синие окна внутрь, – и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего – внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

– Нет, не гулять. – Мне надо... – я сказал ей, куда.

И к изумлению своему увидел: розовый круг рта – сложился в розовый полумесяц, рожками книзу – как от кислого. Меня взорвало.

– Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня – но это просто тупость.

– Вы – идете к шпионам... Фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

– Почему «А я» – почему это «А»? Совершенно по-женски. – Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. – Ну, вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть на столько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша – и есть мерзкий за-

пах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве – и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион – это белена, тут шпион – ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось – но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

– Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо – и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

– Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон – желтое – Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

– Да ведь и правда: я болен, – сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

– Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым – смешно доказывать вам это.

– Ну, О милая, – ну, конечно же вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно – вечером там уже было закрыто) – вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах – и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу же все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны – подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-ая.
Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R-13. ТРЕУГОЛЬНИК.

Это – как давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно, помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов – и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тшшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи – и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе – только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки – что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад – я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 – я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной – золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви – теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей – себя. А я – я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты – я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

– Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня – черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель – и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы, в конце концов, с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы вошел в Бюро).

– Не замечтался, а уж если угодно – залюбовался, – довольно резко сказал я.

– Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам – в Поэты, а? Ну, хотите – мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ – брызги; каждое «п» – фонтан, «поэты» – фонтан.

– Я служу и буду служить знанию, – нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

– Ну что там: знание! Знание ваше это самое – трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните – и глаза зажмурите. Да!

– Стены – это основа всякого человеческого... – начал я.

R – брызнул фонтаном, O – розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

– Знаете что, – предложил я, – пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час – может быть, такой будет и сегодня).

Она взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

– Но сегодня я... У меня сегодня – талон к нему, – кивнула на R, – а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

– Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, O? До задачек ваших – я не охотник, а просто – пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой – или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой нумер – Д-503. И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы – приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую O. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше – в комнате R. Как будто – все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа,

кровати. Но чуть только вошел R – двинул одно кресло, другое – плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. R – все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике – он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя[1]. Законоучитель у нас был громогласен необычайно – так и дуло ветром из громкоговорителя – а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст – то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, – было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали – весь наш треугольник – и, сознаюсь, я тоже.

– А что, если бы он был живой – как у древних, а? Вот бы, – «б» – фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу. О – на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел: $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

– Ну, а как же ваш «Интеграл»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «Интегралу» не поднять. Каждый день от 8 до 11... – R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него – это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина – «В карете»).

Я оживился:

– А, вы тоже пишете для «Интеграла»? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.

– Сегодня – ни о чем. Другим занят был... – «б» брызнуло прямо в меня.

– Чем другим?

R сморщился:

– Чем-чем! Ну, если угодно – приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг – на тебе:

---

[1] Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

«Я, говорит, – гений, гений – выше закона». И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает – у себя в чемоданчике?

Минута неловкого, асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

– К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских – или как их там – прошли, – нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось – веселого лака в глазах уже не было.

– Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы – счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему – как будто это было совершенно некстати, – мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался $\sqrt{-1}$. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

– Ну мне пора... – и я поцеловал O, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома – тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор – клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая O... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» – но пусть пишется, как пишется) – в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и O – мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык – понятней), мы – семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

Запись 9-ая.
Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА.

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях – и все хрустально-неколебимое, вечное – как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес – или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы – губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц – в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу – мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, – мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству – спокойную, обдуманную разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один – стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет – не белое, а уж без цвета – стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с нумером – уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины – неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно

ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки – выходят огромными, приковывают взор – заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки – ясно: они – каменные, и колени – еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась – медленный, чугунный жест – и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий – увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы – о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок – уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы) –

И впряг огонь в машину, сталь
И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец – «огонь с цепи спустил на волю» – и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест – и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может! Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей – но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые – острым топором – хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) – спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо – острый, черный треугольник – и тотчас же стерлось: мои глаза – тысячи глаз – туда, наверх, к Машине. Там – третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, – преступник идет, медленно, ступень – еще – и вот шаг, последний в его жизни – и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой – на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза – на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь – быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча – как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было – как чудо, это было – как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним – разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы[1].

По старому обычаю – десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун – и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви жен-

---

[1] Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого – как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

ских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, – было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, – знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

Запись 10-ая.
Конспект:

ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я.

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя – Ю... впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это – очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, – это то, что щеки у ней несколько обвисли, как рыбьи жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» – и – рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову – и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

– А вот письмо. Да. Получите, дорогой, – да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо – должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но

я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «Интеграла» я никак не мог сосредоточиться – и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов – опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка – и, наконец, письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман – и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и – сел... Это было официальное извещение, что на меня записался нумер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней – внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок, ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, – ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, – ну, вообще не мог... И несмотря на все – –

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда – желтое – ландыши – розовый полумесяц... Да, и вот это – и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение – относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман – и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло – не наше, не настоящее, это – тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно – как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами – –

Странное ощущение: я чувствовал ребра – это какие-то железные прутья и мешают – положительно мешают

сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиною ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

– Вот... – протянул я ей розовый билет. – Я получил сегодня извещение и явился.

– Как вы аккуратны! Минутку – можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо – и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет – что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она – оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра – железные прутья, тесно... Когда она говорит – лицо у ней как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо – неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови – насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх – две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X – как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

– А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

– Я был... Я не мог: я был болен.

– Да. Ну я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать – все равно что (острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы – в моих руках. Вы помните: «Всякий нумер, в течение 48 часов не заявивший в Бюро, считается...»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, – глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался, – ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира – вдвоем с ней.

I была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифь шуршала, падала – я слушал – весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для

Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка – странное существо, состоящее только из одного органа – уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота – на груди – еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам – по полу. Я слышу – и это еще яснее, чем видеть, – из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами – удары молота о прутья. И я слышу – я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот – двери шкафа, вот – стукнула какая-то крышка – и снова шелк, шелк...

– Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки – сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым – два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена.

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней – флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось – в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется – сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там – внутри у меня – в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел – на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее – я спросил:

– Послушайте, в таком случае – зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

– Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе – это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

– Слушайте, – сказал я, – ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем – Единое Государство беспощадно...

Темные брови – высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

– Быстро уничтожить немногих – разумней, чем дать возможность многим губить себя – и вырождение – и так далее. Это – до непристойности верно.

– Да... до непристойности.

– Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин – выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя – ну, да вы его знаете, – представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд – и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий – обнимал ее – такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои – ненормальные – ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости – и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

I смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня – внутрь:

– А главное – я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый – о, я уверена в этом, – вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я – пью ликер, я – курю. Вы будете больны – или вы будете заняты – или уж не знаю что. Больше: я уверена – вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафрановое розовым, – сделала несколько шагов – остановилась сзади моего кресла...

Вдруг – рука вокруг моей шеи – губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я – сейчас я это понимаю со-

вершенно отчетливо, – не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю – это был вкус «ликера»), – и в меня влит глоток жгучего яда – и еще – и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз – по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову – но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого там – в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел – в себе, внутри.

Было два меня. Один я – прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку – за ручки кресла, – я спросил, чтобы услышать себя – того, прежнего:

– Где... где вы достали этот... этот яд?

– О, это! Просто один медик, один из моих...

– «Из моих»? «Из моих» – кого?

И этот другой – вдруг выпрыгнул и заорал:

– Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что я вас – я вас – –

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разодрал у ней тонкий шелк, впился зубами – я точно помню: именно зубами.

Уже не знаю как – I выскользнула. И вот – глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой – она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас – сейчас же – сию же минуту...»

Острые зубы – острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

«Да! Да, милая – милая», – я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу! Но I – так же молчаливо – поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит – показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие – сразу как сдунуло. Я – был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь – я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени – по запасной лестнице (боялся – кого-нибудь встречу в лифте) – выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте – такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом – неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался – чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха отстегивается – отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять – и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух – только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это – явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась – плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью – нумера обязаны спать; это обязанность – такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью – преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

Запись 11-ая.
Конспект:

...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА.

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там – дальше, выше. Древние знали, что там их величайший скучающий скептик –

Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, – это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот – –

Я – перед зеркалом. И первый раз в жизни – именно так: первый раз в жизни – вижу себя ясно, отчетливо, сознательно – с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я – он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними – как шрам – вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) – из «там» я гляжу на себя – на него, и твердо знаю: он – с прочерченными по прямой бровями – посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я – не – он...

Нет: точка. Все это – пустяки, и все эти нелепые ощущения – бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда – или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий – такой точный и острый – разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой – посредством...

Щелк нумератора – и цифры: Р-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ

На плоскости бумаги, в двухмерном мире – эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут – это может быть, 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати – и с любопытством смотрели, как вы, вы же, – корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал гово-

рить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

– ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно – непременно – как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, – закончил я.

Вдруг вижу: у R – матовеют глаза, сереют губы.

– Что с вами?

– Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом – приговор, приговор. Не желаю больше об этом – вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок – этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул – залакировались смехом глаза, вскочил.

– А вот для вашего «Интеграла» сочиню... это – да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

– Понимаете («п» – фонтан) – древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю – был представлен выбор: или счастье без свободы – или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу – и что же: понятно – потом века тосковали об оковах. Об оковах – понимаете, – вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше – дальше слушайте! Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола – это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он – змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему – тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все – очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители – все это добро, все это – величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу – то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову – этика, неэтика... Ну, да ладно: словом, вот

этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне – настоящему мне (я все же считаю прежнего себя – настоящим, все теперешнее – это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

– Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

– Послезавтра... нет: через два дня – у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

– Ну да, ясно.

– Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто – кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и – шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати – у меня вырвалось (если бы я удержался!):

– А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты – приятель... А все-таки...» И ответ:

– Да как сказать? Собственно – нет. Но я знал одну женщину...

– I, – закричал я.

– Как... вы – вы тоже с нею? – налился смехом, захлебнулся и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я – настоящий – увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий – услышал дикий, отвратительный крик:

– Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет – я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я – настоящий – крепко схватил за шиворот этого дру-

гого себя – дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я – настоящий – сказал ему, R:

– Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

– Да-да-да! Я понимаю – я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком – назад к столу, бросил на стол книгу:

– Последняя моя... Нарочно принес – чуть не забыл. Прощайте... – «п» брызнуло в меня, укатился...

Я – один. Или, вернее: наедине с этим, другим «я». Я – в кресле и, положив нога на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я – я же – корчусь на кровати.

Отчего – ну отчего целых три года я и О – жили так дружески – и вдруг теперь одно только слово о той, об I... Неужели все это сумасшествие – любовь, ревность – не только в идиотских древних книжках? И главное – я! Уравнения, формулы, цифры – и... это – ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что – –

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра – никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш – развалился.

Я – один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там – выше? И если бы знать: кто – я, какой – я?

Запись 12-ая.
Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ.

Мне все же кажется – я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено как круг. Я не боюсь этого слова – «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке, – рассудка – сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздробле-

нию бесконечности на удобные, легкопереваримые порции – – дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии – математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так – случайная ассоциация.

Все это – под мерный, метрический стук колес подземной дороги – я про себя скандирую колеса – и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза, я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое... он! Не хотелось мешать ему – и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут – не знаю: когда я входил в вагон – его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю – не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире –
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт – непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире.

Сталь – ржавеет; древний Бог – создал древнего, т. е. способного ошибаться, человека – и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда – понимаете – никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно – об ошибке? Для меня – аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал – сперва на своем затылке, потом на левом ухе – теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня – уже закрыта и мысли мои – далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял – или не захотел понять – он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недосягаемы – как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому, часть – R-13, величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полю-

бить четыре правила арифметики? А «Шипы» – этот классический образ: Хранители – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: «Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун – ой, ой – бежит домой» – и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира – утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

Запись 13-ая.
Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

На заре проснулся, – в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я – несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок, – встаю – и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь – туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее – и легче, и ближе, и

уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара – темные фигуры людей в домах – как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе – повисли низко, и, выше, и еще выше – в десятом этаже. И все дымится – может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы – чтобы ухватиться за цифры – чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем, как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос – длинная, медленная игла в сердце:

– Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

– Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

– Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю...» И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканные юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был – острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Кончено. На работу – я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане – кровь – разрез острым ножом – губы.

– Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее – – впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины – губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас – ножом, – и еще каплет сладкая кровь.

Ближе – прислонилась ко мне плечом – и мы одно, из нее переливается в меня – и я знаю: так нужно. Знаю

каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому нужно. Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону – и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться – и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз – и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

– Туман... Очень.

– Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу – вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это – тоже нужно, тоже хорошо.

– Да, хорошо... – вслух сказал я себе. И потом ей: – Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

– Значит – любишь. Боишься – потому, что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому – именно потому я...

Мы шли двое – одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир – единая необъятная женщина, и мы – в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все – для меня: солнце, туман, розовое, золотое – для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже – –

– Ну вот... – I остановилась у дверей. – Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее, – прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубах.

И человечек – тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся – все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие – нос, ножницы – губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила, – и чувствовал: улыбаясь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

– Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь – опаснее я ничего не знаю... – засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал – отдал мне.

Это были удостоверения, что мы – больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я – вор, я – под Машиной Благодетеля. Но это мне – далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я – мои глаза, губы, руки – я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце; тончайшелезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше – все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня – медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни – и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

– А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что – я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко – еще шире: – настежь. Ее губы – мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза – и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И – мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет – –

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону – я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза – и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина – только в углу – за тыся-

чи миль капают капли в умывальнике и я – вселенная, и от капли до капли – эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I – и глазами вбирал в себя ее последний раз.

– Я знала это... Я знала тебя... – сказала I очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус. – Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо – на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог – вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом – только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад – в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал и остановился. Вот – ясно вижу – еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I – нет. Уйти она никуда не могла – выход из комнаты только один – и все-таки ее нет. Я обшарил все и даже открыл шкаф и ощупал там пестрые древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так – не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали, как я полон!

Запись 14-ая.
Конспект:

«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ.

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это – как вырезано, и потому-то особенно – должно быть, навсегда – этот нестерпимо холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О – это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

– Что с вами, – спросил дежурный. – Вы какой-то сегодня...

– Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот – шуршит. Значит – все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня...

И вот – 21.30. В комнате слева – спущены шторы. В комнате справа – я вижу соседа: над книгой – его шишковатая, вся в кочках лысина и лоб – огромная, желтая парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне – после всего – с нею, с О? И справа – ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу – ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется – эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня – радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее – разомкнулось – руки опустились...

– Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

– Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был... – и запнулся: мне пришло в голову – раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом – я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

– Я думала – я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом – мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот – розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было – хотя бы потому, что это сделает ее соучастницей

моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и, следовательно – –

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускался – и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо – и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась – лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати – какой отчаянно-холодный пол, – сидел молча. Мучительный холод снизу – все выше, все выше. Вероятно – такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

– Поймите же: я не хотел... – пробормотал я... – Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я – не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон – неизбежен, точен – –

О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала:

– Уйдите, – но от слез вышло у нее «ундите» – и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом – легкий, чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту – стукнула дверь.

– Одну минутку, – крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...

Она отняла у меня R.

Она отняла у меня O.

И все-таки, и все-таки...

Запись 15-ая.
Конспект:

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ.

Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл» – как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое – тарелка, и говорит – подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное:

– Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, – происшествие.

– Происшествие?

– Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать – и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался – понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (улыбка – вкусная...)

В Операционном – работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там – разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат – с применением различных газов, и затем – тут, конечно; уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель – забота о безопасности Единого Государства, другими словами – о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же – режут горло живому человеку. И все-таки один – благодетель, другой – преступник, один со знаком +, другой со знаком – ...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус – и вот наверху уж другое: еще покачи-

вается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, – а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече – прижавшись к правому плечу, I – рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман... все люблю, и все – упругое, новое, удивительное, все – хорошо...

– Все – хорошо, – вслух сказал я.

– Хорошо? – кругло вытаращились фаянсовые глаза. – То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они – всюду, кругом, все время, они тут, они – около «Интеграла», они...

– Да кто они?

– А почем я знаю, кто. Но я их чувствую – понимаете? Все время.

– А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели – фантазию вырезывают? (На днях, в самом деле, я что-то вроде этого слышал.)

– Ну, знаю. При чем же это тут?

– А при том, что я бы на вашем месте – пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый – ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад – вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь – теперь нет, потому что я знаю, что это у меня есть – что я болен. И знаю еще – не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все – под нами внизу – как на ладони...

Вы, читающие эти записки – кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, – вы знаете, какое бывает – какое может быть – утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух – чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все – живое: живые и мягкие – камни; живое и теплое – железо; живые и все до одного улыбаются – люди. Может случиться через час – все исчезнет, через час – выкаплет розовая кровь, но пока – живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла», я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном сво-

ем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы – вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.

Корпус «Интеграла» почти готов: изящный, удлиненный эллипсоид из нашего стекла – вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел, изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра – шпангоуты, продольные – стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды – взрыв; каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство – и будет нестись, нестись – огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла», свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее – вниз, к ним, с ними!

И вот – плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей, лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один – безмятежно обернулся ко мне:

– Ну как: ничего, лучше сегодня?

– Что лучше?

– Да вот – не было-то вас вчера. Уж мы думали – у вас опасное что... – сияет лоб, улыбка – детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог – не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

– Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.

Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх – я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза – рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному – здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне – вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза – вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и – –

И ледяная искра – насквозь: я – пусть; я – все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу – был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это – только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно...

– Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? – Это Второй Строитель – прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет, – и я не знаю, куда мчусь: вниз – и сейчас оземь, или вверх – и в солнце, в огонь...

Запись 16-ая.
Конспект:

ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША.

Не записывал несколько дней. Не знаю сколько: все дни – один. Все дни – одного цвета – желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее – а она, с тех пор, как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад – не знаю: все дни – один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку – по плечо ей – двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый – запом-

нились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей – необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову S – нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова – желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором – и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это, – она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?

S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной – как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухметровая тень: через нее проходят, на нее наступают, но она – все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина – она, I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг – у вас странное ощущение: руки – посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг – непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея – закована. И я бегу, бегу все быстрее, и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее – никуда, никуда...

У себя в комнате – наконец, один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке – легкий шум, чьи-то шаги в коридоре – мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку – и не могу, не могу больше. Туда – к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами,

нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я – один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь – остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внутри – пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» – непременно «ты»: «Ты же знаешь – я не могу без тебя. Так зачем же?»

Но она – молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу – Музыкальный Завод и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я – один, я – опоздал. Кругом – стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде – в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду – в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и – – А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное – сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною – двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал – что-нибудь нужно было сказать:

– Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

– За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги – я молчал, весь полыхая от стыда.

– Идите за мной, – сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой – мире: вот какие-то машины – фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже – скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною – ступени. Один шаг – и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я, наконец, оторвал глаза от стекла под ногами – вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня – об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком – через ступени, плотно захлопнул за собой дверь – и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце – и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...

Двое: один – коротенький, тумбоногий – глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой – тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия – что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

– Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа – –

– Это... очень опасно? – пролепетал я.

– Неизлечимо, – отрезали ножницы.

– Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

– Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

– Да.

– Так вот – плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот – видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон – мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте – от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней – все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми, – дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала – внутри вас – солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это – впитывает, и от всего след – навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице – и она уже навсегда в вас; однажды

вы услышали: в тишине упала капля – и вы слышите сейчас...

– Да, да, именно... – я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника – медленно капают капли в тишину. И я знал это – навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было – и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

– Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев – одни только лопаточные кости – фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны – есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья – чтобы летать, а нам уже некуда: мы – прилетели, мы – нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

– В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) – я вам говорил: надо у всех – у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа – в мой мозг, записывал что-то в книжку.

– Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

– Видите ли, – сказал он, – нумер Д-503 – строитель «Интеграла», и я уверен – это нарушило бы...

– А, – промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

– По секрету скажу вам – это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее – очень

похожее, очень близкое... – он пристально посмотрел на меня. На что он намекает – на кого? Неужели – –

– Слушайте... – я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:

– ...А от бессонницы, от этих ваших снов – могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... Ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово – букву – имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце – легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра – какая-то радость. Какая?

Запись 17-ая.
Конспект:

СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ.

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы – в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории – конечно, Древний Дом. Из этой точки – оси X-ов, Y-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси X-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне – пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника – так было, было однажды. И все это – разрывая мясо – стремительно крутится там – за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился

на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев – встал на дыбы – сейчас захлестнет меня, и из человека – тончайшего и точнейшего из механизмов – я превращусь...

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном – стекло Стены. О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир – от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня – туманно, тускло – тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза – в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый – в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни – счастливее нас?»

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он – счастливее нас! Может быть счастливее меня – да; но ведь я – только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома – и милый заросший старушечий рот – я кидаюсь к старухе со всех ног:

– Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

– Это кто же такое – она?

– Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда – на аэро...

– А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня – все глубже... И наконец:

– Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног – куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома – это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку к старухе, старуха погла-

живает ветку, на коленях у ней – от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза – мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам – одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся – и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутемные гулкие комнаты – почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около – не во мне, а где-то около меня – мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там – ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

– I! Ты здесь? – И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, – так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: – I! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, почему, но только это было мне неприятно: я крепко завернул кран и вышел. Тут ее – нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там – никого...

И все-таки – опять туда, сам не знаю – зачем. Я шел медленно, с трудом – подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести – константна. Следовательно, все мои формулы – – ».

Тут – разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я – снова легкий, легчайший – бросился к перилам – перегнуться, в одном слове, в одном крике «Ты!» – выкрикнуть все...

И захолонул: внизу – вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.

Молнией – один только голый вывод, без посылок (посылок я не знаю и сейчас): «Нельзя – ни за что – чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену – я скользнул вверх – к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот – тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо – зеленое, красное, желтый Будда – я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слышу – сквозь шум крови – опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа – и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне – опять мгновенный, голый без посылок, вывод – вернее, осколок: «В тот раз ! – – ». Я быстро открываю дверь в шкаф – я внутри, в темноте – захлопываю ее плотно. Один шаг – под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах – и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и – сколько я знаю – совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5 – 10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую – вниз, вниз... Протянул руку – ухватился – царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно – все это не игра моей больной фантазии. Но что же это?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом – так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три – все вниз. Наконец – мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами, – теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул – открылась дверь – тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся – но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это «здесь» – не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах – лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир.

Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо у́же и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло – о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса – не знаю, но только я – возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз – громче. За дверью – затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше – передо мной был мой лезвиеносый, тончайший доктор.

– Вы? Здесь? – И ножницы его так и захлопнулись.

А я – я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть – что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора – и толкнул в спину.

– Позвольте... я хотел... я думал, что она, I-330... Но за мной...

– Стойте тут, – отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец, она рядом, здесь – и не все ли равно, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени – а в голове глупейшая мысль:

«Колебания – звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?»

Ее глаза раскрылись мне – настежь, я вошел внутрь...

– Я не мог больше! Где вы были? Отчего, – ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил, как в бреду – быстро, несвязно – может быть, даже только думал. – Тень – за мною... Я умер – из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

– Неизлечимая душа! Бедненький мой! – I рассмеялась – и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как – как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор – чудесный, великолепный, тончайший доктор.

– Ну-с, – остановился он возле меня.

– Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу, – прижалась плечом, рукою, вся – и мы пошли вместе с нею, вместе с нею – двое – одно...

Не помню, где мы свернули в темноту – и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я – с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы, – и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли – голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке – на концах пальцев – содрана кожа. Но сегодня на «Интеграле» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо – в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю – ничего не знаю.

Запись 18-ая.
Конспект:

ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА.

Вчера лег – и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на средине глубины открываю глаза – моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа – осколок солнца – в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установлен-

ные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего – открыть шкаф. Но я весь – как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл – и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая – I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню – даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь – и задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте – острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше – и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я – в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это – несомненно было. И я не знаю теперь: что сон – что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей – кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю – и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего $\sqrt{-1}$, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела – невидимые – есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые колючие тени – иррациональные формулы; и математика, и смерть – никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть – неизбежно должен быть – целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика – до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни – тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» – так же реальна, как моя

юнифа, как мои сапоги – хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь – почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те – за Зеленой Стеной, – и они также были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось – сквозь какое-то толстое стекло – я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А может быть, это – не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая – только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая, – к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове – легкий, зыбкий туман. Сквозь туман – длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шаро-головы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих – как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной – мой мир...

Но вот что: если этот мир – только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства – у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная исков, $\sqrt{-1}$ и падений жизнь.

Впрочем – может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, – дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством – следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети – только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

ВЕЧЕРОМ:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь – земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо – вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже – надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя – имя О-90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь) – я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки – отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец – я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или – вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею – с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел – на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все – совершенно иное, иная эта розовость – сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром – опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов – Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это – очень почтенная женщина, и я уверен – у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки, – мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо – Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где – я не сомневался – письмо от I.

Здесь – второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта – и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз – нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

– Бедный вы, бедный, – вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, – естественно, знала).

– Нет, право, я... Почему же?

– Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам – и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой – это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец – сквозь стыдливые жалюзи – совсем тихо:

– Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы – нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что – –

В глазах у меня – рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда – на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван – скорее подпись – и рана – это не I, это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу – расплывшаяся клякса, – сюда капнуло... Я не выношу клякс – все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю – раньше – мне было бы просто неприятно, неприятно глазам – от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко – как туча, и от него – все свинцовее и все темнее? Или это опять – «душа»?

ПИСЬМО:

«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете – я не могу как следует писать – все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни – я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня – не четырехугольная, а круглая, и без конца – кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас – потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и – понимаете: именно, если я вас люблю, я должна – –

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90, – и я пойду и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же, отчего – –

Запись 19-ая.
Конспект:

БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ.

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет – не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома, – она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» – сегодня, и все – на крыльях, день – летит, и наш «Интеграл» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня

каждый из них – салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга – от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки – продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров – это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах – это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться – и даже записывать на эти страницы – о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это – все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда – как наши стены (древняя поговорка: «Как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я – почти один в доме. Сквозь просолненные стены – мне далеко видно вправо и влево и вниз – повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице – медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги, – и я вижу сквозь дверь – я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка – и затем мимо, по другой лестнице – вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез – и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною – небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

– Вам от нее письмо (– исподлобья, из-под навеса)... Просила, чтобы непременно – все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса – кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет, не один: из конверта – розовый талон и – чуть приметный – ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее – письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз – перепрыгиваю через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль...»

Письмо – в клочья. В зеркале на секунду – мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку – –

– «Просила, чтоб непременно – все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она – сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем, не знаю: увидим – до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства, пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены – и потом свалиться в кровать – на дно... А я должен – в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа – два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата – не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский – мне мелькает она такою, какою когда-то жила: маленькая – крючочек-старушка, вроде той – у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу – фонтаном – снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова – сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то – о детях, о детоводстве. Я – как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп – световой отблеск на громкоговорителе; под ним – ребенок, живая иллюстрация – тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, боль-

шой (вернее – очень маленький) палец зажат внутрь – легкая, пухлая тень – складочка на запястье. Как фотографическая пластинка – я отпечатываю: вот теперь голая нога – перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух – вот сейчас, сейчас об пол – –

И – женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка – губами – в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый – рожками книзу – полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это – О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, – вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами – в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде – три точки, и через эти точки – прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой – по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю – как часы. И стрелки во мне – сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она – у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами – не хочу, и все.

Сзади – знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей – и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату – пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель – я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее, – висела: так висит пустое, снятое платье – под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.

– Я – о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно – сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением – как будто она была во всем виновата – смотрел на ее синие, полные до краев глаза – медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

– Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

– Так, значит... (– улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну очень хорошо! Я сейчас – я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон т о й. Я быстро развернул эту свою рукопись – «МЫ» – ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

– Вот – все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос – тень голоса:

– А помните... я вам тогда на седьмой странице... Я вам тогда капнула – и вы...

Синие блюдечки – через край, неслышные, торопливые капли – по щекам, вниз, торопливые через край – слова:

– Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу – я должна от вас ребенка – оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас – – Я заложил назад руки, улыбнулся:

– Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня – все так же, ручьями через плотины – слова:

– Пусть! Но ведь я же почувствую – я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть – только раз увидеть у него складочку вот тут – как там – как на столе. Один день!

Три точки: она, я – и там на столе кулачок с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу – точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что, если?» Тогда я только еще крепче схватился за поручни; теперь – я прыгнул вниз.

– Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые – как будто прямо в лицо солнцу – глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

– Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон – т о й – и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что – я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

– Это... это ее талон?

– Не все ли равно. Ну – ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего – О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

– Ну? Скорее... – я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра – синяки) у ней на запястье, там – где пухлая детская складочка.

Это – последнее. Затем – повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры – и я через парапет вниз...

Запись 20-ая.
Конспект:

РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС.

Разряд – самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней – полюсы все ближе – сухое потрескивание – еще миллиметр: взрыв, потом – тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто – как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое, металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня, наконец, от моей мучительной «души» – и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя – пусть: в последний момент – я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это право – понести

кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего – тем ценнейшего – права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь – в чистейшем, разреженном воздухе – с легким треском, как пневматическая шина, – лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних – их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные – и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И, чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же – слава Благодетелю – взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот – если капнуть на идею «права». Даже у древних – наиболее взрослые знали: источник права – сила, право – функция от силы. И вот – две чашки весов: на одной грамм, на другой – тонна, на одной «я», на другой – «мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, – это совершенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты, – я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое – просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной – пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это – последняя мудрость, это – вершина той пирамиды, на которую люди – красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины – там, на дне, где

ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков, – с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать – О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это – то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» – хулу на Святую Церковь – карал так же, как убийство.

Вы, ураниты, – суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах, – вы молчите, мне кажется, вы – со мною. Но я слышу: розовые венеряне – что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои: мне жаль вас – вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами – как аэро. Круги разные – золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля – вперед: 10, 20, 200, 360 градусов – опять нуль. Да, мы вернулись к нулю, – да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль – совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо – мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль – у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века – мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют – и все на мачты: перед нами – другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца – сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой черной стороны Нулевого Утеса. Нож – самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож – был гильотиной, нож – универсальный способ разрешить все узлы и по острию ножа идет путь парадоксов – единственно достойный бесстрашного ума путь...

Запись 21-ая.
Конспект:

АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ.

Вчера был ее день, а она – опять не пришла, и опять от нее – невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один – так это, разумеется, не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто – отделенный шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их – я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens – только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу – весь будто из голубых глыб льда. Вдруг – облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни...).

У входа в Древний Дом – никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле Зеленой Стены: при-

ставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной – острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканьем бросаются на приступ – грудью о прочную ограду из электрических волн – и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу – косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

– Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть как это незачем? И что это за странная манера – считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все – мои тени. Разве я не населил вами эти страницы – еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному опыту я знаю: самое мучительное – это заронить в человека сомнение в том, что он – реальность, трехмерная – а не какая-либо иная – реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер – там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров, – если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, – будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые – с красными кирпичными прыщами – стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь – памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли – голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы – навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды – неясно, как на дне, сквозь толщу воды – и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридора я нигде не мог найти – его не было. А впрочем – так, может

быть, и лучше: больше вероятия, что все это – был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли – я уже открыл калитку – вернуться на главный двор. Вдруг сзади – шорох, хлюпающие шаги и передо мною – розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

– Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

– Ну что же, теперь лучше себя чувствуете?

– Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня – поднял глаза вверх. Голова запрокинута – и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко – метрах в 50 – жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам наблюдательных труб – я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

– Отчего их так сегодня много? – взял я на себя смелость спросить.

– Отчего? Гм... Настоящий врач – начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся – и через плечо мне:

– Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу – голубые купола, кубы из стеклянного льда – свинцовеют, набухают...

ВЕЧЕРОМ:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия – этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о

стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры – я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками – по кусочку на каждую из моих трещин, – и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

– Понимаете, прихожу сегодня в класс (– она работает на Детско-воспитательном Заводе) – и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

– Нет, нет, что вы, – поторопился я сказать (вблизи, в самом деле, ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах – это было совершенно неуместно).

– Да в конце концов – это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь – это жестокость, – вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-ой записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли...»

Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках – сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

– Дайте – дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам – сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась – и совсем тихо:

– Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

– Что – что говорят? Что – в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные облака – все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я заметил: резонируя мое волнение – косточки ее пальцев дрожали).

– Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом: если только вам это нужно – в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого – и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы – тоже дитя, и вам нужно...

– Нет, нет, – замахал я, – ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок – что я один не могу... Ни за что! (– сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня.)

Она улыбнулась; неписаный текст улыбки, очевидно, был: «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы – и теперь о другом:

– Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

...Всю ночь – какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом – стул. Но стул – не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя – и левая задняя, левая передняя и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее – и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разумной – может быть, даже полезной.

Запись 22-ая.
Конспект:

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЁ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я – МИКРОБ.

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны – мерно вверх; и поднявшись – вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это – когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Послед-

ний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов – две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта – там, где грозно гудела аккумулирующая башня, – навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади – стража; в середине трое, на юнифах этих людей – уже нет золотых нумеров – и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни – это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут – в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске – путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир – видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем – четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды – и взвизг, щелк – взвизг.

Мы по-прежнему, мерно, ассирийски, шли – и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется – и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут – и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не сметь!» – бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было – как метеор – 119 лет назад: вся прогулка застыла и наши ряды – серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером – она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение – заворачивая, она согнула бедра

налево – и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело – мои глаза, мои губы, мои руки знают его – в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи – наперерез ей. Сейчас – в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой – их траектории пересекутся – сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось – и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно – я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась – –

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками, лицо, рыжие брови... Не она! Не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!», «Держи ее!» – но слышу только свой шепот. А на плече у меня – уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

– Послушайте, но ведь вы же должны понять, что́ я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так и я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:

– Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер Д-503 – болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

– Да, да, – ухватился я. – Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

– Вы ничего не кричали.

– Да, но я хотел – клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня, – и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо, и висок с географической картой голубых жилок – скрылись за углом, навеки. Мы идем – одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас – та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире – это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение – добродетель, а гордыня – порок, и что «МЫ» – от Бога, а «Я» – от диавола.

Вот я – сейчас в ногу со всеми – и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность – только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб – их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание – это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их – уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие – что если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-ья.
Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО.

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу – в десять тысяч лет. Может быть, об этом до

сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком – нежно-коричневые, с крапинками щеки Ю. Все – необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней – сквозь стекло стены – свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

– Луна, – понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на номер талона – и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно-целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

– У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид – потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет – никто.

Это «никто» – конечно, равняется нумеру на талоне: I-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я – неблагоразумен, я – болен, у меня – душа, я – микроб. Но разве цветение – не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид – страшнейший из микробов?

Я – наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я – кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани – я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше – и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она – это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати – мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие как старуха,

и где-то невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь – это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я – кристалл, и потому во мне – дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я – и вдруг...

– Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

– Отчего же ты думаешь, что глупость – это не хорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками, так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

– Да... (Мне кажется, она права, – как она может сейчас быть не права?)

– И за одну твою глупость – за то, что ты сделал вчера на прогулке, – я люблю тебя еще больше – еще больше.

– Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

– А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу – что ты уже совсем мой?

– Да, совсем!

Она взяла мое лицо – всего меня – в свои ладони, подняла мою голову:

– Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного нумера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла – как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что, в сущности, я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я – крошечный, миллиметровый – заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять – пчелы – губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда – метроном во

мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты – такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей – все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах – о математике Пляпе, о $\sqrt{-1}$, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе – в такой день – оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ – две длинные, резкие линии – и темный угол поднятых бровей: крест.

– Может быть, в этот день... – остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. – Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

– Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже – мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется – это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся – так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем, как сесть.

– Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки – брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались, и никак не сложить по порядку, а главное – если и сложить, все равно – не будет настоящего порядка, все равно – останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

– Я не могу так, – сказал я. – Ты – вот – здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса – и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то недоговариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор, – или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

– Ты хочешь узнать все?

– Да, хочу. Должен.

– И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца – куда бы я тебя ни повела?

– Да, всюду!

– Хорошо. Обещаю тебе, когда кончится праздник, если только... Ах, да: а как ваш «Интеграл» – все забываю спросить, – скоро?

– Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

– Сам увидишь...

Я – один. Все, что от нее осталось, – это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы – вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об «Интеграле»?

Запись 24-ая.
Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.

Я – как машина, пущенная на слишком большое число оборотов: подшипники накалились, еще минута – закапает расплавленный металл, и все – в ничто. Скорее – холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции – надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть – именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда, если через «Л» обозначим любовь, а через «С» смерть, то Л = f(С), то есть любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и

ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра – День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали – это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы – рядом с ней, чтобы – ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли – пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд – хотеть боли. Кому же не понятно, что болевые – отрицательные – слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И, следовательно...

И вот – никаких «следовательно». Чисто. Голо.

ВЕЧЕРОМ:

Сквозь стеклянные стены дома – ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи – и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, – для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот – о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его – с детских лет. Мне кажется, для нас – это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик – с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит, – честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу – хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю, нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре – шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра – день ежегодных выборов Благодетеля.

Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда – смешно сказать – даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую – что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас, и здесь, как во всем, – ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы – говоря словами «Евангелия» древних – единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность – до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже – преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я, – и может ли быть иначе, раз «все» и «я» – это единое «МЫ». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство – от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа – женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной – только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так) праздник – только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее – завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо – выкрашенная синим жесть, и сам я...

Я хватаюсь за телефонную трубку:

– I, это вы?

– Да, я. Как вы поздно!

– Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить... Я хочу, чтобы вы завтра были со мной. Милая...

«Милая» – я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы – размах, ветром в лицо – и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там – в комнате I – чей-то шепот. Потом ее голос:

– Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

НОЧЬ

Запись 25-ая.
Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ.

Когда, перед началом, все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов – я на секунду забыл все: забыл что-то тревож-

ное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного, пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец – пусть! – но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе – и все выше навстречу ему миллионы сердец – и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун – как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (– сияние блях); и в центре ее – сейчас сядет белый, мудрый Паук – в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели – и я тотчас же понял: действительно – все тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом – и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот – ответный сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне – как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио – ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно

перелистываю в рядах одно лицо за другим – как страницы – и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом – –

Он – он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело – он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I – какая-то нить (между ними – для меня все время какая-то нить; я еще не знаю, какая – но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он – клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней – отвратительно-негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль – кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце. Я, помню, подумал: «Если от нефизических причин – может быть физическая боль, то ясно – что – – »

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только – мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка – «душа в пятки». И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было, как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было, как у древних перед грозой.

Воздух – из прозрачного чугуна. Хочется дышать широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади – мышино-грызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух – I и R – рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие – ненавистные мои – лохматые руки.

В руках у всех – бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады – чугунный, медленный голос:

– Кто «за» – прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше – прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием – будто заржавели все суставы – поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «Ах!». И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал – что, и не было силы – я не смел посмотреть...

– Кто – «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, – он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно – а кругом у всех бледнеют лица, у всех – холодные капли на лбу.

Я поднял глаза – и...

Это – сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх – «против» – упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем – как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера – на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами – возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов – как на чудовищном экране.

И как на экране – где-то далеко внизу на секунду передо мной – побелевшие губы О: прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее – смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране – это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье – вдруг выскочил R-13 – брызжущий, красный, бешеный. На руках у него – I, бледная,

юнифа от плеча до груди разорвана, на белом – кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками – со скамьи на скамью – отвратительный и ловкий, как горилла, – уносил ее вверх.

Будто пожар у древних – все стало багровым – и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу – на чьи-то плечи – на скамьи – и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

– Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно – все кричали свое, все бежали).

– Кто? Что такое? Что? – R обернулся, губы, брызгая, тряслись – он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

– Что? А вот – не хочу, не позволю! Долой ее с рук – сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я – мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни – тут я с маху ударил его по голове. Вы понимаете – ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

– Уходите, – крикнула она R, – вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось – огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги – все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

ВЕЧЕРОМ. 22 ЧАСА.

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные, вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без

крова, в диком состоянии свободы – как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия – против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем – кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» – разве я – знаю.

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье – на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже – начало чудесной невычислимой кривизны – открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет, больше: она видит все это – но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута, – она разорвала бы ее, она...

– А завтра... – она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. – А завтра – неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает – неизвестно! Ты понимаешь, что все известное – кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это – далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так – долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

– Слушай: если завтра не случится ничего особенного – я поведу тебя туда, – ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я – растворился, я бесконечно-малое, я – точка...

В конце концов – в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке – больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться – и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется – все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

Запись 26-ая.
Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°.

Утро. Сквозь потолок – небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю – меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир – наш мир – еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся – два оборота, три оборота – на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете – заблудились и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое – стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете – скорее, скорее – и вот:

«Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии – кашель случайно присутствующих в концертном зале больных...»

О, мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, – спасены? Но что же, в самом деле, можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше – еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены – вот они – я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не уди-

вительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все – как обычно – отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко – и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания – будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов – и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте, примерно, 2-х метров на стене – четырехугольный листок бумаги и оттуда – непонятные – ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ.

А внизу S-образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую – как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх – сорвать бумажку – и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех – не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу...»

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня – и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

S оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки – к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно подымающейся температуре инкубационного периода – врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах, – это сыпь. Я понимаю его улыбку...[1]

---

[1] Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

Спуск в подземку – и под ногами, на непорочном стекле ступеней – опять белый листок: «Мефи». И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех – небрежно, криво) – везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине – явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо – он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня – другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду – в колесах, руках, газетах, ресницах – пульс все чаще, и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда, – будет 39, 40, 41 градус – отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге – такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером, тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «Интеграла»: мы уже готовим его к пробному полету.

– Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я – Второму Строителю. Лицо у него – фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня – какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе – чуть заметный белый квадратик – наклеена бумажка. И меня всего трясет – может быть, от смеха – да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

– Нет, слушайте... – говорю я. – Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз и по дороге высчитываете: «Завтра – от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед...» Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас – именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что, если б я был стеклянный и он видел, что через каких-нибудь 3 – 4 часа...

Запись 27-ая.
Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА – НЕЛЬЗЯ.

Я один в бесконечных коридорах – тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь – и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16-ти пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду – прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще – последние пять минут, и если она не выйдет – –

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее...

Вдруг сзади – торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен, – и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

– Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе – смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки – и с трудом, медленно слова:

– Нет, довольно... после: сейчас – пойдем.

Дверь открылась. Ступени – стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось – и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове – как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни – рядом, кучей, одно за другим...

Я помню – первое у меня было: «Скорее, сломя голову, назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал – они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену – и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

– Да нет же! Просто – мы вышли за Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза – и лицом к лицу со мной, наяву – то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки, – в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я – прикован, я не могу ни шагу – потому что под ногами не плоскость – понимаете, не плоскость – а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся – это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

– Ничего, ничего! Это – только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I – на зеленой, головокружительно-прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор, – нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И – деревья разбежались, яркая поляна, на поляне – люди... или уж я не знаю как: может быть, правильней – существа.

Тут – самое трудное, потому что э т о выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I

всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил – даже ей. Возможно, что завтра я не буду верить и самому себе – вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня – шумела толпа в триста – четыреста... человек, – пусть – «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва видел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда – и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, – по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью – вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок – были лица точно такие – да, да, точно такие же, – как и у наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди – крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без шерсти была только часть лица – как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял – положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку – и потом можете класть туда уже сколько угодно – стрелка все равно не двинется...

Вдруг – один: I уже со мной нет – не знаю, как и куда она исчезла. Кругом – только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

– Послушайте – ради Благодетеля – вы не видали – куда она ушла? Вот только сейчас – вот сию минуту...

На меня – косматые, строгие брови:

– Ш-ш-ш! Тише, – и косматo кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми – я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она – на синем полотне неба – резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна – неслышно скользят, как корабль, и легкая – уплывает земля под ногами...

– Братья... – это она. – Братья! Вы все знаете: там, за Стеною в городе – строят «Интеграл». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену – все стены, – чтобы зеленый ветер из конца в конец – по всей земле. Но «Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень – волны, пена, ветер:

– Долой «Интеграл»! Долой!

– Нет, братья: не долой! Но «Интеграл» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, – на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «Интеграла». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг – и я где-то наверху, подо мною – головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я – был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я – с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом – внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху – улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней – чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами – и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтобы залить огонь – пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем – кровь во мне и весь мир – в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне – легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» – и почему-то это так нужно, это – простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение – может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, – ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его – так же как, не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) – и чувствую, что все дышат вместе –

и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел – громкий голос:

– Но это же безумие!

И, кажется, я – да, думаю, что это был именно я – вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем – зеленая зубчатая пила, и я кричу:

– Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума – как можно скорее! Это необходимо – я знаю.

Рядом – I; ее улыбка, две темных черты – от краев рта вверх, углом; и во мне – уголь, и это – мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом – только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко – птица. Я вижу: она – живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина – с блестящей, цвета старой слоновой кости, шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое – спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень – плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то, похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица – и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду – или, может быть, это только мне кажется – прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

– Что ты?

– Он здесь... Мне показалось...

– Кто он?

– S... Вот только сейчас – в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне не ясно: почему она улыбается – как она может улыбаться?

– Ты не понимаешь – I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них – здесь.

– Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы – здесь. Вспомни: вот ты – разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там – пусть ловят! Ты – бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля – пьяная, веселая, легкая – плывет...

Запись 28-ая.
Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА.

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света – какую-нибудь Атлантиду, и там – небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев или аэро, камни, подымаемые вверх силою взгляда, – словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что – поймите же – никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною – я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни – и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса – и узнал ее голос, I, упругий, металлический, – и другой, почти негнувшийся – как деревянная линейка – голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо – одними зубами улыбнулась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

– Послушайте, – сказала мне I, – эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это – с вашего разрешения?

И тогда – другая, вздрагивая жабрами:

– Да он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это – только затем, чтобы... что все это – комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале – сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того – с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор – в самые жабры:

– С-сию же с-секунду – вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, – захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

– Я не прощу – я никогда себе этого не прощу! Она смела – тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что... что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

– Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю – ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего – я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я – в твоих руках, ты можешь – в любой момент...

– Что – в любой момент, – и тотчас же понял – ч т о, – кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: – Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это – тот я, прежний, – а теперь...

– Кто тебя знает... Человек – как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

I гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой – твердо и нежно:

– Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть, – мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы.

– Отменены?

– Да. И я шла мимо – видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

– Но что же это значит?

– Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит – и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто – они и кто – мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели – или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю – и вот-вот...

– Но это безумие, – говорю я. – Вы – и Единое Государство. Это все равно как заткнуть рукою дуло – и думать, что можно удержать выстрел. Это – совершенное безумие!

Улыбка:

– «Надо всем сойти с ума – как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И, следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрел на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно – темный крест.

– I, милая, – пока еще не поздно... Хочешь – я брошу все, забуду все – и уйдем с тобою туда, за Стену – к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз – там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала – сейчас уйдет. Может быть – уже последние дни, может быть – минуты... Я схватил ее за руку.

– Нет! Еще хоть немного – ну ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку – мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

– Твоя рука... Ведь ты не знаешь – и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и – –

Пауза – и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего – так несется сердце. И я кричу:

– Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь – пока мне не расскажешь о них – потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O – а чтобы получилась H_2O – ручьи, моря, водопады, волны, бури – нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке – на щеке выступил белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов – особенно вначале – и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было – о Двухсотлетней Войне. И вот – красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов – красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые всклокоченные люди – и всклокоченные собаки – рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человечьей... Это, конечно, – за стенами; потому что город – уже победил, в городе уже наша теперешняя – нефтяная пища.

И почти с неба донизу – черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревнями, медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы – чтобы силою спасти их и научить счастью.

– Ты все это почти знал?

Да, почти.

– Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые – они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи, – мы хотим...

– Нет, подожди, – а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

– Мефи? Это – древнее имя, это – тот, который... Ты помнишь: там, на камне, – изображен юноша... Или нет: я

лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире – энтропия и энергия. Одна – к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая – к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии – наши, или, вернее, – ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане, мы...

И вот момент – чуть слышный, шепотом стук в дверь – и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел – как воздушный насос – и не мог сказать ни слова: должно быть, бежал во всю мочь.

– Да ну же! Что случилось? – схватила его за руку I.

– Идут – сюда... – пропыхтел наконец насос. – Стража... и с ними этот – ну, как это... вроде горбатенького...

– S?

– Ну да! Рядом – в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

– Пустое! Успеется... – смеялась, в глазах – искры, веселые языки.

Это – или нелепое, безрассудное мужество – или тут было что-то еще непонятное мне.

– I, ради Благодетеля! Пойми же – ведь это...

– Ради Благодетеля, – острый треугольник – улыбка.

– Ну... ну ради меня... Прошу тебя.

– Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...

Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот – высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я – один.

Скорее – за стол. Развернул свои записи, взял перо – чтобы о н и нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг – каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: «А что, если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу – из этих, из последних?»

Я сидел за столом, не двигаясь, – и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы...

Спрятать? Но куда: все – стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат – увидят. И потом, я уже не

могу, не в силах истребить этот мучительный – и может быть, самый дорогой мне – кусок самого себя.

Издали – в коридоре – уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя – и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами – палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба – я как-то исподлобья, крадучись видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели, застывшие, как я; другие – вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь, – счастливцы! Если бы я тоже...

– «Благодетель – есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика...» – я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове – сумасшедшая кузница, и спиною я слышал – брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S – мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду – какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно – раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас – – Всё мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какою я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав – и негромко сказала:

– Это – Д-503, Строитель «Интеграла». Вы, наверное, слышали? Он – всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо – над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

– Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

– Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал – как плицами по воде – к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы – душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху – и шепотом:

– Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собой троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, никто не говорит (– воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры – главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-ая.
Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ.

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась – еще не слышная нам – буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало – отдельные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой – все ближе, – но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу – тишина. В воздухе – тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносит оттуда, из-за Стены. Медленно плывут – и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице,

вы хотите смахнуть – и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много таких нитей – если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме – в той, нашей «квартире».

Впереди я уже видел темно-красную громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся – и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю – и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки – чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

– Я видела вас – тогда, в День Единогласия.

– Я тоже вас видел... – И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила – вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка:

– Я так счастлива – так счастлива... Я полна – понимаете: вровень с краями. И вот – хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня – что-то постороннее, оно мешало – и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку – и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это – первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее – такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

– Слушайте – вы с ума сошли! И не столько это – вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас – так все равно через месяц, через два месяца...

Она – потухла; все круги – сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце – неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце – не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие – засасывание насосом жидкости – есть технический абсурд; отсюда ясно: насколько, в сущности, абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены – слева. Темно-красная громада – впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей – как мне кажется, блестящую идею.

– Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидать своего ребенка – и затем умереть. Вы сможете выкормить его – понимаете, – вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

– Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедля.

Я уже видел, как мы втроем с I ведем ее коридорами – вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

– Это – та самая, – сказала она.

– То есть... – я почему-то смутился. – Ну да: та самая.

– И вы хотите, чтобы я пошла к ней – чтобы я просила ее – чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила – обернулась и крикнула:

– И умру – да, пусть! И вам никакого дела – не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах – куски синих башен и стен, но им еще часы – может быть, дни – лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо – и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце – абсурдная, мучительная компрессия...

Запись 30-ая.
Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ?

Вот тот мой разговор с I – там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума – красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время – под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву – потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства – и больше: вселенной. И затем – здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

– Я знаю: послезавтра у вас – первый, пробный полет «Интеграла». В этот день – мы захватим его в свои руки.

– Как? Послезавтра?

– Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен наудачу взятых вчера Хранителями – попало 12 Мефи. И упустить два-три дня – они погибнут.

Я молчал.

– Чтобы наблюдать за ходом испытания – к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 – запомни – когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой – и «Интеграл» наш... Ты понимаешь: это нужно, во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших руках – это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно – можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил.

– Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, – это революция?

– Да, революция! Почему же это нелепо?

– Нелепо – потому что революции не может быть. Потому что наша – это не ты, а я говорю – наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

Насмешливый, острый треугольник бровей:

– Милый мой: ты – математик. Даже – больше: ты философ – от математики. Так вот: назови мне последнее число.

– То есть? Я... я не понимаю: какое – последнее?

– Ну – последнее, верхнее, самое большое.

– Но, I, – это же нелепо. Раз число чисел – бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

– А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней – нет, революции – бесконечны. Последняя – это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо – чтобы дети спокойно спали по ночам...

– Но какой смысл – какой же смысл во всем этом – ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

– Положим... Ну, хорошо: пусть даже так. А что дальше?

– Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям – все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

– Дети – единственно смелые философы. И смелые философы – непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

– Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной – равномерно, повсюду – разлито...

– Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть – энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику, – разве не ясно, что только разности – разности – температур, только тепловые контрасты – только в них жизнь. А если всюду, по всей вселенной, одинаково теплые – или одинаково прохладные, тела... Их надо столкнуть – чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы – столкнем.

– Но, I, – пойми же, пойми: наши предки – во время Двухсотлетней Войны – именно это и сделали...

– О, и они были правы – тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число – какого нет в природе, нет. Их ошибка – ошибка Галилея: он был прав, что Земля движется

вокруг Солнца, но он не знал, что вся Солнечная система – движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита Земли – вовсе не наивный круг...

– А вы?

– А мы – пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное – забудем, когда состаримся, – как неминуемо старится все. И тогда мы – тоже неизбежно вниз – как осенью листья с дерева – как послезавтра вы... Нет, нет, милый, – не ты. Ты же – с нами, ты – с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая – я никогда еще не видел ее такой, – она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее – глядя прочно, твердо в глаза мне:

– Так помни же: в 12.

И я сказал:

– Да, я помню.

Ушла. Я один – среди буйного, разноголосого гама – синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12... – и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо – чего никак не смахнуть. Вдруг – вчерашнее утро, Ю – и то, что она кричала тогда в лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу – и скорее домой, домой...

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди в закатном солнце – из малинового кристаллизованного огня – шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе – шпиц аккумуляторной башни. И все это – всю эту безукоризненную, геометрическую красоту – я должен буду сам, своими руками... Неужели – никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню). Внутри – грудой сложены скамьи; посредине – столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое – потому жуткое – завтра. Это противоестественно: мыслящему – зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко – край, один только шаг – и от нас останется

только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

...А что, если не дожидаясь – самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-ая.
Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ.

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось – не за что ухватиться, казалось – уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни – скорее – глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это – только «сон». Солнце – розовое и веселое, и стена – такая радость погладить рукой холодную стену – и подушка – без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот, приблизительно, то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий – я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть – и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

«Радуйтесь,

Ибо отныне вы – совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы – были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо – искра чистейшего разума; каждый ход поршня – непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов – законченна и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма – в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора, – не стали маятниково-точны?

И только одно:

У механизма нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра – расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас – краснейте! – Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И – прячьте глаза – историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина – вы больны. Имя этой болезни:

фантазия.

Это – червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это – лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше – хотя бы это «дальше» начиналось там, где кончается счастье. Это – последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии – жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка Х-лучами – и вы излечены от фантазии –

Навсегда.

Вы – совершенны, вы – машиноравны, путь к стопроцентному счастью – свободен. Спешите же все – стар и млад – спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция! Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!»

...Вы – если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман – если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий краской газетный лист – если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, – разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве – как у меня сейчас – не кружилась бы у вас голова? Разве – по спине и рукам – не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы – гигант, Атлас – и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

– I-330... Да, да: 330. – И потом, захлебываясь, крикнул: – Вы дома, да? Вы – читали – вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

– Да... – долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то... – Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувствовал: улыбаюсь – и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку – как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи, на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой – все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи – пусть: вам не затемнить солнца – мы навеки приковали его цепью к зениту – мы, Иисусы Навины.

На углу – плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри, на ослепительно белом столе, уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики – нагнулись к изголовью, белая рука – протянула руке наполненный чем-то шприц.

– А вы – что ж не идете, – спросил я – никого, или, вернее, всех.

– А вы, – обернулся ко мне чей-то шар.

– Я – потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» – я не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился «Интеграл». В машинном гудела динамо – ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца – как будто мое, знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. Милая... какая-какая милая. Завтра ты – оживешь, завтра – первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось, как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 – я предам его... да, предам...

Осторожно – за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

– Вы уже знаете, – сказал он.

– Что? Операция? Да, не правда ли? Как – все, все – сразу...

– Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за Операции этой... Зря гнали, старались...

«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь Операции – завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел – и увидел Ю. Она сидела за моим столом, – костяная, прямая, твердая – утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что, когда вскочила навстречу мне, – на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне – то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола, – она рядом с I, разъяренная... Но только секунду – и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули выключатель – лампочка загорелась, но как будто ее и нет – такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все – она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, – сказала:

– Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понима-

ете: завтра-послезавтра – вы совершенно здоровы, вы заново – родились...

Я увидел на столе листок – последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера – так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем, все равно: теперь это – только история, теперь это – до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

– Да, – сказал я, – и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него – тень на мостовой. И понимаете: – тень – светится. И мне кажется – ну вот я уверен, – завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце – сквозь все...

Она – нежно и строго:

– Вы – фантазер! Детям у меня в школе – я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить – нужно беспощадно, да, беспощадно», и что она, кажется, наконец решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро – обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И – к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь – сердце стучит...

– Войдите!

На пол – возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза – поочередно, в один и в другой – и в каждом видеть себя – в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там – тучи все чугуннее: пусть! В голове – тесно, буйные – через край – слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, т е п е р ь мы уже знаем, куда – и за мною планеты – планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами, – и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества, – планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг – сверху:

– А ты не думаешь, что вершина – это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

– А счастье... Что же? Ведь желания – мучительны, не так ли? И ясно: счастье – когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем – ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем – конечно, минус – божественный минус.

Я – помню – растерянно пробормотал:

– Абсолютный минус – 273°...

– Минус 273 – именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы – на вершине.

Как тогда, давно – она говорила как-то за меня, мною – развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое – я не мог – и с усилием вытащил из себя «нет».

– Нет, – сказал я. – Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко – слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края – отступилась – вниз. Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе – и ничего нет: только ее острые, горячие губы.

– Прощай!

Это – издалека, сверху, и дошло до меня не скоро – может быть, через минуту, через две.

– Как так «прощай»?

– Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, – разве тебе не было мучительно? А теперь Операция – и ты излечишься от меня. И это – прощай.

– Нет, – закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

– Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...

– Ну, что же, я жду – выбирай: Операция и стопроцентное счастье – или...

– «Не могу без тебя, не надо без тебя», – сказал я или только подумал – не знаю, но I слышала.

– Да, я знаю, – ответила мне. И потом – все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская моих глаз. – Тогда – до завтра. Завтра – в 12: ты помнишь?

– Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

– Тем лучше для нас. В 12 – послезавтра...

Я шел один – по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал – как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели – сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных – но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасенья уже нет, я не хочу спасенья...

Запись 32-ая.
Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА.

Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смертен, я – человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случалось ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, – будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите – и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете...

То же самое – да, именно то же самое – сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту – и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то не верю – или, может быть, мне кажется, что двадцать четыре часа – это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «Интеграл». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю – что надо ухватиться за поручень – и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «Интеграл» страшной взрывной

пищей для двигателей. И внизу на реке – я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско – как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя – вдруг говорит:

– Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну, три с половиной часа...

Передо мною – в проекции, на чертеже – моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

– Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра – –

И я вижу со стороны – как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

– Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это – на неделю. Куда – на неделю: больше!

– Мало ли что... кто знает...

– Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти – и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду, – ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там, в конце проспекта. Башенный шпиц – в тучах – тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда – рядами, по четыре. Но ряды – какие-то непрочные, и, может быть, от ветра – колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу – длинные, гусиные шеи.

– Глядите! Нет, глядите – вон там, скорей!

– Они! Это они!

– ...А я – ни за что! Ни за что – лучше голову в Машину...

– Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудиториуме – широко разинута дверь, и оттуда – медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем, «человек» – это не то: не ноги – а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди – а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое

знамя с вышитым золотым солнцем – и в лучах надпись: «Мы первые! Мы – уже оперированы! Все за нами!»

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу – и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом – они все также, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево, дом. Вот – они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку – растянулись в цепь, лицом к нам. И мы – напряженный, ощетинившийся головами комок – ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись – и на нас – все быстрее – как тяжелая машина под гору – обжали кольцом – и к разинутым дверям, в двери, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

– Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены – еще узенькие живые ворота, все – туда, головами вперед – головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне – двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши – и уж его нет, сквозь землю – и я один – среди секундных рук, ног – бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд – спиною крепко к дверям – и тотчас же ко мне, как ветром, прибило маленькую человеческую щепочку.

– Я все время... я за вами... Я не хочу – понимаете, – не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я – над ней, глажу ее по голове, по лицу – руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она – совсем маленькая, – маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу – сквозь руки, закрывающие лицо, – еле слышно:

– Я каждую ночь... Я не могу – если меня вылечат... Я каждую ночь – одна, в темноте думаю о нем – какой он

будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить – понимаете? И вы должны – вы должны...

Нелепое чувство – но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое – потому что этот мой долг – еще одно преступление. Нелепое – потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление – не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

– Ну, хорошо – только не надо, только не надо... – говорю я. – Вы понимаете: я должен повести вас к I – как я тогда предлагал – чтобы она...

– Да (– тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем – или, может быть, об одном и том же – по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке – я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся – среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом свете мостовой туч – увидел S. Тотчас же у меня – посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю O – что завтра... да, завтра – первый полет «Интеграла», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

O – изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова – я говорю, говорю. А внутри, отдельно – это слышно только мне – лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I – ...»

Вместо того, чтобы свернуть влево – я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину – нам троим: мне, O – и ему, S сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной, искр. Ветер гудит – как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас – сзади все время – –

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала было что-то:

– Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь – и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком – знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом – плотная кучка нумеров – какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила, – поодиночке сбегают вниз. Но это – потом, потом... А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиною к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О – медленно оседала в своем кресле, – будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые – засасывающие синей пустотой – глаза. Устало:

– Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

– Нет... Тише! Смотрите туда: видите – за стеной?

– Да. Тень.

– Он – все время за мной... Я не могу. Понимаете – мне нельзя. Я сейчас напишу два слова – вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой – снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках – чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

– Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла – два шага – и быстро повернулась – и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся – глазами, губами – вся – одно и то же, одно и то же мне какое-то слово – и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной – не оглядываясь, быстро – все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующе раздувая жабры, она сказала мне:

– Вы понимаете – все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека – голый и весь покрыт шерстью...

Из густой, ощетинившейся головами кучки – голос:

– Да! И еще раз повторяю: видел, да.

– Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» – у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?»

Но взглянул на свои волосатые руки – вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и...»

Нет: к счастью – не бред. Нет: к несчастью – не бред.

Запись 33-ья.
Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА, НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ.)

Этот день – настал.

Скорей за газету: быть может – там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас – как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь в руках – это постороннее, это инструмент).

Там – крупно, во всю первую страницу:

«Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы – все нумера явятся для Операции. Неявившиеся – подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть – разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции я протянул руку (инструмент) к книжной полке – вложил сегодняшнюю Газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

«Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату, – я уже никогда больше, никогда...»

И газета из рук – на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собою – я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I – а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две – нелепо жду какого-то чуда, быть может – зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу – в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте – вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой, – показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

Запись 34-ая.
Конспект:

ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ.

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно – вместе с нею – оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу – в миллион раз легче. А теперь – что же? Пойти и задушить эту – – Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось – хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг – и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов – пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на «И н т е г р а л» – все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб – крошечные муравьиные люди внизу – возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании – какие-то над таблицами и инструментами – вероятно, командированные Научным Бюро. И возле них – Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица – серые, осенние, без лучей.

– Ну, что? – спросил я.

– Так... Жутковато... – серо, без лучей улыбнулся один. – Может, придется спуститься неизвестно где. И вообще – неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них – на них, кого я, вот этими самыми руками, через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» – история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь[1]. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях – и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки, вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

– Я только проверю в машинном, – сказал я, – и потом – в путь.

О чем-то меня спрашивали – какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, – внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике – одно попало мне туда, внутрь – и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья – тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты – несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) – будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела – слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни – все дрожит...

---

[1] Это давно, еще в III веке после Скрижали.

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда – за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь... Куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

– Вверх – 45°!

Глухой взрыв – толчок – бешеная бело-зеленая гора воды в корме – палуба под ногами уходит – мягкая, резиновая – и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду – все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось – выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом – мгновенная ватная занавесь туч – мы сквозь нее – и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили – синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот – жуткая, нестерпимо яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было – немое – солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох – что все кругом оробели, притихли. А мне – мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог – и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

– Так держать, – крикнул я в машину – или не я, а тот самый граммофон во мне – и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью – побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию – та самая: через час она тяжко звякнет, замкнется... Возле двери – какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные,

до колен: будто по ошибке, наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

– Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть – так нужно. И я сверху, намеренно резко:

– Я Строитель «Интеграла». И я – распоряжаюсь испытаниями. Понял?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами – объезженные серой щетиной головы – и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть – одним взглядом – и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в не перестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи – стрелки на циферблатах...

И вот – наконец – возле тахометра – он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

– Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо). – Она здесь? Где она?

В тени – исподлобья – улыбка.

– Она? Там. В радиотелефонной...

И я – туда. Там их – трое. Все – в слуховых крылатых шлемах. И она – будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая – как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице – это от нее, и от нее здесь – легкий, молнийный, озонный запах.

– Кто-нибудь... нет, хотя бы – вы... – сказал я ей, задыхаясь (от бега). – Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной – маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

– Ну что же? Что же будет?

– Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная – лететь – все равно куда... И вот скоро 12 – и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть – на траве, на сухих листьях...

От нее – синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне – еще чаще.

– Запишите, – говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). – Время 11.30. Скорость: 6800...

Она – из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

– ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю – я все знаю: молчи. Но ведь ребенок – твой? И я ее отправила – она уже там, за Стеною. Она будет жить...

Я – снова в командной рубке. Снова – бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

– Стоп, – крикнул я в машину.

Все еще вперед – по инерции – но медленней, медленней. Вот теперь «Интеграл» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул – и «Интеграл», как камень, вниз – все быстрее. Так в молчании минуты, десятки минут – слышен пульс – стрелка перед глазами все ближе к 12. И мне ясно: это я – камень, I – земля, а я – кем-то брошенный камень – и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги... А что, если... – внизу уже твердый, синий дым туч... – а что, если...

Но граммофон во мне – шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» – камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка – два кормовых и два носовых – только, чтобы парализовать вес «Интеграла», и «Интеграл», чуть вздрагивая, прочно как на якоре – стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас – 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо залпом глотали неведомый, застенный мир – там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка – какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец – должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

– Глядите, глядите! Вон там – правее!

Там – по зеленой пустыне – коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них – те, караковые, белые, вороные...

Сзади меня:

– А я вам говорю: – видел – лицо.

– Подите вы! Рассказывайте кому другому!

– Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...

И в пустыне – заполняя всю ее, и всего меня, и всех – пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту – 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки – мир. На ступеньках – чья-то звонкая золотая бляха – и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: «А я говорю – лицо!» Темный квадрат: открытая дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остроулыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы, и передние ряды уже двинулись – квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

– Стойте!

В ладонь мне впились пальцы – это I, это она рядом:

– Кто? Ты знаешь его?

– А разве... а разве это не...

Он – на плечах. Над сотнею лиц – его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

– От имени Хранителей... Вам – кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня – вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших нумеров – но мы знаем все. «Интеграл» – вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же – вы теперь не посмеете шевельнуться, – вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стеклянные плиты под ногами – мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее – совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы – на ухо мне:

– А, так это вы? Вы – «исполнили долг»? Ну, что же...

Рука – вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылатый шлем – где-то далеко впереди. Я – один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

«Но ведь не я же – не я! Я же об этом ни с кем, никому, кроме этих белых, немых страниц...»

Внутри себя – неслышно, отчаянно, громко – я кричал ей это. Она сидела через стол напротив – и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней – чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это – I):

– «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова – показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею – и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме – я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом – в руках у меня командная трубка, и лет – в ледяной, последней тоске – сквозь тучи – в ледяную звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И, очевидно, во мне все время лихорадочно, полным ходом – мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним – жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто, кроме нее, – мне все ясно...

Ах, только бы – только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню – что-то громко говорил ей, и помню – она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный, – издалека:

– Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

– Время – 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла» остановлено, мы падаем, и у меня сердце – не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака – и потом далеко зеленое пятно – все зеленее, все явственней – вихрем мчится на нас – сейчас конец – –

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно, это он – толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая – туманно услышал:

– Кормовые – полный ход!

Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.

Запись 35-ая.
Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО.

Всю ночь не спал. Всю ночь – об одном...

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я – в одном и том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю, – а потом пойти к той и сказать: «Теперь – веришь?» Противней всего, что убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову – от этого странное ощущение чего-то отвратительно сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневой шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня – до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница – бесконечная, ступени – какие-то противно-скользкие, жидкие, все время – вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток – к контрольному столику – –

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня – все работы отменены; все должны на Операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе – и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице – вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда – и ни одного слова, только бессмыслица: пуг – скак – как –. На улице – вот, такая же рассыпанная, не в рядах, толпа – прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке – мужчина и женщина – в поцелуе, стоя – она всем телом сломанно отогнулась назад. Это – навеки, последний раз...

На каком-то углу – шевелящийся колючий куст голов. Над головами – отдельно, в воздухе – знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) – я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри – только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем – – ». И на секунду – ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком...

Теперь – мальчишка: весь – вперед, под нижней губой – тень. Нижняя губа – вывернута, как обшлаг засученного рукава – вывернуто все лицо – он ревет – и от кого-то со всех ног – за ним топот...

От мальчишки: «Да, Ю – должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

– Не идут! Поезда сегодня не идут! Там –

Я спустился. Там был – совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине – голос. Ее – не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос – и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

– Пустите же! Пустите меня туда! Я должен – –

Но чьи-то клещи меня – за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине – голос:

– ...Нет: бегите наверх! Там вас – вылечат, там вас до отвалу накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, – разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви,

мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее – наверх – к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело – если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, я хочу хотеть сама, – если я хочу невозможного...

Другой голос – медленный, тяжелый:

– Ага! Невозможного? Это значит – гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы – за хвост да под себя, а потом...

– А потом – слопаете, захрапите – и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед – перед мордой, к оглобле, привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она, – и в тот же момент все посыпалось, стиснулось – сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыгнул, погас – кто-то перерезал провод – и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки – сумерки – все светлее – и мы снова на улице веером, в разные стороны...

И вот – один. Ветер, серые, низкие – совсем над головой – сумерки. На мокром стекле тротуара – очень глубоко – опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке – тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная – ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил, – закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой – шишковатая лысина, и лоб – огромная желтая парабола. Морщины на лбу – ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами – и тогда я чувствую: эти желтые строки – обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю – сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко,

что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише – и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

– Ах, дорогой, – так это правда, вы ранены? Я как только узнала – сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет – сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа – желтые, пристальные морщины – обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней – если он будет смотреть... Я нажал кнопку – пусть никакого права, разве это теперь не все равно, – шторы упали.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее – и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

– Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... – она пятилась задом – села, вернее, упала на кровать – засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все также крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу – двигалась только одна рука – схватил шток.

– Умоляю вас! День – только один день! Я завтра – завтра же – пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся – –

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

– Ради... ради... Я согласна – я... сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу – просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы – это для того, чтобы – что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне лопнула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех – самое страшное оружие: смехом можно убить все – даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся – отчаянным, последним смехом – и не видел никакого выхода из всего этого

нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем – но вдруг новая, внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? – и в трубку чей-то незнакомый голос:

– Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали – тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней – и вот...

– Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне!

Динь, – трубка повешена, – динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее – сквозь зубы:

– Ну! Скорее – скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок, глаза круглые, вся повосковела.

– Как?

– Так. Ну – одевайтесь же!

Она – вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

– Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это – я, это – во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней – стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

– Слушайте... Ее имя – вы знаете, о ком – вы ее называли? Нет? Только правду – мне это нужно... мне все равно – только правду...

– Нет.

– Нет? Но почему же – раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней – вдруг наизнанку, как у того мальчишки – и из щек, по щекам капли...

– Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу – я не могла бы!

Я понял: это – правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-ая.
Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ.

Тут странно – в голове у меня, как пустая белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) – ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся – уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки – на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо – где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты, – он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

– Итак – вы тоже? Вы – Строитель «Интеграла»? Вы – кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы – чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки – опять белая страница: только в висках – пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово – медленно поползла – на меня уставился палец.

– Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

– Так, – покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

– Что же? Вы думаете – я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни – вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие – внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, – самая трудная, самая важная? Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии – Бог – должен еще щедрее

вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, – разве Он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки – поймите это, все-таки этого Бога веками славили, как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда – дикий, лохматый – он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству – непременно бесчеловечна, и непременный признак истины – ее жестокость. Как у огня – непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, – доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли – только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

– Если это значит, что вы со мной согласны, – так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди – с самых пеленок – молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, – и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там – блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) – ангелы, рабы Божьи... И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (– Его рука сжалась: если бы в ней был камень – из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски – в этот самый момент вы – вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я – весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать, – это еще... страш...

Вдруг:

– Вам сколько лет?

– Тридцать два.

– А вы ровно вдвое – шестнадцатилетние наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им – мы еще не знаем их имен, но

уверен, от вас узнаем, – что им вы нужны были только как Строитель «Интеграла» – только для того, чтобы через вас...

– Не надо! Не надо! – крикнул я.

...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля – уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

– Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... – и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю – в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся – поднял глаза. Передо мной сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине – мелкие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!»

Тут – снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно – ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик – должно быть, мне: «Эй, эй! Сюда, к нам!»

Потом – пустынная площадь, доверху набитая тугим ветром. Посредине – тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее – во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной – я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух – не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть, шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо – крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого – спасите!

Если бы у меня была мать – как у древних: моя – вот именно – мать. И чтобы для нее – я не Строитель «Ин-

теграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок – кусок ее же самой – истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть я прибиваю или меня прибивают – может быть, это одинаково – чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами, губы –

Запись 37-ая.
Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА.

Утром в столовой – сосед слева испуганно шепнул мне:

– Да ешьте же! На вас смотрят!

Я – изо всех сил – улыбнулся. И почувствовал это – как какую-то трещину на лице: улыбаюсь – края трещины разлезаются все шире – и мне от этого все больнее...

Дальше – так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку – и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи – какой-то огромный, до неба, железный круглый гул – через головы, через дома – и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел в мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) – кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И – беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины – все посыпались вниз, к лифтам – по лестнице – ступени – топот – обрывки слов – как клочья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект – как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

– Ага, – чей-то торжествующий голос – передо мною затылок и нацеленный в небо палец – очень отчетливо

помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя – белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи – и окрашенные тучами темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб – и еще дальше – там, на западе, что-то похожее – –

Сперва никто не понимал, что это – не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте – еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли – наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

– Ага-а, – торжествующий затылок повернулся – я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него – около глаз, около губ – пучками волос росли лучи, он улыбался.

– Вы понимаете, – сквозь свист ветра, крыльев, карканье, – крикнул он мне. – Вы понимаете: Стену – Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры – головы вытянуты – бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой – быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда – на запад.

...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

– Слушайте: где она – где I? Там, за Стеной, – или... Мне нужно – слышите? Сейчас же, я не могу...

– Здесь, – крикнул он мне пьяно, весело – крепкие, желтые зубы... – Здесь она, в городе, действует. Ого – мы действуем!

Кто – мы? Кто – я?

Около него – было с полсотни таких же, как он – вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых,

крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), – они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход – параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен – в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бесстыдно совокуплялись – даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом – ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком – пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро – как колесные спицы – цифры на дверях: 320, 326, 330... I–330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перепутано, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул – ничком, всеми четырьмя ногами вверх – как издохшая скотина. Кровать – как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу – ссыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 – на всех был я – капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул – и... засмеялся.

Раньше я этого не знал – теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это – это только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть – это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть – взлетели вверх клочья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил – только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них – на себя – каблуком – вот так, так – и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери – все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Ста-

рик: лицо – как проколотый, пустой, осевший складками пузырь – и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко – я спохватился и окликнул его:

– Послушайте – послушайте, вы не знаете: нумер I-330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой – и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

Я лег на кровать – и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

Запись 38-ая.
Конспект:

(НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЕСЬ КОНСПЕКТ – ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА.)

Очнулся – яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове – какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

«Но ведь я не зажигал свет – как же...»

Я вскочил – за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I...

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять – пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки – и может быть, она засмеется и скажет...

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

– Ты, ты! Я был – я видел твою комнату – я думал, ты – –

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сей-

час же все, в одну секунду, суметь сказать ей – так, чтобы поверила – иначе уж никогда...

– Слушай, I, – я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас – я только выпью воды...

Во рту – сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду – и не мог: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок – это от папиросы. Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым – так же, как я воду, и сказала:

– Не надо. Молчи. Все равно – ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу, – меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье – медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон – вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они – сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута – из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке – закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас – не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее – все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз – это я заметил):

– Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

– Да, правда.

И тогда глаза распахнулись – и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только – не знаю, почему... нет, неправда, знаю – только об одном промолчал – о том,

что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно – поставил стакан на стол и спросил:

– Ты за этим и приходила – потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня – острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои – чужие – ноги, задел стул, – он упал ничком, мертвый, как там – у нее в комнате. Губы у нее были холодные – когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла – я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой – –

Я не могу больше писать – я не хочу больше!

Запись 39-ая.
Конспект:

КОНЕЦ.

Все это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась, иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено – и завтра утром я с д е л а ю э т о. Было это то же самое, что убить себя – но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе – еще со вчерашнего – стоял стакан с

водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо – пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха – тонкое – страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое – во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе –

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой – откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху – перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот – головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит...

Потом – пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские, и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом, зубы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда – я перешагнул через него и побежал – потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе – я чувствовал – сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью – это было уже в двадцати шагах, уже вывеска – золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху, сколько мог, – и вошел.

Внутри, в коридоре – бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два – и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их – как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

– У него живот болит! Проводите его в уборную – вон, вторая дверь направо...

И на меня – смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал – вот-вот прорвет тонкий чехол.

– Зачем вы здесь? – спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

– Скорее – к вам в кабинет... Я должен все – сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал е е, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла по полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово – все равно какое – самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, – я сказал (не глядя):

– Мне кажется – я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся... А впрочем – нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас – даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

– Да, знаю.

– Но то, что Он сказал мне... Поймите же – это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол – и вы со всем, что вот тут на столе – с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся и все в кляксу...

– Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я – захлебываясь, путаясь – все, что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лох-

матом, и то, что она сказала тогда о моих руках – да, именно с этого все и началось, – и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там – за Стеною...

Все это – несуразными комьями, клочьями – я захлебывался, слов не хватало. Кривые двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова – я благодарно кивал: да, да... И вот (что же это?) – вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так именно и было, да, да!»

Я чувствую: как от эфира – начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

– Но как же – но этого вы ниоткуда не могли...

У него усмешка – молча – все кривее... И затем:

– А знаете – вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите – нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду – вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг – мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он – он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил, принес сюда, как подвиг, – все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам – весь в холодном поту – уже замахнулся ножом над своим сыном – над собою – вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил...»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу – себя всего – схватил в охапку – и мимо криков, ступеней, ртов – опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь – по чьей-то иронии – все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это – осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом – будут только «мифы»...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую – кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб – огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

– Я вас понимаю, вполне понимаю, – сказал он. – Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

– Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен – то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль – это мы знаем – то, следовательно, Вселенная – конечна, она – сферической формы и квадрат вселенского радиуса, y^2 = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо – подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все – конечно, все просто, все – вычислимо; и тогда мы победим философски, – понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы – кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен, его открытием или его твердостью в этот апокалиптический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) – оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги – и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку – так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

– Слушайте, – дергал я соседа. – Да слушайте же, говорю вам! Вы должны – вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там – дальше?

Ответить он не успел; сверху – по ступеням – топот – –

Запись 40-ая.
Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН.

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал – или воображал, что чувствую это?

Почерк – мой. И дальше – тот же самый почерк, но – к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь – я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка – есть нормальное состояние нормального человека).

Факты – таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность вселенной, и меня, и всех, кто был с нами, – взяли, как не имеющих удостоверения об Операции – и отвезли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума – почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день – за одним столом с Ним, с Благодетелем, – я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие – то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух – она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты – это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, – смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащи-

ли, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза – и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя – потому что в западных кварталах – все еще хаос, рев, трупы, звери и – к сожалению – значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте, удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь – мы победим. Больше: я уверен – мы победим. Потому что разум должен победить.

<1921>

БИЧ БОЖИЙ

1

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днем падали в цене. Вечное, бессмертное золото вдруг стало больным, люди потеряли в него веру. Это было последнее, ничего прочного в жизни больше не оставалось.

Прочной перестала быть самая земля под ногами. Она была как женщина, которая уже чувствует, что ее распухший живот скоро изрыгнет в мир новые существа – и она в страхе мечется, ее бросает в холод и в жар.

Была зима, когда птицы замерзали на лету и со стуком падали на крыши, на мостовую. Потом настало такое лето, что деревья цвели три раза, а люди умирали от лихорадочного жара земли. В июльский день, когда земля лежала с черными, пересохшими, растрескавшимися губами, по ее телу прошла судорога. Земля выла круглым, огромным голосом. Птицы с криком носились над деревьями и боялись на них сесть. Молча падали стены, церкви, дома. Люди бежали из городов как животные и стадами жили под открытым небом. Время исчезло. Никто не мог сказать, сколько часов или дней это длилось.

Вся покрытая холодным потом, земля наконец затихла. Все бросились в церкви. Сквозь трещины в сводах

зияло раскаленное небо. Пламя свечей пригибалось от человеческих испарений, от тяжести выбрасываемых вслух человеческих грехов. Бледные священники кричали с амвонов, что через три дня мир разлетится в куски, как положенный на угли каштан.

Этот срок прошел. Земля по временам еще чуть-чуть вздрагивала, но она уцелела. Люди вернулись в дома и начали жить. По ночам они знали, что все прежнее кончилось, что теперь жизнь надо мерить месяцами, днями. И они жили бегом, коротко, задыхаясь, спеша. Как богач перед смертью торопится все раздать, так женщины, не жалея, раздавали себя направо и налево. Но они теперь не хотели больше рожать детей, груди им стали не нужны, они пили лекарства, чтобы стать безгрудыми.

И как женщины – незасеянными, бесплодными оставались поля. Деревни пустели, а города переливались через край, в городах не хватало домов. Было нечем дышать, но в театрах и в цирках не замолкала музыка, огни не потухали всю ночь, красные искры сверкали в шелку, в золоте, в драгоценностях – и в глазах.

Эти глаза были теперь всюду. Лица были желтые, мертвые, и только как уголья горели глаза. Они жгли. Они тройными кострами обкладывали подъезды театров, церквей, богатых домов. Они молча смотрели на выходящих. Всем запомнилась одна женщина: она держала на руках завернутого в лохмотья ребенка с почерневшим лицом, она считала его за живого, она его баюкала. Мимо нее бежали, зажимая носы надушенными платками, бежали скорее жить, чтобы до конца еще успеть истратить свое золото, тело, душу. Пили вино, прижимали губы к губам, кричали музыкантам: «Громче!» – чтобы не думать, не слышать...

Но однажды ночью услышали: земля снова завыла. Она, как роженица, судорожно напрягла черное чрево, и оттуда хлынули воды. Море с ревом бросилось на столицу и тотчас же опрокинулось назад, унося дома, деревья, людей. Когда рассвело, головы еще виднелись в розовой пене, затем пропали. Взошло солнце. На крыше дома боком лежала барка, ее дно было зеленое от водорослей, они свисали, как женские волосы, с них текли

ручьи. Огромные серебряные рыбы, сверкая, бились на мостовой. Голодные толпы с криком хватали их, убивали о камни и уносили, чтобы есть.

Все ждали новой волны – и скоро она пришла. Как и в первый раз, она поднялась на Востоке и покатилась на Запад, сметая все на пути. Но теперь это было уже не море, а люди.

О них знали, что они живут совсем по-другому, чем все здесь, в Европе, что у них зимою все белое от снега, что они ходят в шубах из овчины, что они убивают у себя на улицах волков – и сами как волки. Оторвавшись от Балтийских берегов, от Дуная, от Днепра, от своих степей, они катились вниз – на юг, на запад – все быстрее, как огромный камень с горы.

От каменного топота тысяч лошадей земля глухо выла, как во время землетрясения. Была ранняя весна, в итальянских долинах деревья стояли круглые и белые от цветов, листьев еще не было. Конники скакали, сбрасывая с себя овчины и смешивая свой запах с дыханием миндального цвета. Их вел Радагост, названный так по имени бога руссов. Одно ухо у него было отрублено, и потому он никогда не снимал волчьей шапки. Римляне бежали от него, не оглядываясь, у римских солдат уже давно кубки были тяжелее их мечей.

Но золото в Риме еще было, золотом была куплена помощь Улда, князя хунов, которых многие называли также скифами. Улд и его хуны стали на пути Радагоста. В полдень Улд приехал к римлянам, держа на копье бородатую голову в волчьей шапке. Шапка с нее свалилась, и все увидали, что одно ухо на ней отрублено. Улд услышал, как римляне били в свои щиты и кричали ему навстречу. Слова были чужие, он разобрал только свое имя. Но и оно у римлян стало мягким, как мясо, сваренное для стариков в воде: «Ульд! Ульд!» Ему стало смешно, он кашлял от смеха, так что голова с его копья упала в белую пыль. Ее подняли и положили в винный мех, наполненный уксусом, чтобы сохранить ее и показать римлянам в день триумфального шествия Улда.

Этот день был назначен сенатом на 12 апреля. Год от Рождества Христова был 405.

Черная апрельская ночь. Закутанный в ночь Рим не был виден, его многоэтажные громады обозначались только вырезанными во мраке красными отверстиями окон. Дома вздрагивали, посуда звенела. По каменным мостовым всю ночь громыхали военные повозки, тысяченого топали императорские гвардейцы. Рим готовился. Никто не знал, чем кончится завтрашний день, когда город будет наводнен полчищами хунов Улда и буйной чернью столицы. Перед вечером, как обычно, пролетариям выдавали хлеб, они стояли длинной очередью. Хлеба на всех не хватило. Толпа зажгла три городские пекарни, одна из них еще догорала за мостом. На красном небе зубцы замка св. Ангела были угольно-черные.

Когда взошло солнце, человеческие потоки с окраин хлынули в центр. Узкие улицы нещадно сжимали пахнущую лохмотьями и потом толпу, вверху между семиэтажных домов была синяя трещина вместо неба. Люди текли, они заливали все, как лава. Чья-то голова на длинной гусиной шее вертелась над толпой во все стороны. В подъезде на ступенях египетский монах с бритым черепом встряхивал голубые мешочки. «Небесное лекарство – пыль с могилы святого Симеона – наилучшее небесное слабительное!» В толпе старуха закричала: «Продавай это тем, кто обожрался!» В монаха попал камень, он исчез. От старухи пахло вином, у ней было расстегнуто платье, виднелись высохшие длинные груди. Она стала проклинать монахов, апостола Петра, Юпитера, святую Деву. В толпе вертелась голова на гусиной шее. Люди текли. Откуда-то со дна вынырнула грязная рука, на ней сидел розовый попугай, он пронзительно крикнул: «Граждане, я – ветеран!» Попугая держал на руке солдат с прислушивающимся, поднятым вверх лицом, глаз у него не было, они были выжжены на войне. Ему стали бросать деньги в корзинку. Старуха проклинала императорских солдат, она вспомнила о самом императоре, о его сестре: эта курва Плацидия спит со своим братом...

Внезапно она замолчала, обернулась. Человек с гусиной шеей схватил ее за плечо и сказал: «Ты пойдешь со мной». Уже совсем недалеко внизу был виден мост, в открытых воротах замка св. Ангела – солдаты префекту-

ры. Улица шла вниз, под ногами были ступени, все спотыкались, но упасть никто не мог: шли так тесно, что каждый чувствовал плечи, локти, дыхание соседей. Человек с гусиной шеей раскрыл рот, чтобы крикнуть, – и не успел. Его длинная шея согнулась, голова повисла: сзади в него воткнули нож. Он не мог упасть, он медленно шел мертвый в толпе, голова у него моталась, как у пьяного, кругом смеялись. Он упал только тогда, когда толпа перешла мост и разлилась по площади. Вдали, на Форуме, трижды пропели трубы: там уже началось.

Пять солнц сверкали в конце Форума – пять корабельных грудей, обшитых медью. Они плыли высоко над толпой, вделанные в мрамор ораторской трибуны. Там стояла сотня людей, женщин и мужчин, это были избранные. Дул ветер, им было холодно, на них снизу смотрели глаза. Кругом холодные колонны густо росли вверх, будто тяжелое синее небо грозило рухнуть и Рим хотел его подпереть. В мраморе чернели трещины от недавнего землетрясения, несколько колонн уже упало, и упало несколько статуй. На пустых пьедесталах, цепляясь друг за друга, сидели теперь люди в лохмотьях: им было сверху лучше видно.

На помост под трибуной взошел человек с каменной, сизой от бритья челюстью. По этой челюсти все сразу узнали его, это был префект. Он говорил, выбрасывая в толпу слова, как камни из пращи. «Его вечность, император...» – «Громче!» – «Его вечность, император Гонорий болен лихорадкой, он отбыл в Равенну. Вместе с врачами заботы о больном разделяет его сестра, божественная Августа Плацидия...» Внизу пробежал шепот, смешки. Префект перечислил императорские милости, он объявил, что сегодня рукою консула будет освобождено пятьдесят рабов – в честь триумфатора Улда.

Это имя упало на толпу как ветер: «Ульд! Ульд!» Белые ладони всплескивали над головами, ничего не было слышно, кроме этого имени: «Ульд». В конце живой улицы, огороженной императорскими гвардейцами, шли певчие в фиолетовых одеждах, они, должно быть, пели, рты у них были беззвучно раскрыты, как на картине. Фиолетовый епископ, благословляя, поднял руку, на перстне у него блеснул камень. За ним шел консул и римские вла-

сти. Ветер бросал им пыль прямо в глаза, толпа навстречу им бросала варварское имя. «Ульд! Ульд!», они нагибали головы.

Вдруг все стихло. В тишине было слышно, как фыркает от пыли лошадь, но ее никто не видел, все смотрели вверх: там, покачиваясь, плыла голова, поднятая на копье. Одно ухо у ней было отрублено, на опущенных веках сидели мухи, ветер трепал рыжую бороду. Оскалив зубы, голова улыбалась римлянам, по спинам у них бежал холодок. Потом, как стадо, гнали пленных. У них были такие же бороды, черные, рыжие, и такие же оскаленные белые зубы.

Обгоняя шествие, к пленным подъехал конник. Это был тоже варвар. На нем были широкие кожаные штаны. Его лошадь фыркала от пыли розовыми ноздрями. Он нагнулся с коня и что-то сказал пленным, они засмеялись. Он проехал мимо них вперед.

На громыхающих двуколках везли неприятельское оружие, по ветру летели варварские знамена из конских хвостов. И, наконец, сзади трофеев заблестела золотом триумфальная колесница, запряженная четверкой белых коней. Все жадно вытягивались, поднимались на носки, чтобы увидеть *его*.

Но золоченая колесница была пуста. Толпа растерянно молчала. Никто не понимал, что это значит. На помосте, ожидая триумфатора, стоял римский консул, видно было его высохшее, темное лицо и волосы, зимне-белые. Внизу кто-то крикнул: «Обманули!» Толпа загудела, шпалеры гвардейцев зашатались. В ту же минуту консул спустился по красным ступеням помоста и протянул руку, в руке был венок из лавров. Варвар в кожаных штанах нагнулся с коня и взял венок. Тогда все поняли, что это и был триумфатор Улд. Это имя опять взлетело над Форумом, весь Форум закипел, ладони плескали: «У-ульд! У-ульд! У-ульд!»

Он теперь стоял уже на помосте и смеялся, ему было смешно мягкое «Ульд». На нем была шапка из белой кожи, он не снял ее, венок он держал в руке. Консул отошел от варвара в сторону, потому что от него пахло кожей, потом. Горбун переводчик с синей дворцовой перевязью через плечо бегал от консула к Улду, он показал Улду на выстроившуюся перед помостом длинную шеренгу рабов. Улд ничего не говорил, он кивнул горбуну и взял лавро-

вый венок под мышку, чтобы почесаться. Над головой у него на ораторской трибуне засмеялись. Он оглянулся, зрачки у него были узкие, кошачьи.

Префект, двигая сизой челюстью и заглядывая в список, стал по одному выкликать освобождаемых рабов. Первым поднялся на помост молодой раб, еще почти мальчик, кожа на лице у него была по-девичьи белая. Консул, исполняя обычай, поднял коричневую сухую руку и ударил его по щеке. Раб стал свободным, в глазах у него темнело, он, спотыкаясь, бежал вниз. На его белой коже были видны красные пятна от удара. «Сюда, сюда!» – кричали ему из толпы. Он кинулся в толпу, закрыв глаза, все еще не веря. К консулу уже подходил следующий.

Этот был широкоплечий, высокий, но он шел согнувшись, как будто нес на плечах тяжесть. Слева на черной голове у него было похожее на серебряную монету пятно седых волос. Он так дрожал, что его голые коленки стукались одна о другую. Консул заметил это, он удивленно посмотрел на раба. Налетел ветер и завернул перекинутый через локоть край консульского плаща. Консул поправил плащ, потом резко поднял руку, чтобы ударить раба по щеке.

Внезапно раб стал на голову выше консула: он выпрямился и схватил консула за руку. Так они стояли секунду, как вырезанные из мрамора. Толпа замерла. Консул отдернул свою руку, будто обломив ее. Два солдата схватили раба. Он громко закричал, внизу подхватили, толпа качнулась и, прорвав цепь гвардейцев, хлынула к триумфальному помосту, к ораторской трибуне. Это были два маленьких острова, было ясно, что они сейчас будут затоплены.

К краю помоста подошел Улд. Он положил два пальца в рот и длинно, пронзительно свистнул. Толпа дрогнула, как взбесившийся конь от удара бича, и остановилась. Улд снял с себя белую шапку и надел на голову лавровый венок. Толпа захлопала, нестройно, неуверенно. Громче всех, забыв о приличиях, хлопала публика на ораторской трибуне, женщины оттуда бросали Улду цветы. Консул торопливо кончил церемонию освобождения рабов.

По красным ступеням помоста поднимались теперь десятка два мальчиков, все были светловолосые, только

один был темный. Улду уже все надоело, его разморило солнцем, он сонно взглянул на мальчиков. Но тотчас же его глаза открылись шире, он весь повернулся к ним. Не отрывая от них глаз, он спросил что-то у горбуна-переводчика. Переводчик ответил, что это сыновья франкских и бургундских князей, они присланы отцами в Рим как заложники. Улд молча показал рукою на одного из них. Переводчик взглянул на Улда умными собачьими глазами, какие всегда бывают у горбунов, вытащил за руку мальчика с темной головой. На нем была белая рубашка, вышитая золотом по подолу, и широкие, завязанные у щиколоток штаны. Он стоял, нагнув голову, как будто на ней были рога. – «Да, он из твоей страны, – сказал переводчик Улду, – это сын хунского князя Мудьюга». – «Мудьюга? Я хорошо помню, у него было два сына. Как зовут этого?» – «Его зовут Атилла», – ответил горбун.

Улд подошел к мальчику и сказал ему что-то на своем языке. Атилла молчал, нагнув голову. Улд взял его за подбородок и поднял вверх его лицо. Мальчик как будто начал улыбаться, потом вдруг быстрым, как прыжок, движением вонзил зубы в руку триумфатора. От неожиданности или боли Улд громко вскрикнул и отскочил назад, из руки у него капала кровь, он зажал руку своей белой шапкой. Потом, не оглядываясь, быстро сошел с помоста, вскочил на коня и, пригнувшись, поскакал через Форум.

Тишина была такая, что было слышно, как копыта его коня падали на камень. И только когда он исчез, толпа опомнилась, все разом заговорили, все спрашивали друг друга:

«Что это значит? Что это за звереныш? Почему он вдруг укусил его?» Никто не знал.

2

Из степей прибежали суслики. Их было множество, они были жирные, их жарили на огне и ели. Потом люди, один за другим, стали пухнуть, чернеть, умирать. Тогда Мудьюг понял, что надо бросить все и уйти отсюда, чтобы не умереть всем.

Это был уже конец зимы, снег не скрипел больше, от лошадей шел пар. Они прошли к реке, которой имя было

Атил, ее называли также Ра и еще позже – Волга. Было близко утро. Заря висела на небе клочьями, как куски сырого мяса, и красными каплями падала на снег. Жена Мудьюга закричала так, что все остановились. Ее положили на войлок, на снегу она раздвинула ноги, ее распухший живот сотрясали судороги. Плечи у ребенка были такие широкие, что он, выходя, разорвал у матери все, и она умерла. По имени реки отец назвал его Атилла.

Они шли дальше и шли всю весну так, чтобы солнце садилось у них перед глазами, а вставало сзади них. Когда Мудьюг видел дым, он приказывал сворачивать в сторону, он не хотел биться с людьми, потому что у него люди и лошади были усталые. Они остановились опять перед большой рекой, на ней были камни, белая вода с шумом била в них. Ночью на другом берегу небо стало распухшим и красным от огня, оно приподнималось и опускалось, собаки выли. К Мудьюгу привели двух людей, бороды у них были спалены огнем, они переплыли оттуда. Они сказали, что эту реку у них зовут Напр, а у римлян – Борисфен, и что готы к утру возьмут их город. Тогда хуны с шумом, как река, хлынули на другой берег и смыли готов. Мудьюг остался здесь князем.

Город был похож на череп. На макушке желтой и лысой горы, как венец, лежал дубовый тын, торчали рубленные из дерева башни. Под желтым лбом темнели пещеры, они остались от древних насельников, о которых никто ничего не знал. В одной пещере была теперь кузница, вечером она мигала красным глазом. Весь торг и жилье были на подо́ле, под горой, у самой воды. Огромная желтая плешь внутри города была пуста, там стояло только пять жилых срубов, в одном жил Мудьюг, в других его ближние кмети. Временами город внезапно наполнялся людьми, он гудел, как улей. Это значило, что окрест в лесах кричат готы, приложив губы к щитам, или авары подползают, пересвистываясь, как тысяча птиц.

На остриях левой стены, по вечерам, солнце торчало, как отрубленная голова, потом падало вниз. Вдоль всей стены стоял высокий, темный дом, на бревнах были вырезаны люди, звери и птицы. Обшитые медью ворота, открываясь, сверкали, из них выводили белого коня. Атилла долго не знал, что там внутри. Он учился стоять,

хватаясь за ноги стреноженных лошадей. Мир был ему как во сне, холодный или теплый. Теплым было молоко, теплой и круглой была грудь женщины, теплым был щенок, вместе с которым он спал. Холодным был брат, Бледа. Он был выше Атиллы, он холодными руками толкал его сзади, Атилла ударялся коленями и подбородком об пол. Он знал, что если лежать, то больше этого не будет. Но он всегда поднимался и снова падал, чувствуя на шее холодные руки.

В черной стене был белый четырехугольный глаз. Атилла стоял на скамье и смотрел наружу, в него вливалось желтое, зеленое, синее. Рядом с его лицом было другое. Вдруг оно задрожало, Атилла почувствовал это пальцами, он почувствовал также капли на щеке, они были теплые. Неизвестно отчего, его пальцы тоже стали дрожать, он водил ими по лицу. У женщины были большие, влажные и теплые губы, она прижималась губами, становилось тепло внутри. Это была Куна, жена Мудьюга. Оба, и Атилла, и Бледа, были не ее дети, но в тот день Атилла перестал для нее быть чужим. Свеон Адолб неслышно подошел сзади, взял мальчика под мышки и, смеясь, сказал: «Стыдно уж тебе быть с женщинами, пойдем со мною».

У Адолба был только один глаз и оттого он был как будто меньше других, он был как будто в том же мире, что и Атилла. Он дал Атилле стрелы и лук. Мальчик напряженно смотрел, как, впиваясь в стену, стрела долго дрожала. От камня стрелы прыгали вбок, щенок, лая, кидался за ними. Его черные уши болтались, он был весь теплый, желтый, от него пахло молоком. Атилла пустил в него стрелу – и попал. Щенок скакнул вверх, потом смешно повалился на бок, бок у него стал красным. «Хорошо», – сказал Адолб. Атилла, сев на корточки, напряженно смотрел. Щенок дергался, потом перестал, глаза у него были закрыты. Атилла толкнул его рукой, он хотел, чтобы щенок опять прыгал, но его щенок лежал, как камень. Атилла встал: «Что это?» – спросил он Адолба. «Ничего, издох, вот и все». Маленький, четырехугольный, нагнув лоб, думал Атилла, он не понимал, но ему стало холодно. «Тебе холодно?» – сказал он Адолбу. – «Почему холодно? Что ты!» – засмеялся Адолб. Атилла бросил лук наземь и побежал по ступеням вверх. Дома он лег у окна на лавку

и с открытыми глазами лежал до вечера. На другой день он обо всем забыл.

Утром, выйдя, он увидел, что ворота в том большом доме уже не блестят, потому что они открыты. Было еще рано, розовые капли висели на листьях. Из открытых ворот выбежал старик, у него было белое меховое лицо и белая рубаха, в руке зеленый веник. Он с шумом жадно втянул в себя воздух и опять вбежал внутрь. Внутри было пусто, темно, высоко, солнце косым ножом разрезало темноту. Потом глаза привыкли, Атилла увидел в глубине четыре красных столба и сквозь наполовину отдернутую занавесь огромные колени и ступни. Старик, согнувшись, мел около них пол, маленький, как муравей. Левой рукой он зажимал себе нос и рот, чтобы своим дыханьем не осквернить это место. Потом он выскочил наружу и снова стал дышать. Атилла стоял у входа, прижавшись к воротам щекой, он чувствовал холодную от росы медь. «Уходи, уходи отсюда скорей!» – закричал на него старик.

Днем все шумело людьми. Когда Адолб, держа за руку Атиллу, вел его по ступеням, под ногами у него шуршали колосья. Они вошли в открытые медные ворота, там всюду были люди, это было так же, как в реке, когда Атилла, купаясь, входил в нее и вода обнимала его со всех сторон. Все нагнули головы и зажали себе рукой дыханье. Адолб поднял Атиллу на плечо, он увидел, как медленно разошлась вправо и влево завеса на столбах. Там стоял огромный, выше Адолба, выше всех, человек с двумя головами, глаза у него блестели, ласточки метались над ним с писком. «Кто это?» – громко спросил Атилла. – «Ш-ш-ш... молчи!» В это время занавесь закрылась, все задышали с шумом. – «Это бог», – сказал Адолб. Атилла подумал и спросил: – «А ты?» – Адолб его не понял.

Потом все раздвинулись. В проходе шли и пели девушки, они были круглые, внутри становилось тепло. Они тащили за собой на веревке огромный хлеб. Сверху Атилле было видно, как утренний старик спрятался за этим хлебом и громко спросил: – «Видите вы меня?» – «Нет, не видим!» – весело закричали все. – «Пусть и в будущее лето хлеб закроет меня», – закричал старик. – «Я хочу есть», – сказал Атилла, и Адолб унес его.

Снаружи, за окном, весь вечер пели, Атилла слышал быстрый тяжелый топот, девушки, шутя или умирая, завизжали. Из окна пахло горячим хлебом, телом, землей. Дверь скрипнула, Атилла увидел белую, круглую руку, Адолб встал. Он подошел к Атилле, единственный его глаз горел. Он задернул мальчика занавеской. – «Я бог», – вспомнив, сказал Атилла. – «Спи, спи сейчас же!» И Атилла закрыл глаза.

Он увидел, что все – внизу, а он стоит огромный, и у него две головы... Потом все шумно задышали, от этого стало жарко. Атилла поднялся, откинул занавеску. Показалось, что в том углу, где вчера спал Адолб, было сейчас две головы, и там шептались. – «Адолб!» – хотел позвать Атилла, но не сделал этого, почему, – он сам не знал. Ему было жарко. Он сбросил с себя все и лег голый. Месяц упал на стену, бревно стало белое и круглое, как рука.

Кони ржали и стучали копытами о дощатый помост. Мудьюг вынул из-за пояса плеть с золотой рукоятью и поднял ее. Он уехал на большую охоту, чтобы привезти лосей, медведей. С ним пошли все, это было как война. Город стоял пустой, были только одни женщины: Адолб и старики остались, чтобы оберечь их. По целым дням в тишине шумел дождь. Потом земля, деревья, небо – все стало как из молока, это был снег. Под окном черная птица сидела на дереве, легкие капли молока летели мимо нее, она не шевелилась. Было слышно, как из огня падают на пол угли. Атилла кидал их в окно, чтобы спугнуть птицу, но она не улетала. Вошел Адолб, весь белый. Он сказал, что странник просит пищи и огня. Куна кивнула: «Пусть он войдет».

Когда странник поел, он сел ближе к огню, от его одежды пошел пар и запахло мокрой шерстью. Он не шевелился, как птица, и у него был такой же загнутый острый нос. «Откуда ты?» – спросила Куна. – «Я?» – Он подумал. – «Я с севера, от моря, где родится янтарь. Я везу янтарь в Константинополь, там римляне дают за фунт янтаря фунт золота... Ты знаешь, что такое золото?» – Он взял Атиллу за щеку, его руки царапали, как ветка от дерева. – «Я знаю», – сказал Бледа и раскрыл свой большой рот.

За окном на дереве все еще сидела птица, как будто чего-то дожидаясь. Падал снег. Странник рассказывал о Константинополе, где столько золота, что от блеска его люди слепнут, и рассказывал о народах, которые живут на востоке и на севере. Около Рифейских гор есть люди, плешивые от рождения, они питаются плодами, каждый живет под деревом и на зиму окутывает его белым войлоком. Еще выше на север лежит земля Югра, там люди на вид так ужасны, что их никто никогда не видит: они ночью кладут на снег шкуры голубых лисиц и уходят, а купцы, придя, кладут около свой товар и, взяв шкуры, бегут не оглядываясь. А около моря сидят лютичи, у них город Радагост треугольный, лютее их никого нет в бою, они живут без князя.

Из огня упал на пол черный уголек. Странник поднял его и раздавил пальцами. – «И еще вагры на острове Фембра, и руяне на острове Руя, где город Аркона на черной скале. Корабли у них – то же, что кони у вас, и их все боятся». – «И тебя тоже?» – спросил Атилла. Человек засмеялся и прикрыл рукою лицо, рука у него была в угле, на щеке остались черные пятна. Он поклонился Куне и сказал, что пойдет спать. Окно было завешено ночью, дерево стояло теперь синее, птицы на нем уже не было.

Они еще долго, одни, сидели у огня. Большой рот у Бледы был раскрыт, Атилла стоял, нагнув лоб, и думал, почему есть люди, которых никто не видел. Вдруг он почувствовал что-то, оглянулся, и ему показалось, что в окне мелькнуло лицо и щека с черными угольными пятнами. – «Смотри, смотри! – он схватил за платье Куну, – это он!» – «Кто?» – Куна вздрогнула. В окне никого не было, там была ночь... «Поди, вели, чтобы Адолб не спал», – сказала она женщине, которая положила себе на полу войлок.

Атилла натянул на себя мех, ему стало тепло, потом жарко, он бежал все быстрее. Стены шли треугольниками, никакого выхода, никаких ворот нигде не было. Он кинулся и изо всех сил застучал в стену, так что стало больно руке.

Руку ему изо всех сил стиснула Куна, она нагнулась над ним вся белая и говорила: – «Скорей, скорей!» – Он

увидел Адолба, Адолб стоял у окна на скамье, пригнув голову к левому плечу и изо всей силы натянув лук, за ногу ему уцепился Бледа и что-то кричал. Адолб отпихнул его ногой. – «Скорей, скорей!» – говорила Куна, плоская глиняная лампа в руке у нее тряслась, огонь, дымя, ложился, в дверь били чем-то тяжелым. Широкая доска в полу была поднята, из дыры несло холодом и чернотой. Куна бросила туда Атиллу, чьи-то руки подхватили его, доска захлопнулась. Он ничего не видел, он только слышал, как рядом с ним колотится чье-то сердце. Большие, теплые губы, дрожа, нашли его лицо, он понял, что это Куна. Над самой головой у них застучали ноги, мягко рухнуло об пол, шурша посыпалась сухая пыль, стало очень тихо.

Он опустил руку и почувствовал зерна, изо всех сил сжал их, они прошли между пальцев.

Тишина была только минуту, потом на дворе закричали:

– Арчь! Арчь! – Ночь снаружи обросла голосами, шумом, железом.

Сердце билось в лохматой, волчьей темноте, зерна шуршали меж пальцев. Опять сверху посыпалась пыль, над головой у них ходили. Они услышали закутанный в темноту, далекий голос.

– Это он! – и Куна опять больно сжала руку Атилле. В нем быстро возникло и исчезло лицо с черными от угля пятнами.

– Это он, он! – Куна вскочила, Атилла тоже встал, ноги у него по колено ушли в зерно. Тотчас же доску над головою подняли, ворвался свет, громкий, красный. Атилла зажмурил глаза, он понял: сейчас конец.

Но Куна засмеялась, ее смех был мягкий и теплый, как шерсть. Тогда Атилла открыл глаза.

Это был Мудьюг, отец. Он обхватил Куну вокруг тела, рукою сжимал ее грудь, и Куна смеялась. Потом он взял Атиллу за щеку, как всегда делал утром, но сейчас же будто вспомнил что-то и толкнул его от себя, так что мальчик упал в зерно. Он поднялся и смотрел, ничего не понимая.

За поясом у отца блестела золотая ручка от плети. Он ударил Атиллу глазами и сказал: «Иди наверх». Атилла увидел, что у отца стал красным старый белый шрам на лбу.

Наверху было уже утро, крепкое, румяное, как яблоко; дерево за окном было розовое и белое. Куна тихонько тронула Атиллу и сказала ему: – «На, ешь». – Он взял яблоко, оно было холодное в руке, он не стал его есть. Бледа стоял рядом, спиною к окну. – «Возьми, выпри», – и Мудьюг протянул Бледе свой меч. Атилле захотелось кинуться, отнять, но он только сильнее сжал яблоко, оно было холодное, от него холод шел по всему телу. Он чувствовал на себе, как железо, глаза Мудьюга.

Вошел Адолб. У него на ногах был снег, он постучал ими об пол и подошел к Мудьюгу. – «Я нашел их следы, они на лодках бегут вниз по реке, еще можно догнать их». – «Сейчас», – сказал Мудьюг. Он больно схватил за плечо Атиллу и повернул его к себе. – «Ты спрятался вместе с женщинами, ты трус!». Атилла не знал этого слова, но он все же понял, он сказал: «Нет!» – «Это я, это я его спрятала!» – крикнула Куна. – «Молчи! Почему он не остался наверху, как Бледа?» – Атилла на мгновение увидел, как Бледа хватал тогда за ноги Адолба и как Адолб отпихнул его, он хотел сказать об этом, но не сказал. Он стоял, нагнув лоб, на лбу жесткие вихры торчали, как рога. – «Когда я вернусь, я тебя выпорю. Слышишь?» Все стало тяжелое, яблоко было как камень, оно выпало из рук Атиллы и покатилось. Куна вышла вместе с Адолбом и Мудьюгом, Атилла остался вдвоем с Бледой.

Исподлобья, не поднимая головы, Атилла увидел, как у Бледы поползли длинные, тонкие губы. – «Трус», – шепотом сказал Бледа. Атилла почувствовал, как внизу, от живота, горячо хлынуло вверх, стиснуло горло. Ему показалось, что его руки схватили за горло Бледу, но этого не было, он только поднял голову и посмотрел Бледе глазами в глаза. Бледа сказал: – «Что ты, что ты!» – у него затряслись губы, он прижался к стене и стоял так. Атилла, не тронув его, вышел.

Он взял горсть снегу и съел, потом приложил снег к щекам. Куна, проходя мимо, остановилась, но ничего не сказала. Атилла понял, что она ничего не может, что он один. Солнце поднялось вверх, медные ворота, сверкая, открылись, и из них вышел старик – он вел за собой белого коня. Атилла увидел себя на этом коне, он скачет по лесу, пригибаясь от ветвей; если это сделать, пока не

вернулся отец... Он подбежал, ухватил коня за белую гриву, конь покосился розовыми глазами. – «Не трогай!» – крикнул старик. – «Это конь бога!» Атилла вспомнил огромные тяжелые ступни и колени: бог был больше и страшнее, чем отец. – «А он может...» – начал Атилла, но не мог говорить дальше. У старика были красные, тяжелые веки, он поднял их и сказал: – «Он все может. Пойди туда и сильно подумай о том, что тебе нужно».

Атилла вошел внутрь. Огромные, закопченные стены покрыли его, занавесь чуть дышала на красных столбах. По спине у него пошел холод, он широко открыл глаза, он почувствовал, что весь выходит через них. – «Я хочу, чтоб этого не было!» – шепотом сказал он, потом стоял и ждал. Все было тихо, конь снаружи храпел.

Мудьюг вернулся, когда только что начали есть. От него пахло свежим снегом, лицо от холода было красным, шрам на лбу – белый, как тропинка. – «Мы их догнали, только один ушел», – сказал он, взял нож и разрезал мясо. Все ели молча. Атилла не мог есть, его сердце, перепрыгивая через куски мяса, неслось вперед. Перед глазами у него было окно, белое дерево блестело, медных ворот отсюда не было видно, но Атилла знал, что они есть, что они сверкают. Когда женщины унесли кувшины и блюда, Куна под столом тихонько погладила руку Атилле, и он понял, что *это* будет сейчас. – «Я хочу, чтоб этого не было, не было!» – изо всех сил подумал он, глядя в окно, весь выходя через глаза.

Но это все-таки было. Отец приказал ему повернуться лицом к стене. Атилла сказал: «Нет!» Тогда отец схватил его за шею и пальцами приковал к стене, как железом. Атилла стоял, стиснув зубы, ему показалось, что щеки его стали твердыми, как дерево. Потом он почувствовал, что его голые ноги дрожат, он сжал себя всего и перестал дрожать, он ни разу не крикнул. Когда все кончилось, он обернулся, посмотрел на отца зубами и выбежал наружу.

Там был снег голубой, мягкий, на нем оставались следы. Белое дерево стояло под окном, солнце на синем блестело. Но он только видел это глазами, это уже не было в нем, как прежде, он был один, отдельно от всех, у него были огромные ступни и колени, он слышал, как где-то, очень высоко, зубы его стучат.

Медные ворота были открыты, он вошел внутрь медленными шагами. Солнце низко светило сзади него, тень его легла длинная до самой занавеси и загнулась вверх. Он подошел и отдернул занавесь. Ласточки, свистя крыльями, как плети, закружились вверху между двух огромных голов. На почерневших, деревянных щеках Атилла увидел белые следы от птичьего кала. Это было хорошо, Атилла улыбнулся. Он посмотрел вверх, на бога, так же как смотрел на отца, его глаза были оскалены, как зубы. Потом он увидел на полу золото, золотые чаши, лук, по середине и по краям обделанный белой костью. Он поднял лук, поставил его на землю, наступил на один конец ногой и наложил стрелу. Тетива была туга, руки у него были еще детские, он не мог натянуть ее.

Он вернулся домой только тогда, когда все уже стало черным и синим. Он знал то, что он сейчас сделает. До ночи он ходил по лесу, вдали пели волки, он понимал их пение. У дверей дома он увидел человека в меховой рубашке, высоко над ним, отдельно, блестело синим острие копья, еще выше были острые звезды. – «Что ты тут бродишь ночью? Все давно спят», – сонно сказал он Атилле и открыл ему дверь.

Атилла услышал, как Адолб в своем углу зашевелился, потом снова начал храпеть, когда Атилла пошел дальше. Он шел пригнувшись, различая в темноте запахи спящих, слушая всем телом. Без ошибки, как будто было совсем светло, он схватил рукою нож, который всегда висел возле Адолба на стене. Адолб опять перестал храпеть. Атилла, подняв плечи, весь заострившись, стоял и ждал.

Когда по темной лестнице он поднялся в верхний сруб и осторожно приотворил дверь, на стену слева упала красная полоса, внутри горел свет. Он услышал свое частое дыхание, замер, впившись пальцами в холодное железное кольцо от двери. Потом сейчас же понял этими пальцами и всем телом, что уйти все равно не может, и вошел внутрь.

Плоская, глиняная лампа стояла на столе. Красный, похожий на копье, огонь качнулся, остановился. Отец и Куна спали рядом, было жарко натоплено, меховое покрывало было сбито к стене. Голая рука отца лежала на груди Куны, его лицо было прикрыто рукою; у Куны одна нога была

13 Зак. 2208

согнута в колене. Атилла увидел в красноватом сумраке белизну ее тела. Атилла смотрел, внутри его все шумело, как река, которая несется через пороги. В него вошло нечто новое, чего он до сих пор не знал. Это длилось только одно тонкое, как волос, мгновение, но этого было довольно, чтобы Мудьюг проснулся, потому что его тело даже во сне всегда чувствовало сталь. Он успел отодвинуться, и нож Атиллы только слегка, боком, скользнул по ребру. Притянув к себе за руку Атиллу, Мудьюг долго смотрел на его крутой лоб, на упрямые, как рога, вихры. Понемногу брови у Мудьюга разошлись, шрам опять стал белый, он улыбнулся. – «Так. Это хорошо», – сказал он и отдал Атилле нож. – «Теперь иди спать». Мудьюг говорил тихо, Куна спала, Атилла опять посмотрел на нее. – «Подожди», – сказал Мудьюг. Он подумал. – «Я должен послать заложника в Рим. Ты поедешь туда завтра же, и с тобою поедет Адолб».

Когда, спустившись с лестницы, Атилла проходил через внутренние сени, он в темноте наткнулся на что-то. Рукою он узнал кадку с медом, она всегда стояла здесь. Еще вчера вечером он тайком брал отсюда мед, но сейчас ему показалось, что с тех пор прошли целые годы. Это кончилось и больше не будет никогда.

В эту ночь Атилла видел отца в последний раз. На другой день, когда Атилла еще спал, Мудьюг призвал к себе Адолба и говорил с ним, потом снова уехал на охоту. Вечером он гнался по лесу за кабаном, было уже плохо видно. Мудьюг привстал в седле, чтобы метнуть в кабана, и на всем скаку ударился лбом о дубовый сук. Все засмеялись. Мудьюг тоже засмеялся – и умер. Вместо него сел править брат его, Ругила.

Атилла и Адолб в это время были уже далеко от дома.

3

Круглые, как медведи, горы лежали и молчали. Потом они как будто встали на дыбы, из-под копыт у коней сыпались камни, маленькие и большие. Через день горы стали зелеными, снег исчез, везде были листья и цветы. Это не могло быть, Атилла знал, что дома еще зима, но все-таки это было, он это видел глазами. Люди здесь жили

в домах из камня, лица у всех были голые, одинаково у мужчин и женщин, они говорили непонятно, как птицы, но Адолб умел говорить с ними и смеяться. Атилла молча пожирал их глазами, как мясо ртом.

Они ехали, почти не останавливаясь. Как Адолб, как все, Атилла умел спать, положив голову на шею коня. Ночи и дни падали, как дождь: сначала были крупные отдельные капли, потом они слились, все стало сплошным. Плечи у Атиллы болели как от тяжести, он был полон до краев. Когда однажды ночью они въехали в город и Адолб сказал: «Это Рим», Атилла только кивнул, в него уже ничего более не могло войти. Он упал на постель, раздавленный сном, он спал как камень всю ночь, днем проснулся только, чтобы проглотить что-то, и снова спал до утра. Его разбудил шум, чужой, огромный, железный, каменный, все дрожало.

Они вышли. Было еще рано, земля была мокрая. Но это была не земля, это был камень, гладкий, как черный лед. Кони Адолба и Атиллы боялись идти по нему, они храпели, косили глазами, и Атилла смотрел на все искоса, углом глаза, как его конь. Улица шла вниз, лошади, скользя, садились на задние ноги.

Их обогнали носилки, занавеси были подняты, Атилла увидал внутри человека с голым, бледным лицом – он лежал. И еще другие носилки, там лежал огромный, распухший, как тесто, человек, громко дыша. Потом носилок стало много, занавеси были красные, синие с золотом и желтые, там тоже лежали люди. Атилла спросил Адолба: «Они не ходят – они все больные?» – Адолб посмотрел на него одним глазом и подумал, потом сказал: – «Они – богатые». – Но Атилла видел их лица, он знал, что они больные. Он сжал ногами коня, он почувствовал, что у него ноги крепкие, ему стало весело. Он ударил свою лошадь, она поднялась на дыбы, люди внизу, пригибаясь, бросились в стороны. Адолб крикнул ему: «Тише! Ты забыл, где ты?» Они поехали тихо. На них смотрели. Атилла увидел слепого, который нес в руке розовую птицу, птица что-то кричала человеческим голосом, но Атилла не удивился, как он ничему не удивлялся во сне.

Они слезли с лошадей, перед ними были золотые ворота. Золото ослепительно блестело; Атилла зажмурился, Адолб толкнул его: «Да смотри же, ты! Это – дворец, здесь

император». Сердце у Атиллы понеслось, он знал, что император – это как его отец, как Мудьюг, такой же большой и сильный. Он вспомнил, как отец взял его тогда за шею и приковал пальцами к стене, как железом. И как тогда, он стиснул зубы, он почувствовал, что щеки у него стали твердыми и сердце пошло ровно, как лошадь.

Он открыл глаза. Перед золотыми воротами тесно, как стадо, стояли люди с голыми, как у женщин, лицами и с голыми ногами, без штанов. Одежда была у всех одинаковая, белая с красными полосами внизу, и Атилле показалось, что у всех одинаковые, как их одежды, лица. «Сенаторы», – шепнул ему Адолб. Это слово было пустое, как орех, в который можно свистеть, внутри этого слова для Атиллы ничего не было. «Хун! Хун!» – услышал он их голоса и понял, что это про Адолба и про него, все показывали пальцами на их кожаные штаны и смеялись. Однажды дома на двор к ним пришел старик сверху, из лесов, он привел на цепи медведя, медведь плясал на снегу, все смотрели, мальчишки снизу тыкали в медведя палками. Вот так же было теперь. Атилла оскалил на сенаторов зубы, нагнул голову, как бык. Адолб схватил его сзади за плечо, Атилла крикнул: «Пусти!», но Адолб держал крепко, он повернул Атиллу лицом к воротам, и Атилла забыл о медведе.

Ворота были теперь открыты, там стояли большие золотые солдаты, на солнце блестели их мечи. Один стоял впереди, у него было жирное лицо старухи, и под его одеждой, как спрятанный круглый хлеб, выпирал живот. Он отрывал от кисти синие ягоды и ел их. Сенаторы подходили к нему поодиночке, они все одинаково улыбались. Атилла вспомнил, как улыбались собаки отца, когда он бросал им мяса. Солдат со старушечьим лицом ощупывал поверх одежды каждого из подходивших, они стояли перед ним, подняв руки. Атилла посмотрел на Адолба, спрашивая его глазами: «Он ищет, нет ли у них оружия, – ответил Адолб, – чтобы они не могли с оружием прийти к императору». – «Он боится? Он не может бояться», – сказал Атилла. Адолб прищурил свой глаз: – «Я не знаю. Но у них делают так».

Солдат начал ощупывать Адолба, лицо у Адолба стало красное. Атилле стало жарко, он услышал, как у него

задрожали плечи и руки, он крикнул Адолбу: «Я не дамся, я ударю его ножом!» Адолб что-то сказал солдату. Сморщенные старушечьи губы сплюнули шкурку от синей ягоды, потом какое-то слово. Он вынул из-за пазухи кисть ягод, дал Атилле и толкнул его вперед. Атилла, все еще дрожа, пошел рядом с Адолбом. Адолб вытирал пот со лба. Атилла бросил ягоды на пестрые, блестящие камни и наступил ногой, так что брызнул сок, похожий на кровь.

Они вошли в комнату. Но это не была комната, это был как дом бога с двумя головами, где старик мел зеленым веником пол и где однажды девушки тащили на веревке огромный хлеб. Это все было далеко позади, из всего прежнего сюда пришел только Адолб, это было последнее, и Атилла крепко держал его руку. Нагнув голову набок, одним глазом, как смотрят птицы, Адолб смотрел на потолок. Там были золотые звезды и люди с крыльями и какой-то голубой дым.

Атилле было трудно дышать, он посмотрел: сзади, на низком столбе из розового камня, стояла чаша, откуда шел дым. Атилла расширил ноздри и вдохнул, это не пахло ни огнем, ни зверем, ни людьми, это было ненастоящее, противное. Он нагнулся и плюнул в чашу, чтобы потушить то, что там горело. Адолб больно дернул его за руку и испуганно покосился: не видел ли кто? К ним уже бежал маленький горбун с синей перевязью через плечо. Он заговорил с Адолбом по-римски. Атилла смотрел. Руки у горбуна были длинные, белые, как корни. Вдруг он повернул лицо к Атилле и сказал ему обыкновенными, понятными словами: «Так ты сын Мудьюга? Император будет доволен, он сейчас выйдет». Он пошел, но тотчас же вернулся и сказал Атилле: «Ты не бойся». Он положил на плечо Атилле свои длинные белые пальцы. Атилла стряхнул их: «Я не боюсь!» Нагнув голову, он смотрел на горбуна, они были одинакового роста, глаза у горбуна были теплые. Он улыбнулся и хотел говорить еще, но за высокими дверями из другой комнаты послышался шум, сенаторы встали.

Атилла ждал – ушами, глазами, как на охоте, когда под его рукою была туго натянутая тетива. Ему показалось, что за дверью крикнул петух, это не могло быть, он сделал свое ухо острым и после этого уже ничего не услышал кроме человеческих голосов. Двери открылись.

Вошел огромный в золотом панцире человек, в голой руке он держал меч, рука была налита силой, он был на голову выше Мудьюга. За ним шел какой-то небольшой человек, потом тот солдат с старушечьим лицом и еще много людей. Атилла, не отрываясь, смотрел на великана с мечом, это был он, он! «Это – он?» – потянул он за рукав Адолба, но Адолб не ответил, он тоже смотрел. Сердце у Атиллы мчалось.

Император, держа меч, поднялся на ступени, теперь он стал еще выше. Там стояло кресло, на нем сверкали маленькие солнца, как в росе утром. На кресло сел небольшой человек в красной одежде. «Вот он – император Гонорий, он на троне, он сел, видишь?» – шепнул Адолб. Атилла смотрел, не веря. У этого человека было белое, сонное лицо и маленький кривой рот, сдвинутый влево, от этого казалось, будто у него что-то болит. Человек в золоте с мечом, огромный, как бог, стал позади трона. Тогда Атилла поверил, что тот, другой, который сидел, был император.

Белые сенаторы поднимались к трону, согнув головы. Император обнимал и целовал каждого из них и что-то говорил каждому, не глядя, сонно. Солдат со старушечьим лицом стоял сбоку, прислонившись круглым животом к трону. Сенаторы, проходя, улыбались ему. Потом внизу перед троном стал юноша, по лицу у него катился пот, большие красные руки дрожали. Он стал говорить императору нараспев, в нос, он говорил один, все молчали. Адолб сказал Атилле: «Он читает стихи». Атилла не понял. Тогда Адолб сказал: «Он хвалит императора, он говорит, что император – самый мудрый и самый сильный из всех людей». Атилле показалось, что Адолб смеется над ним, он хотел рассердиться, но не успел.

Двери из соседней комнаты снова открылись, оттуда вышел старик. Он был высокий, строгий, с серебряными волосами, все на него смотрели. У него в руках был большой белый петух с толстым красным гребнем, сзади гребня была подвязана маленькая золотая корона. Нагнув голову вбок, петух сердито глядел желтым глазом и не переставая кричал: «Ко-о! Ко-о! Ко-о!»

Император как будто только теперь проснулся, он быстро встал с трона и взял на руки птицу. Его маленький

рот, улыбаясь, еще больше сдвинулся влево, он целовал петуха в шею сзади короны и теплым голосом говорил ему: «Рим, мой маленький Рим, ты хочешь кушать, да?», и петух отвечал императору: «Ко-о! Ко-о!» Поэт, который хвалил императора, торопливо сунул большую красную руку к себе за пазуху и потом подставил ее петуху, на ладони были зерна. Петух, склонив голову набок, взглянул желтым глазом и стал клевать зерна. Сенаторы, толкаясь, тоже протягивали петуху ладони, у одних были зерна, у других куски мяса. Петух, жадно глотая мясо, дергал шеей, его красный гребень и золотая корона вздрагивали. Было тихо, как в доме бога. Золото блестело. Из чаш на розовых столбах шел голубой дым. Атилла смотрел на петуха, на императора, на протянутые ладони. У него вдруг затрясся живот, как бывало раньше, когда Куна шутя щекотала его, и он громко засмеялся.

Все сразу повернулись к нему, лица у всех были испуганные. Император посмотрел на Атиллу, глаза у него были большие и холодные, как вода. Атилла сделал свою шею железной, он выдержал эти глаза. Император отвернулся и, кривя рот, сказал что-то горбуну. Горбун подбежал к Атилле и взял его за руку: «Иди! Иди отсюда скорей!» Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор. Адолб шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами, у них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо, это был запах кожи, тут стояли кожаные красные сундуки возле стен.

Горбун, запыхавшись, сел на сундук, и Атилла сел рядом с ним. Адолб нагнулся, его единственный глаз был желтый и злой. «Как у петуха!» – сказал Атилла и опять, вспомнив, стал смеяться. – «Дурак! Молчи!» – Адолб стиснул его плечо. – «Если ты так будешь и дальше...» – «Мне хотелось смеяться», – сказал Атилла. – «Нельзя! – Голос у Адолба был злой. – Здесь нельзя, это – не дома». Горбун посмотрел на Атиллу теплыми, как шерсть, глазами. «Здесь нужно лгать, мальчик», – сказал он. «Что это – лгать?» – спросил Атилла. Горбун обратился к Адолбу: «Объясни ему ты». Адолб сказал: – «Ты помнишь – мы ходили на лисицу? Ты помнишь – мы смотрели ее следы?» Атилла увидел гладкий голубой снег, и на нем – чуть посинее – следы лисьих пальцев, следы были вывернуты, лисица бежала,

пятясь задом. – «Она пятилась, чтобы обмануть собак», – продолжал Адолб. – «Здесь кругом тебя собаки, помни это». Атилла кивнул молча, теперь он понял.

Горбун встал и пошел, качая длинными белыми руками. Он привел Атиллу и Адолба в комнату с большим окном, на окне были прозрачные, красные, желтые, синие звери и люди, но через окно ничего нельзя было увидеть, и стены были из больших камней. – «Ты будешь жить здесь», – сказал горбун. Адолб молчал, он стоял, отвернувшись, и постукивал согнутым пальцем в стену, толстые камни глотали стук. Потом горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату, там не было окон, были только стены, но было светло, солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши, их было десять или немного больше. Атилла не мог сразу взять их всех в себя, он только запомнил, что все были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух и теперь сразу замолкли.

К Атилле подошел человек в запачканной белой одежде, его желтая лысина блестела, все лицо шевелилось и будто ползло на Атиллу.

– Это Басс, учитель, – сказал Атилле горбун, потом Атилла услышал чужие римские слова и среди них имя своего отца, Мудьюга, и свое имя. Все столпились вокруг и ощупывали, трогали его глазами.

Он увидел, что Адолб уходит вместе с горбуном. Он хотел крикнуть: «Адолб, не уходи!», но он запретил себе. Они ушли. Атилла остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами, он стоял и ждал. Басс положил ему на плечо руку, Атилла сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.

4

Каменная река Рима ревела неумолчно всю ночь, и от этого сон был непрочный. Утром зазвонили в церкви. Ослик под окном мелко просыпал копыта по камню, потом закричал так, как будто вспомнил, что загублена вся его жизнь. И от этого отчаянного вопля Приск проснулся.

Он несколько мгновений растерянно, близоруко смотрел, не понимая, где он. Кто-то дышал рядом. Не поворачивая головы, только скосив глаза, Приск увидел голое плечо, маленькие груди, накрашенные соски смотрели в стороны, как раскосые глаза... Приск сразу вспомнил все. Он покраснел так, что кровь загудела у него в ушах. За этим ли он ехал из Константинополя в Рим? Что сказал бы Евзапий, если бы узнал об этом?

В Константинополе все профессора считали Приска тупицей и лентяем. Этот толстый, неуклюжий юноша думал на лекциях неизвестно о чем, отвечал невпопад, над ним потешались. Так было, пока однажды он не услышал историка Евзапия. Евзапий говорил не об атомах, не о законах стихосложения, не о модной философии Плотина, но о том самом, о чем мучился Приск. В конце лекции Евзапий открыл книгу и прочитал оттуда: «Постыдимся хотя бы зверей. У зверей все общее: и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса. А человек делается свирепее зверя, говоря эти холодные слова: «То твое, а это мое». На другой день по приказу константинопольского префекта Евзапий был арестован. Евзапий, улыбаясь, показал префекту книгу, и тот увидел, что преступные слова принадлежат святому Иоанну Златоусту. На первой лекции Евзапия после его выхода из тюрьмы студенты неистовствовали, своими рукоплесканиями они долго мешали ему начать.

После лекции Приск пошел за Евзапием к нему домой и говорил с ним, пока не стало совсем темно. Утром он написал отцу, что больше не хочет брать у него денег, и с тех пор жил перепиской книг. Он стал любимым учеником историка. Через три года Евзапий умер, завещав ему сделать то, что не успел сделать сам: написать книгу об этих великих и страшных годах, быть может последних, когда, шатаясь, еще стоят обе империи – Византийская и Римская. Он оставил Приску немного денег, чтобы тот мог поехать и увидеть Рим. Приск ехал туда в полной уверенности, что будет смотреть на все глазами врача, который исследует больного. И вот, вместо этого, на другой же день после приезда он проснулся в постели у этой женщины!

Это была первая женщина в его жизни. Он не знал, кто она, не знал даже ее имени. Она была еще почти девочка, ей было не больше семнадцати. Но эта девочка

ночью учила его таким вещам, что он сейчас стыдился своего тела, рук, рта. Под окном опять отчаянно закричал ослик. Приск решил уйти сейчас же, пока она еще спит. Но сколько оставить ей денег? Это были деньги Евзапия... Кровь снова зашумела у Приска в ушах. Он увидел седую голову учителя, его бедную одежду, чернильные пятна на ней. Странно, но это было так: не будь этих чернильных пятен, Приск наверное не оказался бы здесь.

В день приезда Приск сразу же, с утра, пошел в публичную библиотеку на Траяновой площади. Он наслаждался самим запахом, видом книг, скрипом перьев. Он опомнился только тогда, когда сторож подошел и сказал, что читальный зал закрывается. На улице было уже темно. Приск вспомнил, что у него есть рекомендательное письмо к профессору логики Бассу. Он еще весь был полон книгами, идти ему туда не хотелось, но он решил, что надо.

Басса он застал запирающим дверь своего дома и обрадовался, что можно уйти. Но Басс сказал, что не отпустит его: они должны поужинать вместе у «Трех моряков», это теперь самое модное место в Риме. Приск смутился, стал отказываться: он недостаточно хорошо одет, чтобы идти туда. Басс засмеялся. Приск увидел его небрежную, запачканную чернилами одежду, точь-в-точь как у Евзапия. Ему сразу стало хорошо с этим человеком, он сказал: «Если так – я согласен». – «Что «если так»?» – переспросил Басс. Приск не мог объяснить, он покраснел. Басс с любопытством смотрел на этот девичий румянец, он предвкушал на сегодняшний вечер редкостное удовольствие.

Они спустились на мост. Внизу в черном зеркале лежал опрокинутый Рим: многоглазые с красными освещенными окнами дома, белые и круглые от цветов деревья, темные дворцы. Все покачивалось, непрочное, каждую минуту готовое исчезнуть без следа. Приск заговорил о том, зачем он приехал сюда, он с жаром стал рассказывать о своей будущей книге – и вдруг остановился почти испуганный тем, что он увидел на лице Басса. Это не была улыбка, его губы были неподвижны, но множество, десятки улыбок шевелились всюду на этом лице. Приглядевшись, Приск понял, что это было просто движение его бесчисленных морщин. «Мы пришли», – сказал Басс.

Он откинул красную занавеску, освещенную изнутри, и толкнул Приска вперед.

Приск остановился на пороге, он не верил глазам. Он приготовился увидеть ту самую римскую роскошь, о которой ему столько говорил Евзапий, о которой он читал у Ювенала, Сенеки, Плиния, Аристида. Вместо этого перед ним был подвал с закопченным потолком, задыхающиеся в чаду лампы, грязные деревянные столы, какие-то разбойничьи рожи, отрепья. У самого входа сидел матрос с завязанным глазом. Рядом с ним на скамье, шатаясь, стояла пьяная девка. Она мутно взглянула на Приска. «А, сосунок! На, возьми!» – она быстро нагнулась и сунула в лицо Приску голую, остро пахнущую грудь. Приск отстранился. Женщина потеряла равновесие и упала, ему пришлось поддержать ее. Она повисла на нем, он не мог от нее освободиться, она крепко обнимала его тело голыми ногами, скрестив их у него за спиной. Кругом хохотали. Матрос ударил девку, она отпустила Приска и снова влезла на скамью. Приск растерянно огляделся кругом, ища глазами Басса.

Теперь он был сбит с толку еще больше: среди бродяг, матросов, проституток он увидел за столами богато одетых людей, блеснули перстни на тонких женских пальцах. К матросу с завязанным глазом подошла женщина в черном без всяких украшений платье, у ней был только тяжелый золотой обруч на шее. Матрос посадил ее к себе на колени, обхватил ее шею рукой и медленно стал сжимать. Женщина забилась, захрипела. Приск не выдержал и, сжав кулаки, шагнул к матросу, но почувствовал: сзади его схватили за руки. Это был Басс. «Не мешай, она это любит», – спокойно сказал он. – «Любит?» – «Да. Это дает ей аппетит для игры в постели». Приск начал медленно краснеть. Морщины на лице Басса зашевелились, поползли, подкрадываясь, – и вдруг он огорошил Приска вопросом: «Скажи, сколько женщин было в твоей жизни?» Приск молчал. «Ни одной?» Приск покраснел до того, что у него выступили слезы. Ему было стыдно сказать правду и стыдно было своего стыда, он ненавидел сейчас этого улыбающегося римлянина, его ласковый голос, его прищуренные глаза.

«Басс! Басс!» Кругом хлопали, кричали, что Басс должен произнести речь. «О чем же?» – спросил Басс. В своей чаше

с вином он увидел жирную зеленую муху, вынул ее и сказал: «Хотите – об этой мухе?» Все захохотали. «Вы смеетесь напрасно: эта муха достойна уважения не менее, чем я – или чем вы, дорогие мои слушатели...»

Это была его обычная манера: он мог взять любой попавшийся ему на глаза предмет и логикой извлечь оттуда самые неожиданные выводы. Он мгновенно сделал из мухи совершеннейшее из божьих творений. Разве от мухи не рождаются черви, мудростью Творца предназначенные для истребления падали? Разве сам он, Басс, и все присутствующие – это не великолепные, жирные черви, пожирающие останки Рима? Он не щадил никого, черви корчились от его беспощадных похвал, но они должны были смеяться, они смеялись.

Приск забыл, что минуту назад он ненавидел Басса. Сейчас он наслаждался игрой его морщин, его голосом, он любил чернильные пятна на его одежде, этот человек другими словами говорил то же, что когда-то говорил Евзапий.

Неожиданно Приск услышал свое имя: каким-то необъяснимым поворотом логики Басс от мухи перешел к Приску. Играя десятками улыбок, он предложил выпить за успех своего молодого друга, который привез прекрасным римлянкам редкостный дар. Он сделал паузу. «Какой? Какой дар?» – закричали кругом. «Свою невинность», – ответил Басс.

Рукоплескания, возгласы, смех оглушили Приска. Он вскочил, чтобы бежать отсюда, но уже был окружен, перед ним была ограда из любопытных женских глаз, раскрытых губ, улыбок. Чьи-то надушенные руки влили ему в рот вина, его обожгло, он проглотил. Пятясь, он отступал куда-то, пока не наткнулся на барьер: это была маленькая ложа, отделенная от подвала занавесками. Занавески чуть раздвинулись, мелькнули раскосые глаза и тотчас же исчезли. Приск увидел бегущую по барьеру крысу. Женщины испуганно кричали, поднимали платья. Крыса спрыгнула на пол, кинулась в какую-то раскрытую дверь в глубине подвала – и туда же стремглав выбежал за нею Приск.

Он очутился на дне узкого каменного колодца, в черном квадрате вверху близоруко, растерянно мигали звезды. Это был грязный дворик, пахло помоями, мочой. В углу

цвело дерево. Приск удивился, когда сквозь вонь до него дошел нежный, сладкий запах. Он обошел двор кругом, он хотел выйти отсюда так, чтобы не возвращаться в подвал. Рядом с той дверью, через которую он попал на этот дворик, Приск увидел темную, низкую арку. Приск нагнулся и пошел туда, ощупывая руками шершавые кирпичные стены.

Вдруг его руки наткнулись на что-то теплое и мягкое. Он отскочил. В темноте засмеялась женщина. «Ты хочешь выйти отсюда? Иди за мной». Она взяла его за руку и повела. От нее пахло сладкими духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. Через несколько шагов она опять засмеялась в темноте: «Я была уверена, что ты пойдешь здесь».

Они вышли на улицу. У выхода ждали два раба, один поднял фонарь и осветил женщину. Приск увидел ту, которая его вывела. У нее были пушистые, чуть раскосые глаза. Сквозь тонкий шелк платья смотрели в стороны острия широко раздвинутых, тоже как будто раскосых грудей. «Если хочешь, рабы отнесут и тебя», – предложила она, влезая в носилки. Приск хотел сказать «нет» – и сам удивился, когда услышал, что сказал «да». Осторожно, стараясь не коснуться ее, он лег рядом с ней в носилках. Деревянные жалюзи с треском упали.

Ремни носилок поскрипывали в такт шагам рабов. В темноте блестели ее зрачки, все было полно ее запахом. Должно быть, один из носильщиков споткнулся: носилки накренились. Чтоб удержаться, Приск оперся рукой, и сквозь шелк его ладонь обожгло нежное острие, он испуганно отдернул руку. Тотчас же услышал, как его спутница часто, неровно задышала, как от быстрого бега. Приск понял это дыхание, сердце у него неистово заколотилось. Он почувствовал: к нему прижались теплые, круглые колени. Потом началось что-то похожее на неожиданное падение с горы, когда больно, страшно, весело и все равно, что будет внизу.

Приск осторожно, чтобы не разбудить ее, слез с постели. Кругом все было незнакомое, было несколько дверей. Он смутно помнил, как ночью она пошла в ванну и сказала ему, чтобы он шел за нею и смотрел. Он отыскал

эту дверь, пустил в мраморный бассейн горячую и холодную воду и стал быстро мыться, весь, с ног до головы. Из спальни он услышал смех, это была она. Приск замер так, как стоял: с поднятыми руками, в них таз, полный воды. Он со страхом ждал, что сейчас она позовет его или войдет сюда, но ни того ни другого не случилось. Тогда он быстро вылил на себя воду, почти не вытираясь, оделся и с забившимся сердцем открыл дверь в спальню.

Там никого не было, только пахло духами и еще чем-то, похожим на запах птицы. На мраморном столике, рядом с деньгами, оставленными Приском, лежало несколько золотых монет, это было вдесятеро больше того, что хотел заплатить ей Приск. Что это значит: что он оставил ей мало – или это была ее плата ему? Весь красный, зажав в руке золото, Приск выбежал из спальни, чтобы сейчас же отыскать женщину и отдать ей эти деньги. Он пробежал через небольшую приемную, дальше за дверью оказалась площадка и лестница вниз. На площадке было открыто окно, слышно было, как звонили в церкви напротив. У окна стояла маленькая седая старушка и молилась, у ее ног лежал веник. Приск подошел к ней: «Где твоя госпожа?» – «Это не моя госпожа. Молодая дама заплатила за комнату и ушла. Здесь гостиница». – «Куда ушла? Ты не знаешь, где она живет?» – «Нет, господин, не знаю». Старушка начала мести пол, Приск растерянно смотрел, как двигался веник. Но, может быть, еще не поздно, может быть, удастся догнать ее на улице? Приск побежал по лестнице вниз.

Пронзительно, как птицы и ветер, кричали торговки. Цирюльники колотили в поднятые над головами медные тазы. Гремели по камням телеги, на них, бесстыдно раскинув ноги, лежали синие бычьи туши. Улица кружилась, неслась, человеческие лица мелькали, жили один миг, чтобы сейчас же утонуть навсегда. Той, которую искал Приск, нигде не было видно, она исчезла.

Внезапно грохот телег замолк. На передней кучер, оскалив зубы, стегал лошадь так, как будто хотел ее убить, но проехать все же не мог: впереди был затор, люди стояли плечом к плечу, один влез на ступеньки, что-то читал. Приск подошел.

К двери был прибит большой белый лист, это была только что вывешенная официальная газета. «Не все слышали, еще раз!» – закричали голоса. Человек с длинной, гусиной шеей начал читать снова. Никаких оснований для тревоги нет. Возле Орелиана крестьяне взбунтовались из-за налогов, но они окружены императорским войском. Завтра обычной выдачи хлеба не будет... Толпа глухо заворчала, но человек с гусиной шеей, читая, повысил голос: «Ваш хлеб съедают иностранцы. По приказу префекта, все иностранцы, кроме медиков и учителей, будут высланы из Рима...»

Толпа зашевелилась, захлопала, закричала. «Правильно!» – «Вон их!» – «Они жрут наш хлеб!» Молодой курчавый еврей, обвешанный медными кувшинами, нырнул в переулок, вся толпа с ревом бросилась за ним. Было слышно, как медные кувшины звякнули о камень. На ступенях возле газеты было теперь пусто. Приск поднялся и прочитал в самом конце сообщение, что варвары под предводительством Радагоста вторглись в Империю.

К полудню это знали все, но об этом говорили только молча, глазами, об этом старались забыть. Все было так, как будто ничего не случилось. Солнце, не оглядываясь, летело, сотни солнц сверкали в золоте, в камнях, ожерельях, браслетах у ювелиров на Виа Сакра. Тонкие, шелковые женщины останавливались перед витринами. Они вели на привязи маленьких собачьих уродов, это было в моде. На углах у меняльных контор нельзя было пройти, здесь была лихорадка, курс римских денег сегодня понизился, здесь покупали и продавали. Татуированный, голубоглазый островитянин из Британии медленно шел через толпу. Его окружили, замелькали поднятые кулаки. «Вон! Вон из Рима!» Он хладнокровно обвел кругом голубыми глазами и спокойно пошел – так, как будто перед ним никого не было. Толпа опешила, расступилась перед ним.

Приск бродил по городу весь день и жадно собирал все в себя, это были зерна, из которых вырастет его книга. Перед сумерками пошел теплый весенний дождь, на Марсовом Поле сладко задышали белые от цветов деревья. Бесконечные галереи быстро заполнялись людьми, гуляющие спасались от дождя. Женщины смеялись, в

тонких намокших платьях они были как раздетые. Приску почудилось, что он услышал запах знакомых духов. Наступая на ноги, запыхавшись, он догнал женщину, заглянул ей в лицо. Это была не она, не та.

Разбрызгивая лужи, по аллее Марсова Поля скакал всадник. Он был весь в грязи, в крови, одна рука у него была забинтована. Это был солдат, оттуда, с полей, где сейчас, может быть, решалась судьба Рима. Из галереи все бросились к нему, под дождь. Он остановил лошадь и что-то говорил. Приск уже не слышал: ему пришло в голову, что он может узнать что-нибудь о своей незнакомке там, где они были вчера с Бассом, он под дождем побежал туда.

У «Трех Моряков» было еще пусто. У откинутой занавески на пороге сидела вчерашняя девка. Но она была совсем другая, она чинила одежду, она походила на чью-то жену или сестру. Она позвала матроса с завязанным глазом. Приск, краснея, спросил у него о той, которая вчера была в ложе. Матрос ничего о ней не знал. Тогда Приск медленно пошел домой.

Его комната была высоко. Поднимаясь, он машинально считал ступеньки, все время без слов думая о другом. Он загадал, что если будет больше двухсот, то... Ступеней было двести пять. Он сразу успокоился, ему показалось, что теперь все будет хорошо. Торопливо он зажег лампу и сел, чтобы записать все, что видел. Большая муха, жужжа, билась о потолок, и будто от этого Приск никак не мог найти нужные слова. Он решил начать с цифр, собранных вчера днем в библиотеке, и записал:

«В Риме живет до двух миллионов людей. Здесь 46 000 домов с наемными квартирами, 1790 дворцов, 850 бань, 1352 бассейна с фонтанами, 28 библиотек, 110 церквей, 2 цирка, 5 театров. В одном только амфитеатре Тита вмещается до 80 000 человек. Мне никто не мог назвать число статуй, иные считают, что их более 10 000, но мне показалось, что их в городе столько же, сколько живых людей. Многие статуи лежат разбитые в куски недавним землетрясением. Равным образом и многие живые люди...»

Жирная зеленая муха ползла по столу к лампе. Приск взглянул на нее – и тотчас же увидел медленно шевелящиеся морщины на лице Басса, потом мелькнула крыса, в отверстии занавески – раскосые глаза, темный двор с

деревом в углу, шершавые кирпичные стены. Пальцы Приска, отдельно от него, вспомнили то горячее и мягкое, на что он наткнулся, ощупывая кирпичи. Все цифры исчезли, он ничего больше не мог написать.

Он потушил лампу и высунулся в окно. Каменная река Рима шумела не замолкая. В темноте стояли деревья, белые от цветов, они походили на женщин в ночной одежде. Сюда, в окно, доходило их сладкое дыхание, смешанное с нечистым запахом города.

Приск лег в постель, уверенный, что ему не удастся заснуть, но заснул сейчас же. Утром он встал свежий, новый, как будто выздоровевший от тяжелой болезни. Он пошел в публичную библиотеку и начал там работать, но во время работы ни на минуту не переставал думать о ней, сам этого не сознавая. Так бывает иногда в море: прохладная, прозрачная вода наверху, а под ней – другое, мутное и теплое течение, невидимое для глаза.

И вдруг это течение со дна поднялось вверх: неожиданно для себя самого Приск закрыл книгу с совершенно готовым решением – немедленно идти к Бассу, он один мог знать, кто она и где ее найти.

Приск долго стучал в дверь к Бассу, все сильнее, все нетерпеливей. У соседей открывались окна, оттуда смотрели с любопытством. Приск ушел, не достучавшись. Он несколько раз возвращался сюда в следующие дни, но никогда не заставал Басса дома. Однажды, наконец, дверь ему открыл глухой старик с красными, больными глазами. Старик с трудом понял, что нужно Приску, и сказал, что каждое утро Басса можно найти в императорском дворце, где он занимается с учениками.

5

Их было тринадцать: бургунд, вестгот, каледонец, бреон, франк, лонгобард, сакс, баювар, аллеман, бритт, иллириец, перс – и хун, сын Мудьюга, Атилла.

Они считались гостями императора. Дворцовые стены крепко обнимали их, так что они никуда не могли уйти. Сначала они чувствовали это, они вспоминали свои леса и степи, потом они видели это только во сне, а потом и самые сны их становились римскими. Тогда наступало

счастье. Августейший хозяин был щедр к ним. Их учили лучшие учителя Рима. Они получали еду с императорской кухни. Они могли есть сколько угодно, они жирели. Горбун пускал для них в ход огромный водяной орган, и под музыку они переваривали пищу. На большом дворе был обозначенный красным песком круг, они могли скакать по этому кругу на лошадях. Они гуляли в императорском парке, там все стены были прикрыты розами. У входа большая удобная клетка, по ней, не переставая, взад и вперед, ходил волк.

Когда мимо его клетки шел Басс, волк, щеря зубы, кидался на прутья клетки, шерсть у него на шее вставала дыбом. Может быть, это было потому, что Басс часто появлялся не один, а вместе с Пикусом, своей обезьяной.

Басс любил обезьян. Он уверял, что мог бы сделать из них достойных римских граждан, если бы ему дали для этого достаточно времени и денег. Он доказывал, что Бальбурий Медиоланский ошибался, когда видел в обезьянах человеческое прошлое: напротив – это будущее человека. Если Басс оставался во дворце обедать вместе со своими питомцами, он сажал Пикуса по правую руку от себя и разговаривал с ним. Пикус умел все есть и умел пить вино. «Знаешь, Пикус, – говорил Басс, – чтобы иметь женщин, тебе не хватает только одного: денег». Ученики Басса смеялись и хлопали. Они были счастливее Пикуса: Басс сам выбирал для них женщин и сам оплачивал их из сумм, отпущенных ему на воспитание юных варваров.

Они обожали его, они хотели быть, как он, но знали, что это невозможно: к нему, как к Богу, можно было стремиться, но достигнуть его было нельзя. И они боялись его, как Бога, хотя он никогда не наказывал никого из них. Если он бывал кем-нибудь недоволен, он за обедом начинал говорить о нем. Басс не говорил ничего дурного, напротив – он хвалил. Тонкая сеть морщин на его лице шевелилась едва заметно, но пойманный в эту сеть не знал куда деваться, кругом хохотали, он сидел красный, весь исхлестанный смехом, он запоминал это на всю жизнь.

Из всех тринадцати только двое ходили не в римской одежде, а в штанах, как варвары. Эти двое были лангобард Айстульф и хун Атилла. Айстульфу это было позволено, он должен был скоро умереть, он всегда дро-

жал в лихорадке. С Атиллой было иначе. Вечером перед обедом горбун принес ему римскую одежду и сказал: «Это тебе посылает император, ты будешь теперь носить это». Атилла стал смеяться, ему было смешно, он представил себе, что будет без штанов, как девка. Он пришел есть вместе со всеми, одетый, как до сих пор, в своей белой рубашке и широких штанах, завязанных у щиколоток. Басс ничего не сказал, он только с любопытством посмотрел на Атиллу. Справа от Басса сидел Пикус, он тоненькими черными пальцами ловко вынимал кости из рыбы и ел ее.

Атилле было трудно есть. Пища была чужая, мягкая, надушенная, она отрыгивалась назад, но он глотал ее снова, пока она не оставалась внутри. Басс, нагнувшись, говорил с Пикусом, потом он стал говорить со всеми. Атилла тогда еще не знал римских слов, он не понимал. Но внезапно, не глядя, он почувствовал на себе глаза. Это было у него отцовское, от Мудьюга, который не глядя чувствовал всякое направленное на него острие. Все смотрели на Атиллу. Напротив него было курносое лицо толстого бритта Уффы. Его нос сморщился, он захохотал первый, а за ним все. Басс сказал еще что-то, и они уже не могли лежать за столом, они вскочили и смеялись, стоя или сидя, они сквозь слезы смотрели то на Пикуса, то на Атиллу. Тогда Атилла понял, что Басс говорил о нем, что все смеялись сейчас над ним.

Кровь с шумом наполнила его голову. Он забыл советы горбуна и Адолба о том, что здесь надо быть как лисица. Он выскочил из-за стола, его глаза были оскалены, как зубы, вцепился глазами в Басса и пригнулся, чтобы прыгнуть на него. Он не успел: все закричали, его схватили сразу десятки рук.

В тот день было тепло, обедали под большим платаном в парке. Атиллу потащили к выходу и здесь в углу, около волчьей клетки, били его, потому что он осмелился броситься на их божество. Их было много, они были сильнее Атиллы, он лежал молча. Они испугались, что он молчит, перестали бить и ушли.

Стало тихо, Атилла услышал только: кто-то часто дышит около него. Он поднялся и увидел, что сквозь прутья клетки волк смотрит на него желтыми глазами, как

будто молча говоря ему. Было так, как будто чья-то рука сжимала Атилле горло, ему нужно было, чтобы его коснулось сейчас теплое, каким в детстве была Куна. Он протянул руку через прутья и положил ее на теплую шею волка. Волк вздрогнул, но продолжал стоять, его глаза были крепко связаны с глазами Атиллы. «Я его убью», – сказал Атилла. Волк, не шевелясь, как будто все понимая, слушал.

С этого дня Атилла часто приносил волку мясо и говорил то, что ему нужно было сказать вслух и что он не мог держать запертым в себе. Больше ему не с кем было так говорить, он был один, Адолб уехал домой. Уезжая, он сказал Атилле: «Помни, что велел тебе отец: узнать у них все, что они знают». Атилла молча кивнул. Адолб как будто нечаянно тронул его лицо шершавой рукой и ушел.

Басс сказал горбуну-переводчику, чтобы он скорее научил маленького хуна римским словам. Для Атиллы эти слова были похожи на их еду: его уши отрыгивали эти слова, но он упрямо повторял их, пока они не оставались в нем, внутри. Скоро он знал их уже много, но они выходили из его рта жесткие, как дерево, они скрипели и скрежетали. Горбуну было смешно слушать, его пальцы, длинные и белые, как корни, шевелились на коленях, и он улыбался. Но улыбался он совсем иначе, чем Басс, глаза у него были теплые. Атилле захотелось говорить с ним. «Ты его любишь?» – спросил он у горбуна. – «Кого?» – «Учителя, Басса», – сказал Атилла. Пальцы на коленях у горбуна задвигались быстрее, как будто убегая, и он ответил только: «Тебе следует любить его». Атилла понял, что горбун убегает, как лиса, он решил сделать то же и сказал: «Я его люблю». Горбун засмеялся: «Вот как, мальчик! Ты уже умеешь лгать?» Атилла увидел, что не умеет, ему было неприятно, как бывало раньше, когда Адолб учил его стрелять и он не попадал в цель. Это было то же самое, этому надо было учиться, как стрельбе.

Горбун занимался с Атиллой в библиотеке. Здесь были цветные окна, ковры, книги. Белые каменные головы смотрели опустошенными глазами. Рим почти не был слышен. Атилла опрокинул тишину, он ворвался запыхавшийся, крича: «Крыса! Крыса!» Император смертельно боялся крыс, если кто-нибудь во дворце видел крысу – за ней

начиналась настоящая охота, пока ее не убивали. Горбун выскочил в коридор, Атилла показал ему место под красным кожаным сундуком, куда юркнула крыса. Со всех сторон сбегались люди. Атилла увидел толстого Уффу, баювара Гарицо Длинного и других, которые тогда били его в парке. Уффа, пыхтя, лежал на полу и заглядывал под сундук. Крысу так и не нашли. Ее не могли найти, потому что ее не было. Атилла выдумал ее. Горбун и все поверили, это было хорошо. В следующие дни он продолжал учиться этому.

Однажды во дворце было необычное движение. Люди шептались по углам. Атилла заметил, что когда он проходил по коридору, то все провожали его глазами, он не понимал, что это значит. Он встретил Уффу, Гарицо Длинного и беловолосого Теодорика, сына вестготского короля. У Теодорика были нашиты на одежде христианские кресты, он был самый набожный из всех. Он показал другим глазами на Атиллу, и все трое стали у него на пути. «Если они будут бить...» – подумал Атилла, но он не успел кончить. Гарицо Длинный нагнулся к нему сверху, положил ему руку на плечо и сказал: «Отлично, отлично! Ты, кажется, уже начинаешь говорить? Если хочешь, я буду заниматься с тобой, когда уедет горбун». Гарицо гордился тем, что умеет говорить чуть картавя, как римляне; он был надушен. Атилле хотелось сбросить его руку, ему был невыносим этот запах, но он уже умел многое, он не двинулся с места, он зубами улыбался Гарицо, Теодорику и Уффе. Но почему они так говорили с ним? Он не мог этого понять.

В библиотеке горбун сказал Атилле: «С завтрашнего дня ты начнешь заниматься у Басса и у других, ты у меня уже достаточно научился. Мне надо уехать». – «Куда?» – спросил Атилла. Пальцы на коленях у горбуна метались, дергались. Он вскочил и забегал по ковру, он говорил, может быть, не с Атиллой, а с самим собой – о том, что варварские конники уже несутся по итальянским долинам, они уже недалеко от Флоренции, и если что может теперь спасти Рим, то это только хуны... «Хуны?» – переспросил Атилла не веря. – «Да, я еду к их князю Улду, – сказал горбун, – он куплен Римом, он и его войско». – «Нет!» – закричал Атилла, он повторял только одно это

слово, он забыл все другие. Горбун испуганно закрыл ему рот ладонью: «Не кричи, не кричи! Не надо, чтобы тебя слышали!»

Тогда Атилла понял, почему Гарицо и другие внезапно стали так ласковы с ним.

Это был тот тревожный день, когда все в Риме уже знали, что под Флоренцией начался бой. В этот день Приск пошел к Бассу в императорский дворец.

Басс был в библиотеке, он разговаривал с чернобородым врачом. В стороне, на краю огромного кожаного кресла, как зимний воробей, дрожал маленький лангобард Айстульф, глаза у него тускло блестели. Врач тихо сказал Бассу, что мальчик проживет неделю, не больше. Басс похлопал Айстульфа по спине: «Веселей, мальчик! Тебе осталось ждать немного: доктор говорит, что через неделю твоя болезнь совсем кончится. Иди!» Доктор увел маленького варвара. Теперь Басс был свободен, он подошел к Приску и заговорил о том, о чем сегодня говорили все в городе: о приближающихся варварах.

Он, как всегда, шутил, улыбался. Казалось, непроницаемой сетью улыбок он был защищен от всего, он мог отшутиться от всех опасностей, страданий, может быть, даже от самой смерти. Он весело сказал Приску: «Итак, мой юный друг, может быть, через несколько дней и мы, вместе со всем Римом, будем навсегда исцелены от всех болезней, как этот маленький варвар? Ты должен быть доволен: для твоей книги – это находка, ты увидишь замечательный спектакль. Снова – хаос, снова – первый день творенья. Разница от Библии только в том, что скоты окажутся созданными в первый день, а человек – может быть потом, если у бога истории найдется свободное время, а если нет...»

Не переставая говорить, он под руку вел Приска по длинному коридору. «Вот сейчас свернем за угол – я остановлю его и спрошу о н е й», – решил Приск. Когда свернули за угол, он покраснел, набрал воздуху, чтобы говорить, – и не мог. Басс остановился у открытых дверей, крикнул ожидавшему на пороге беловолосому юно-

ше: «Сейчас, Теодорик, сейчас» – и стал прощаться с Приском. У Приска на лбу выступил пот: «Если я сейчас не спрошу – конец, я уже никогда ее не найду...» Басс увидел его растерянные, что-то кричащие глаза. «У тебя ко мне какое-нибудь дело?» – «Да...» – пробормотал Приск, от стыда ненавидя и себя и Басса. «Тогда посиди на моих занятиях, когда я кончу, – мы поговорим», – предложил Басс. Приск, сутулясь, пошел за ним. Он оставил дверь полуоткрытой. Беловолосый Теодорик хотел встать и закрыть ее, но не успел: Басс уже начал говорить.

Он медленно обвел глазами всех, как цепью, связывая их взглядом. В углу он увидел Атиллу. Тонкая сеть на лице Басса зашевелилась. «Здравствуйте, мои юные римляне!» – громко сказал он. Он говорил так каждый день, надо было, чтобы эти варвары хорошо запомнили, что они – уже римляне. «Да здравствует Рим!» – закричали все. Атилла молчал, нагнув лоб с двумя торчащими вихрами, похожими на рога. Басс подошел к нему: «Почему ты один молчишь?» – Атилла продолжал стоять все так же. – «Ну, что же? Мы ждем ответа!» – Все глаза были нацелены на Атиллу, он это чувствовал. «У меня болит язык», – сказал он; римские слова, выходя из его рта, скрипели и скрежетали. «Болит язык? Покажи, покажи-ка, может быть, это опасно!» Басс взял Атиллу за подбородок. Тогда Атилла сжал свой язык зубами, так что сам услышал, как во рту хрустнуло. Потом он высунул язык и показал его Бассу, по языку струилась кровь, все увидели это.

Атилла смотрел в глаза Бассу, они боролись глазами, как копьями, – и Басс отвернулся. Сердце у Атиллы полетело, широко размахивая крыльями, он понял, что победил. Но это длилось только одно мгновение. Все лицо Басса зашевелилось, как клубок змей, и он сказал, уже обращаясь ко всем: «Жаль, жаль, что наш юный друг не может приветствовать Рим. Остается нам, римлянам, приветствовать его, как соотечественника хунов, которые теперь благородно сражаются за нас. И чтобы вы все знали, как Рим ценит благородство, я вам скажу, что за него заплачено тысяча пятьсот фунтов чистейшего, как это благородство, золота...»

Атилла задышал так громко, что все обернулись к нему. Уезжая, Адолб оставил Атилле свой нож, Атилла но-

сил его на поясе под одеждой, и теперь ему показалось, что нож толкает его. Этого никто не знал, но все почувствовали, что сейчас, в следующую секунду, что-то произойдет. В тишине были слышны частые удары молотков, это работали на фабрике статуй под дворцовой стеной, молотки стучали, как сердце.

Все разрешилось совершенно неожиданно: через неплотно прикрытую дверь, хлопая крыльями, влетел петух императора, белый «Рим». Следом за ним в комнату вбежала девушка с протянутыми руками. Все встали: это была Плацидия, сестра императора. Ее волосы сверкали, они были огненно-рыжие и были осыпаны золотой пудрой. У нее были чуть раскосые зеленоватые глаза и будто такие же раскосые маленькие груди. «Лови его, Басс, лови!» – закричала она. Басс присел, расставив полы одежды. Петух остановился, золотая коронка у него съехала набок. Плацидия взяла его на руки, белые перья у него на шее встопорщились, он нацелился и клюнул девушку в грудь, в острый кончик, обтянутый платьем. Она повела плечами, засмеялась, раскосо посмотрела вокруг, каждому показалось, что она посмотрела именно на него.

«Это мой юный друг Приск, из Византии», – сказал ей Басс, положив руку на плечо Приска. Он почувствовал: это плечо под его рукой дрожало. Красный, полуоткрыв рот, Приск смотрел на Плацидию. «Из Византии?» – рассеянно переспросила она, раскосо скользнув глазами по лицу Приска. В это время петух снова клюнул ее в левую грудь. «Бесстыдник! Возьми его, Басс, и неси за мной, он не может спокойно смотреть на меня!» – «А ты думаешь, я или кто-нибудь из нас – может?» – играя морщинами, сказал Басс. Девушка исподлобья взглянула на него и засмеялась. Потом она быстро, остро клюнула глазами каждого из тех, кто был здесь, и вместе с Бассом вышла.

И все-таки она осталась здесь, она была в каждом. Гарицо Длинный облизывал губы. «У этой девочки, должно быть, волосы везде такие же золотые, как на голове. Я бы хотел полежать с ней! Даю голову на отсечение, что в этом искусстве она...»

Гарицо не кончил: что-то с грохотом упало, зазвенело. Это был столик, на котором стояла ваза. Приск задел ее, по-медвежьи, тяжело шагнув по направлению к Гарицо.

Уже подойдя к Гарицо, он как будто вспомнил что-то, растерянно заморгал, повернул под прямым углом и выбежал в дверь.

В глубине гулкого, с огромными окнами коридора он увидел Басса, Басс передавал свою драгоценную ношу седовласому хранителю императорского петуха. Немного подальше шла Плацидия, солнце показывало ее круглые ноги сквозь тонкую ткань. Она уже сворачивала за угол коридора, еще мгновение – и она исчезнет... «Приск, подожди, куда ты?» – крикнул Басс. Приск только взглянул на него дикими глазами и, ничего не ответив, быстро пробежал мимо.

Плацидия услышала за собой его шаги, остановилась, обернулась. Это была божественная августа, сестра императора. Она высокомерно, удивленно посмотрела на Приска. «А вдруг – я ошибся, вдруг – это только случайное сходство?» – пронеслось у него в голове. Он забыл все слова, он стоял молча, весь красный. «Тебе что-нибудь от меня нужно?» – спросила она. «Нет...» – пробормотал Приск. Она пожала плечами и ушла, не оглядываясь. Приск увидел, как огромная – в два человеческих роста – дверь в императорские покои открылась перед ней, потом захлопнулась. Все было кончено.

6

Три дня Атилла не видел волка. Теперь он взял спрятанный за обедом кусок мяса и пошел в парк.

Была полная луна, каменные плиты на дворе лежали мягкие и белые, как будто это был снег. Под дворцовой стеной была черная тень. Атилла шел, все время держась в тени, чтобы его не увидели часовые. Они стояли слева у золотых ворот, один чуть слышно пел песню о том, как он рубил дерево, а из дерева потекла кровь.

Ступая неслышно, как волк, Атилла проскользнул в парк. Там тоже все было белое и черное. Под деревьями, белея, стояли голые женщины из камня. Снизу из оврага был слышен женский смех, голоса, Атилла знал, что там сейчас Басс, Гарицо, Уффа и остальные играют с женщинами. Ни около волчьей клетки, ни поблизости никого

не было, можно было кормить волка и чувствовать его теплоту.

Атилла вошел в черный круг дерева, под которым стояла клетка. В темноте глаза волка блестели, как два зеленых светляка. Атилла просунул мясо сквозь прутья, светляки отодвинулись, волк заворчал. «Что ты? Это я, это я», – сказал Атилла, но волк продолжал ворчать, забившись в дальний угол.

Атилла понял, что волк был злой. Гарицо и другие часто дразнили его, просовывая палки сквозь прутья, – наверное, так было и сегодня. Атилла вдруг громко засмеялся – сейчас же закрыл себе рот ладонью, чтобы никто не услышал. Но он продолжал смеяться внутри, он не мог перестать, потому что он сейчас видел все, что произойдет. Он нагнулся и открыл дверь клетки. Волк, блестя глазами, сидел все так же, забившись в угол, но Атилла знал, что потом он выскочит. Внизу в овраге Гарицо закричал: «Лови ее, лови!»

Мягкими волчьими шагами Атилла снова прошел по белым плитам двора. Если бы это был снег, он бы скрипел под ногами. Внезапно ему так захотелось, чтобы это был снег, что ему даже стало больно внутри, он остановился. «Эй, кто там?» – крикнул часовой у ворот. Атилла быстро нырнул в тень и прижался к стене за водосточной трубой. Часовой вышел на середину двора, постоял, потом вернулся к товарищам, что-то сказал им и снова запел. Опасность миновала. Маленькая боковая дверь во дворец была рядом.

У себя в комнате Атилла стоял, не шевелясь, сделав уши острыми, как волк, чующий добычу. Он ждал, что сейчас в парке закричат, он видел, как Гарицо испуганно лезет на дерево и его одежду рвут сучья, все бегут в разные стороны, волк прыжком опрокидывает Басса...

Но в парке все было тихо. А может быть, волк из клетки выбежал не в парк, а во двор, потом на улицу – и теперь уже мчится где-нибудь по полям? Атилла побежал вместе с волком, все дальше. Ему опять стало больно внутри, потому что он увидел волчьи следы на снегу, это было уже не здесь, а там, дома. Под окном стояло дерево, сучья у него были белые и мягкие от снега. На шее лежала теплая ладонь Куны. Странник с

птичьим клювом сидел у огня и рассказывал о треугольном городе...

«Императора... Где император? Скорее разбудить императора!» Красная полоска из-под двери разрезала темноту комнаты, как нож. Были слышны испуганные, задыхающиеся от бега голоса. Атилла побежал к двери и чуть приоткрыл ее. Он увидел: солдаты с факелами обступили евнуха, красный свет дрожал на его старушечьем лице. Он еле выговорил трясущимися губами: «Что? Что случилось?» Атилла знал что: это – его волк, сейчас солдаты расскажут, что он сделал.

Но он услышал совсем другое – такое, что у него забилось сердце и он не вскрикнул от радости. Солдаты, перебивая друг друга, рассказывали евнуху, что они стояли у ворот, как вдруг подскакал всадник, его лошадь задыхалась, с ее губ падала пена. Всадник привез известие, что хуны изменили, они внезапно напали на римскую заставу и изрубили всех. – «Это был сам Ульд!» – «Они идут на Рим, утром они будут здесь!» – «Тише! Тише! – отчаянным шепотом закричал евнух. – Где он, где этот человек?» – «Он сам ранен, он лежит на дворе...» – «Он, может быть, уже умер», – перебил другой солдат. Все замолчали. Смола с факелов, шипя, падала на пол. Евнух махнул рукой и побежал, солдаты за ним. В коридоре дворца стало темно.

Раненый, привезший известие о неожиданной измене Улда, был еще жив. Он подтвердил все, что говорили солдаты. Нужно было разбудить императора, но все боялись, никто не смел входить к нему ночью. Это могла сделать только Плацидия, но что если она сама сейчас там? Все во дворце знали, что император часто спит с сестрой.

К счастью, сегодня они спали отдельно. Торопливо закручивая вокруг головы свои рыжие волосы, Плацидия выбежала на стук в белой ночной одежде и в красных туфлях. Одна туфля зацепилась за порог и соскочила. Плацидия даже не заметила, она быстро шла в одной туфле, это увидел евнух, он сказал ей. Она, не останавливаясь, сбросила на ходу вторую туфлю и пошла дальше.

У дверей императорской спальни стоял огромный светловолосый аллеман, любимец Гонория. Плацидия вошла в

спальню и сзади нее, на цыпочках, евнух. Белый мальтийский щенок императора выскочил из-под кровати и залаял. Император поднял налитые сном веки, они сейчас же снова упали. Он, не глядя, опустил руку, поднял подол Плацидии и провел рукой вверх по ее горячей, круглой ноге. «Дурак! Оставь! – оттолкнула она его руку. – Случилось несчастье».

Гонорий открыл глаза и увидел трясущиеся губы евнуха. «Рим... Рим»... – евнух не мог говорить. – «Что – Рим?» – «Рим – погиб!» – неожиданно громко выкрикнул евнух и заплакал. Император вскочил. Его маленький, тесный рот сдвинулся влево, глаза стали круглыми, как у птицы, собирающейся клюнуть. «Мерзавцы! – закричал он. – Обкормили? Принесите – сейчас же принесите его мне сюда!»

Евнух разинул рот, нижняя губа его висела синяя, как мясо, ему показалось, что император лишился рассудка. Потом он понял: император говорит о своем любимом петухе. «Нет, не петух! Город Рим! Империя!» – сказал евнух, с силой вталкивая в императора каждое слово. Гонорий громко с облегчением вздохнул. «Фу, как ты меня напугал! Значит, мой маленький «Рим» жив? Ну, хорошо. Тогда что же случилось?»

Евнух рассказал. Когда император, наконец, понял, что хуны изменили, что завтра утром они уже могут ворваться в Рим, ноги у него стали мягкими, он лег. «Как завтра? Нет, не завтра, это не может быть, это не может быть»... – растерянно повторял он, стараясь плотнее закутаться одеялом. Плацидия резко дернула его за руку: «Вставай сейчас же, слышишь?» Ее зеленые глаза кололи. Император испуганно, исподлобья посмотрел на нее и быстро спустил с кровати худые голые ноги.

Случилось так, что в тот вечер, когда Атилла выпустил волка, Басса в парке не было. Он остался дома, у него был Приск.

Приск пришел к Бассу так, как люди идут к хирургу: они знают, что сейчас в их живое тело войдет нож, но уж лучше это, чем медленная, ни на минуту не умолкаю-

щая боль. Эта боль называлась Плацидия. Приск знал, что Басс поднимет его на смех, но ему надо было выкричать перед кем-нибудь свою боль, и у него никого не было, кроме Басса.

То, что он увидел у Басса, было так неожиданно, что он на время совершенно забыл, зачем он явился сюда. Он с удивлением смотрел на жалкий облупленный потолок, на брошенный на полу травяной веник, на черствый кусок сыра на столе. Басс стоял в странной позе: лицом к стене. Он не повернулся, он сказал только: «А, это ты, Приск?» – и продолжал стоять все так же. Приск растерялся. «Прости, Басс, я хотел тебя увидеть, но если...» – «Ты хотел меня увидеть? – перебил его Басс. – Так вот, смотри!»

Он повернулся лицом к Приску. Приск отступил на шаг: как, это – Басс? Да, это был Басс, его лысый огромный лоб, и на лице – та же сложная сеть морщин. Но вместо всегдашних улыбок по этим морщинам сейчас ползли вниз... слезы! Приск услышал, как Басс проглотил их, это было похоже на булькание брошенного в воду камня. «Басс, это – ты?» – нелепо спросил Приск. – «Да, это – я»... Басс взял отрезанный кусок сыра и внимательно разглядывал его. – «Я, к сожалению, – человек. Ты, кажется, этого не думал?»

Он сел и опустил лоб на руку, в руке по-прежнему был кусок сыра. «Ничего, ничего не осталось, – сказал он совершенно спокойно. – Ни богов, ни бога, ни отечества. Очень холодно. А у нее были теплые, живые, губы, ее звали Юлия, она умерла... Моя жена умерла сегодня». – «Как? У тебя была жена?» – сказал Приск и покраснел, он вспомнил все, что говорил Басс о женщинах. Басс поднял голову, глаза у него были сухие, капли на лице как будто проступали через кожу изнутри. Он ударил кулаком по столу, кусок сыра сломался, в руке осталась только половина. «Она давно ушла от меня с низколобым кретином, цирковым атлетом, быком! Ты видел теперь, как я живу? Почему? Потому что все свои деньги я отдавал ей и ее любовнику, я содержал их обоих. Но зато хоть изредка она позволяла мне приходить к ней, а теперь...» Он стал внимательно разглядывать корку сыра, которую он все еще держал в руке, вдруг бросил ее на стол и вышел, захлопнув за собой дверь.

Приск стоял ошеломленный и думал без слов, глядя перед собой на стену и ничего не видя. Потом он разглядел на стене картину в золотой засиженной мухами раме: Пасифая, стоя на четвереньках, отдавалась быку, ее лица не было видно, оно было закрыто ее распущенными волосами, Приску показалось, что если бы можно было откинуть назад эти волосы, то он увидел бы знакомые раскосые глаза. Под картиной стояли на столике водяные часы – две стеклянные змеи, соединившиеся жалами. Время текло в них тоненькой голубой струйкой. Басса все не было.

Когда он вернулся, тот новый, неожиданный человек, который на мгновение мелькнул Приску, уже исчез: теперь это был прежний, беспощадно улыбающийся Басс. «Не правда ли – это было смешно? – сказал он. – Я отлично помню: у меня в руке все время был кусок сыра... – он засмеялся. – В сущности, все обстоит превосходно: я сразу разбогател, мне уже незачем тратить деньги на обтесывание кретинов... Впрочем, нет: это меня забавляет. Там, во дворце, у меня есть молодой хун, он держится крепко, но я добьюсь своего!»

Басс говорил очень быстро, глаза у него блестели, как будто его сжигала такая же смертельная лихорадка, как маленького лангобарда Айстульфа. В руке он держал небольшую серебряную коробку – как раньше кусок сыра. Он заметил, что Приск смотрит на нее. «Ах, это? Это – отличное лекарство, привезенное из Китая, они мудрее нас, они умеют лечить даже души». Он быстро, остро взглянул на Приска, вернее – не на него, а в него, внутрь – и протянул ему коробочку: «Возьми, попробуй, тебе это тоже будет полезно». Приск послушно взял и проглотил горькую пилюльку. «А теперь – идем к «Трем Морякам» и выпьем в честь нашего нового вождя – Ульда. Как? Ты еще не знаешь о его победе над Флоренцией?» Он начал рассказывать, его морщины шевелились, как клубок змей, его слова жалили. Сзади жалобно скулил увязавшийся за ними на улице щенок с вывернутым наизнанку ухом.

Когда они прошли несколько кварталов, с Приском началось что-то очень странное. Было так, будто отодвинулись какие-то стены и Приск стал расширяться,

сначала медленно, а потом все быстрее. Скоро он почувствовал, что весь мир, все бесчисленное множество вещей больших и малых – не вне его, как всегда, а внутри, в нем. Горькая, зеленоватая луна в небе, облитые бледным светом поля под Флоренцией, темные, ничком трупы, фонарь над лотком ночной торговки, красное зарево позади замка св. Ангела, гогочущая римская толпа, пьяный бородатый монах, пляшущий на бочке, грохот рушащейся в огонь крыши, сквозь огонь – черные человеческие волны, несущиеся с Востока, попавший под ноги щенок с вывернутым ухом, этот раздавленный щенок и Басс и сам Приск, непонятно слитые в одно живое существо, розовый попугай на руке у слепого солдата, боль от звона брошенной ему монеты, голос, выкрикивающий объявление о завтрашнем триумфе, Пасифая-Плацидия, на четвереньках – голая, мерзкая, прекрасная... Он видел, слышал, чувствовал все это сразу, он был как вездесущий бог.

«Да, да. Ибо: «Человек имеет повеление стать богом», этому учил нас Василий Великий. Так что мы, милейший мой Приск, выполняем завет церкви... с помощью китайских пилюль!»

Они стояли на мосту, как в первый день их встречи. В черной воде дрожали огни Рима, каждое мгновение готовые рассыпаться, исчезнуть. «Она исчезла, – с горечью во рту сказал Приск. – Она притворилась, что не узнала меня. Еще бы! Она – божественная августа, а кто я?» – «Ты же только что утверждал, что ты бог? – засмеялся Басс. – Бедный бог!» Но тотчас же он стал серьезным, он опять стал тем неожиданным человеком – Бассом, которого впервые увидел в тот вечер Приск. Человек-Басс пристально глубоко посмотрел на Приска: «Мой юный друг, уезжай отсюда скорее. Ты станешь как я, ты здесь погибнешь». – «Я уже погиб, – сказал Приск. – Я буду ждать ее целые дни, у ворот дворца, у входа в театр, на улице, всюду, где она может появиться, я подойду к ней при всех, я скажу ей... Я не могу уехать отсюда, потому что здесь – она. Не могу! И пока у меня есть деньги...» – «Деньги, которые тебе дал Евзапий?» – перебил его Басс. Приск остановился, как будто с разбегу налетел на стену.

Это была стена в бедной комнате Евзапия. На столе среди книг лежал черствый кусок сыра, травяной веник валялся на полу. Евзапий сказал, что ему стыдно напоминать об этом – о том, что он жил как нищий, во всем отказывал себе, только чтобы собрать эти деньги и дать Приску возможность написать книгу. Такую книгу, великую и страшную, мог бы написать Ной в дни потопа – если бы он умел писать. «Ты, Приск, избран был Ноем, тебе была доверена эта книга, а ты... Говори! Оправдывайся! Что же ты молчишь?» – сурово сказал он.

Это был Евзапий, но это в то же время был Басс. Под ногами качался и исчезал утопающий Рим. Уши у Приска горели, во рту была нестерпимая горечь. «Я напишу эту книгу! – крикнул он. – Клянусь тебе: я напишу ее, я уеду отсюда!» – «Я тебе верю», – сказал Басс. Оглянувшись по сторонам, он обнял и крепко поцеловал Приска.

7

С городской хлебопекарни пожар перекинулся на другие дома. Багровое, распухшее небо над замком св. Ангела покачивалось, готовое рухнуть. В императорской спальне зловещие красные пятна проступали на белом шелке стен, на подушках, на бледных щеках Гонория. Перед ним стоял евнух с императорским панцирем наготове. За дверью ждали министры, придворные, тревожно перешептывались солдаты дворцовой гвардии.

«Ты меня не жалеешь, – сердито сказал Гонорий и сунул Плацидии руку. – На, смотри: у меня опять лихорадка. Пусть как хотят – без меня... Я уеду в Равенну!» Он выхватил из рук евнуха панцирь и бросил его на пол. Плацидия стиснула острые, мелкие зубы, ей хотелось крикнуть грубое матросское ругательство, но она удержалась.

Она открыла дверь. Шепот замолк. Подняв голову, она отчетливо, сверху, сказала: «Император болен, он отбывает в Равенну. Он уверен, что вы и без него сумеете достойно наказать этих изменников-хунов». Шепот сре-

ди солдат стал слышнее, сквозь него, как огонь, уже пробивались отдельные громкие голоса. «Что такое?» – сказала Плацидия и пошла прямо на солдат. Они замолкли и попятились. Плацидия, не торопясь, пошла обратно, в дверях остановилась. «Не пускать никого», – приказала она огромному белокурому аллеману. Однажды ночью, доведенная до неистовства бессильными ласками Гонория, она ушла от него и позвала в свою спальню аллемана. Это было только один раз, но он запомнил это навсегда. Он посмотрел на нее сейчас как на бога и стал у дверей.

Скоро по каменным плитам двора прогремели колеса закрытой кожаной каруццы, без всяких украшений. Император хотел проехать через Рим неузнанным, он не брал с собой ни конвоя, ни свиты. Луна уже зашла. На дворе было пусто, черно, только красные пятна зарева шевелились на дворцовых стенах, поблескивали в зрачках лошадей. Гонорий вышел из маленькой боковой двери, он прижимал к груди своего петуха, под ногами у него вертелся его мальтийский щенок.

Вдруг щенок злобно залаял и кинулся на другую сторону двора, где чернели вдоль стен кусты роз. Он жалобно, пронзительно взвизгнул там, потом еще раз и замолк. «Что там такое, что там?» – испуганно сказал император. Евнух, колыхая животом, пошел туда, но через несколько шагов остановился и стал пятиться назад, потом побежал. Все увидели освещенную красным светом огромную собаку, выскочившую из кустов.

Первыми все поняли лошади; они, храпя, взвились на дыбы и промчались к воротам. Волк постоял секунду, как будто выбирая, потом прыгнул на людей. Император вцепился в руку Плацидии. Евнух упал и лежа вопил тонким женским голосом: «Помогите!» От ворот во весь дух бежали часовые. Плацидия успела подумать, что они не добегут – и пусть: лучше так, чем если когда-нибудь убьют солдаты...

Огромный аллеман прыгнул так же быстро, как волк, на камнях забился живой узел, в котором перепутались животное и человек. Волк остался лежать, аллеман встал. Из его бедра по голой ноге ручьем текла кровь. Он, тяжело дыша, остановился перед Плацидией и счастливо,

молитвенно смотрел на нее. Плацидия, сорвав с себя шарф, перевязала ему рану. Из всех входов дворца сыпались люди, переполошенные криками евнуха.

Он стоял теперь перед императором, нижняя губа его отвисла и тряслась. «Это заговор! – кричал Гонорий, его маленький рот съехал совсем влево. – Кто выпустил его из клетки, кто? Ты это узнаешь – или ответишь за это сам!» Он влез в экипаж. «Когда я вернусь», – тихо сказала Плацидия аллеману и села рядом с Гонорием. Золотые ворота, медленно блестя, открылись, колеса загремели железом по камню.

Каруцца императора ехала так, чтобы миновать Эсквилин и Виминал – 5-й округ, сплошь населенный пролетариями. Когда выехали из города, Гонорий высунулся из экипажа и оглянулся, как будто своими глазами хотел убедиться, что все уже осталось позади. Луны не было, римские стены были черные, только на самом верху их мелькали багровые, дымные огни: это бегали солдаты с факелами, римский гарнизон готовился к бою. «Красиво, правда?» – сказал император. Плацидия не ответила. Император вынул из-под сиденья экипажа серебряный дорожный горшок, помочился, поставил посуду на место и спокойно, счастливо заснул.

Перед зарей на верху стен стало холодно. Солдаты сидели кучками, прижавшись друг к другу, и дремали. Злые, усталые начальники когорт покрасневшими глазами вглядывались в белый туман внизу: оттуда каждую минуту могли появиться хуны. Было тихо, только где-то далеко, как часовые, перекликались в темноте петухи. Вдруг на стене у Аппиевых ворот что-то закричали, и быстро, как огонь по смоленой нитке, крик побежал от башни к башне. Солдаты вскакивали: «Хуны! Где? Где?» – хватались за оружие...

Но через несколько минут все уже знали, что из императорского дворца получен приказ: всем немедленно разойтись по казармам. Офицеры ничего не понимали: что ж это, предательство? Сдают Рим без боя? Они пытались удержать солдат, но солдаты, не слушая, весело бежали вниз по лестницам: жалованье они получили только вчера, а на остальное им было наплевать.

Стены быстро опустели. Рим остался беззащитным.

Завтра Улд возьмет Рим! Атилла слушал и, прикрыв рот ладонью, смеялся от счастья. Он понял, что Улд обманул римлян, как лисица обманывает собак на охоте.

Когда солдаты и евнух ушли будить императора, Атилла вышел в коридор. В огромном окне плясало зарево, Атилла смотрел. Ему было тесно, сердце билось в ребра, как в прутья клетки. Оно вырвалось и полетело над завтрашним днем. Зарево стояло уже над всем Римом. Улд ехал по улицам. Красный от огня, такой же большой, как отец, Мудьюг, Атилла ехал рядом с ним, он вдыхал его запах, сердце билось. Они взглянули друг на друга и засмеялись: навстречу им конники гнали императора, он был внизу, маленький, босой, за ним – тоже босых – гнали Басса, Гарицо, Уффу, евнуха, Плацидию...

Босые ноги шлепали по коридору. Это был Уффа, в ночной рубашке. Он был белый, жидкий, как тесто, из которого Куна пекла хлеб. Он подбежал к Атилле, схватил его трясущейся рукой. «Скажи, это верно, что Улд...» – «Верно», – перебил его Атилла и ушел в свою комнату, он рассердился, что Уффа помешал ему видеть Улда.

Он лег на постель и закрыл глаза. Скоро он увидел тот самый треугольный город Радагост, о котором давно, дома, рассказывал странник. Город был в руке у Атиллы. Он сжал руку. Запертые в треугольнике, метались маленькие, как муравьи, люди. Атилла сжал руку крепче, люди забегали еще быстрее, и на руку к нему закапал красный сок. Руке стало горячо, он проснулся. Внизу, на дворе, кто-то тонким голосом кричал: «Помогите! Помогите!» Хлопали двери, по коридору, топая, стремглав бежали люди. «Улд!» – подумал Атилла. Сердце его взлетело, он побежал вместе со всеми.

Внизу на дворе он увидел волка. Волк уже лежал мертвый, темный на белых плитах. Атилла вспомнил теплоту его шеи, горячий шершавый язык, лизавший руку. Теперь Атилла остался совсем один... Нет, не один: завтра здесь будет Улд! Атилла услышал, как император приказал найти того, кто выпустил волка из клетки. Атилле стало смешно, это было как игра: они искали его, а он был здесь, рядом с ними.

Во дворце никто не ложился спать в эту ночь. Она уже шла к концу, небо позеленело, на дворе стало холодно. Все толпились в нижнем зале. Атилла вошел туда и увидел евнуха отдельно от всех. Евнух сидел в полукруглой нише окна, выходившего в парк, перед ним стоял рябой солдат. Атилла сразу же узнал его: этот солдат вечером стоял на часах у ворот и пел, от него Атилла спрятался за водосточную трубу. К солдату подошел толстый Уффа, солдат посмотрел на него и покачал головой: «Нет». Потом так же прошли мимо солдата Гарицо Длинный и другие, которые вечером были с женщинами в парке. Атилла понял.

Он все понял в одно мгновение, без слов, как понимает лисица каждое движение догоняющих ее собак. По телу у него пробежал веселый холодок. Он почувствовал спиною, что сзади него двери открыты. Рябой солдат что-то хотел сказать евнуху, но остался с разинутым ртом, глядя в сторону, где стоял Атилла. Все так же, без слов, Атилла понял, что солдат увидел, узнал его и что теперь нельзя терять ни одного мгновенья. Вскочивший с кресла евнух и солдат и другие уже бежали сюда. Атилла быстро повернулся к дверям...

В дверях стоял горбун. Атилла ошибся: все бежали, потому что увидели вошедшего горбуна. Длинные его руки висели ниже колен, лицо было серое от усталости и от дорожной пыли. Его окружили, спрашивали, дергали, все знали, что он был у хунов, что он сейчас оттуда. Горбун ничего не отвечал, он сказал только: «Пить!» Какой-то солдат дал ему флягу с вином. Евнух с ненавистью смотрел, как, жадно глотая вино, двигался кадык на шее горбуна. «Довольно! Говори!» – крикнул он, не дождавшись, и вырвал у горбуна флягу.

Горбун рассказал, как все произошло. Улд, обогнавши войска, ехал впереди всех. Начальник римской заставы не рассмотрел его в темноте, схватил его коня под уздцы и крикнул: «Стой! Нельзя!» – «Нельзя! Мне?» Улд засмеялся и убил его, а люди Улда убили остальных. Спасся только один – тот самый, какой в начале ночи прискакал во дворец и поднял тревогу. Горбун объяснил Улду, что из всего этого может получиться. Тогда Улд послал горбуна в Рим сказать что он «пошутил» и что готов за каждого убитого римского солдата заплатить по два коня.

Из дворца тотчас же поскакали гонцы с приказом гарнизону сойти со стен и вернуться в казармы. Дворцовый зал быстро опустел, все вдруг почувствовали, как они устали в эту ночь. Горбун тоже хотел идти к себе, но остановился: он заметил Атиллу. Таким он его никогда не видал: маленький хун был так бледен, как будто из него выпустили всю кровь. Горбун испугался. «Что с тобой? Ты болен?» – «Не трогай меня!» – Атилла оттолкнул горбуна и пошел куда-то, ему было теперь все равно куда идти, потому что Улда больше не было.

Наутро такой же бледный он стоял внизу, возле устланного красным сукном помоста. Он, не отрываясь, жадно следил глазами за каждым движением Улда. Вместе с другими Атилла поднялся на помост. Улд был теперь близко. Он подошел к Атилле и взял его за подбородок. Атилла перестал дышать и мгновение не видел и не слышал. Он опомнился только тогда, когда почувствовал: его зубы с наслаждением впились во что-то. Во рту у него стало тепло и солоно. Он понял, что это кровь Улда, он стал дышать, то, что его душило, – теперь прошло.

Солдаты держали его за руки и вели во дворец. Он слышал, как кричала толпа, но он не хотел смотреть на них, он шел, нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами. «Подними морду! Тебе говорю – слышишь?» – Это был голос евнуха. Атилла поднял глаза. Золотые дворцовые ворота блестели, около них стоял рябой солдат, тот самый.

Солдат, прищурясь, весело посмотрел на Атиллу и сказал: «Это он!» Синяя нижняя губа у евнуха затряслась, он замахнулся. Атилла оскалил глаза, как зубы, и взглянул на евнуха, и тот опустил руку. Брызжа от злости слюной, евнух закричал солдатам: «Тащите его туда и заприте, пусть сидит там!»

Железный засов лязгнул и вошел в петли. Атилла был закрыт в пустой волчьей клетке, на дверь повесили большой замок. Рябой солдат повернулся спиной к Атилле, подняв свою одежду, и похлопал себя рукой по голому заду, исполосованному белыми рубцами. Атилла понял. Он бросился к двери, вцепился в прутья, изо всех сил затряс их, железо звенело. Солдаты смотрели и смеялись.

Атилла отвернулся от них и стоял, скрипя зубами. На плечах и на спине он чувствовал от их смеха жгучие полосы, как от ударов кнута.

Потом он узнал картавый знакомый голос, это был Гарицо и его компания, с ними было несколько молодых римлян. Изображая хозяина бродячего зверинца, Гарицо ломаным языком расхваливал диковинные свойства запертого в клетке зверя. Жилы на лбу у Атиллы напряглись, ему казалось, что они сейчас лопнут, но он стоял все так же. Что-то толкнуло в бок, в спину. Он не повернулся, но углом глаза увидел конец длинной жерди, просунутой в клетку. К его ногам упало надкушенное яблоко, потом в голову ему ударил метко брошенный небольшой камень. Он стоял, не двигаясь. Тем стало скучно, они ушли. Вместо них появились другие люди, мужчины и женщины. Атилла слышал их голоса. Их становилось все больше, как будто весь Рим собрался в парке смотреть на посаженного в клетку хуна. Когда они заходили сбоку, чтобы заглянуть ему в лицо, Атилла закрывал глаза. Он стоял, крепко сжимая руки, как если бы в них треугольный город, на мгновение приснившийся ему ночью. Он стоял и думал, что когда-нибудь это будет на самом деле, и тогда он сожмет их всех так, что из них брызнет сок.

Евнух послал гонца вдогонку императору, чтобы известить его обо всем происшедшем. Гонец нагнал императора перед вечером, когда солнце уже садилось. Император лежал на красном ковре в лесу, недалеко от дороги. Он только что кончил ужинать, за ужином он съел больше чем надо, ему было грустно, он думал о Боге. Но как только Плацидия начала читать ему доклад евнуха, он развеселился. «Что? Что? Укусил триумфатора?» Он хохотал до слез. Потом он вытер глаза, и Плацидия стала читать дальше – о том, что этот же маленький хун выпустил волка из клетки, евнух спрашивал, как поступить с ним. Император, скривив рот, помолчал, подумал. Затем взял перо, написал несколько слов евнуху и отдал письмо гонцу.

На другое утро евнух с солдатами пришел к клетке, снял замок и открыл дверь. «Выходи... эй, ты». Но Атилла ни за что не хотел выйти, он вцепился в железные прутья, его не могли оторвать. Рябой солдат ударил его по пальцам ножнами меча, побелевшие пальцы разжались, тогда его удалось вытащить. Солдат сказал: «Ты чего брыкаешься? Теперь ты будешь сидеть не в клетке, а в комнате, до того дня, когда...» – «Не разговаривать!» – крикнул евнух. Солдат замолчал. Атиллу отвели в пустую незнакомую комнату и заперли там.

Дверь была низкая, окованная железом. В комнате не было углов, она была круглая. Атилла ходил кругом, толстые стены молчали, у них не было ни начала ни конца. Ему стало казаться, что так было всегда и никогда не было ничего другого, ни травы, ни снега, ни теплой руки Куны, ни одноглазого Адолба. Он вспомнил брата Бледу и подумал, что обрадовался бы, если бы почувствовал сейчас на шее его холодные пальцы. Еду и питье ему приносили, когда он спал, он не видел ни одного человека. По полу неслышно двигалось светлое пятно с черным переплетом – тень от решетки круглого окна наверху. Черная тень медленно всползала на стену, на потолок, потухала. Это повторялось, это тоже было круглое. Потом внезапно круг разорвался: открылась дверь, вошли люди.

Окно еще только чуть светлело, но Атилла не спал. Он вскочил и хотел закричать, но потом подумал, что тогда все соберутся и будут смотреть на него и это будет еще хуже. Он сказал: «Я пойду сам». Спустились во двор. Он жадно глотнул запах мокрой травы из парка и посмотрел вверх, небо было исполосовано красными рубцами зари. Покрытое росой золото ворот было тусклое. Он шел спокойно, но глазами уже выпрыгнул за ворота, он сказал себе: «Когда выведут туда...»

Ворота медленно приоткрылись, Атиллу вывели на улицу. Он весь напрягся – так, что все в нем как будто зазвенело. В одно мгновенье он пролетел над лежавшим внизу в тумане Римом до синей полосы дальнего леса и вернулся назад. Здесь был старик в войлочной шляпе с веткой в руке вместо кнута; он шел около воза дров, одно полено торчало. Атилла схватил его глазами, чуть замет-

но пригнулся и сделал ноги стальными для прыжка. Сзади, с каменной скамьи около ворот, встали какие-то люди. Атилла почувствовал это движение и в самый последний момент, уже весь устремленный вперед, почти летящий, углом глаза оглянулся на вставших. Тотчас же глаза, ноги, сердце – все в нем остановилось. Он глотнул воздух и не мог его выдохнуть, он смотрел, не дыша: от скамьи к нему шел одноглазый Адолб... Кинуться к нему, прижаться всем телом, дышать с ним!

Но Атилла запретил себе это, он стоял, не двигаясь, он знал, римляне смотрят на него. Адолб подошел и взял его за руку. «Что ты тут натворил? Нас известили, чтобы мы приехали и взяли тебя домой». Губы у Атиллы шевелились, но он не мог сказать ни слова в ответ. Тогда Адолб сбоку, одноглазо, как птица, посмотрел на римлян и спросил Атиллу, как начальника, как князя: «Прикажешь, господин, ехать сейчас? Кони готовы». Он сказал это уже на римском языке, так чтобы поняли. «Да, сейчас», – приказал Атилла. Его сердце, стуча, мчалось, ему хотелось лететь, потом велел себе идти медленно. Он шел, не оглядываясь.

Они ехали тем же самым путем, как три года назад. Атилла узнавал города из белого камня, мутные и желтые от глины реки, похожие на зеленых медведей горы. Но у него теперь были новые глаза, он видел не только это.

Однажды перед вечером они въехали в деревню, чтобы купить хлеба и мяса, но в деревне никого не было. Все двери стояли открытые настежь, ветер покачивал их на петлях. Видна была брошенная на столах посуда, оголенные постели. У порога одного дома, широко раскрывая рот, кричала худая кошка. «Не прошла ли здесь чума?» – сказал Адолб. Лошади косились и поводили ушами.

Скоро они догнали двигавшийся по дороге обоз. На заваленных узлами телегах сидели женщины и дети. Мужчины шли возле. Адолб спросил их, они сказали, что не могли больше платить за землю и бросили ее. Они увидели, что их слушают, и все разом стали кричать, грозя кому-то, проклиная, богохульствуя. Атилла смотрел на

них, собирая в себя их лица, потом засмеялся. «Почему ты смеешься?» – спросил Адолб. – «Потому что все это хорошо», – сказал Атилла. Адолб долго молча ехал рядом с ним, потом взглянул на него так, будто в первый раз увидел его, и сказал: «Вон ты какой!»

Недалеко от Марга дорога кольцами, как змея, ползла вверх на гору. Адолб торопился попасть в Марг до захода солнца, пока городские ворота были еще открыты. Но на повороте Атилла вдруг остановил своего коня и, перегнувшись, стал смотреть вниз, в долину. Адолб рассердился и начал браниться. Атилла обернулся, он ничего не сказал, но его глаза прошли сквозь Адолба, как железо. Адолб разинул рот и замолк.

Внизу в долине остановился римский отряд, солдаты строили лагерь. Атилла смотрел на них. Через два часа там вырос маленький четырехугольный город, черные среди зелени земляные валы кругом, ровные белые улицы палаток. Атилла не шевельнулся, не оторвал глаз, пока все не было кончено, только тогда он тронул поводья и поехал. Солнце уже спрятало голову, от него остался только распущенный по небу хвост из красных перьев. Когда подъехали к Маргу, ворота были заперты. У Адолба глаз стал злой, круглый, он хотел сказать, что это из-за него они опоздали, но посмотрел на него и ничего не сказал: он почувствовал, что не смеет, и сам удивился этому, когда понял.

Утром выехали из Марга. Каменная дорога, бежавшая от самого Рима через поля, реки, горы, – здесь кончилась. Конские копыта теперь ударяли мягко, под ногами был уже не камень, а земля, степь. Она лежала под солнцем, теплая, влажная. Сверху, будто из солнца, ручьями лились жаворонки. Тугой ветер летел, пел во рту. Атилла глотал его ртом, ноздрями, всем телом. Он раскраснелся, глаза у него блестели, он снова стал мальчиком. На всем скаку он, держась ногами, повис под брюхом лошади, сорвал пук травы и замахал им, оглядываясь на Адолба.

В полдень они проехали между двух столбов, на столбах были деревянные головы с висячими медными усами. Запахло конским навозом, рекой, дымом. Внизу, на берегу, кипел торг, хлопали бичи, лошади ржали. Не-

далеко от столбов стояла кузница. Сзади нее, под глиняной желтой стеной, Атилла увидел несколько человек: повесив пояса на шею и спустив штаны, они сидели на корточках и неторопливо разговаривали. В Риме Атилла совсем забыл про это, а сейчас мгновенно вспомнил, что много раз видел это в детстве. Он засмеялся так громко, что Адолб удивленно поглядел на него. «Да смотри же, смотри!» – Атилла показал пальцем на сидевших под кузницей. Он захлебывался от смеха, от счастья, он узнал своих людей, свою землю, но у него не было слов, чтобы объяснить это Адолбу.

Адолб так и не понял. Он озабоченно, как наседка, высматривающая ястреба, одним глазом смотрел вдаль: кто знает, что там ждет их?

Огромный круглый зал был полон, не было ни одного свободного места. Сотни глаз, не отрываясь, следили за каждым движением великого Язона. Он был в одной шелковой тунике, шелк был алого цвета – чтобы на нем не видно было пятен крови.

На мраморном столе перед Язоном лежала женщина, обнаженная до пояса. Ее круглые груди, белые, с голубыми жилками, едва заметно поднимались и опускались, она, по-видимому, спала. Язон нагнулся к ней, в его руке блеснул нож. Лица зрителей в первом ряду побледнели. Язон ободряюще улыбнулся им чуть подведенными глазами. Потом, взявшись за розовый сосок, он оттянул кожу на груди женщины, сделал ножом незаметное движение – и из разреза брызнула кровь. Женщина не пошевелилась, она продолжала спать.

Это было действие чудесного снадобья, изобретенного Язоном. Его публичные операции были теперь в Риме самым модным зрелищем, светские дамы обожали Язона, конкуренты ненавидели его. Это они вскочили сейчас в разных местах зала, размахивая кулаками и крича, что это – убийство, что женщина – римская гражданка, Язон не имеет права, они не позволят! Улыбаясь толстыми губами, Язон поднял руку. Зал затих. «Предположим на время, что мои дорогие коллеги правы», – сказал Язон.

Он оставил женщину, пошел в другой конец эстрады и отдернул занавеску. Все увидели человека, неподвижно сидевшего там в кресле. «Этот человек – мой, – сказал Язон. – Это раб, я купил его, он мой, целиком, весь. Но я возьму у него только одну ногу – и затем отпущу его, он получит свободу. Надеюсь, что теперь никаких возражений я не услышу?» Захваченные врасплох конкуренты Язона молчали.

Он нагнулся к рабу. «Камель!» – громко позвал он его. Раб сидел все так же, он спал, свесив коротко остриженную черную голову. Над левым ухом было видно на черном похожее на серебряную монету пятно седых волос.

Приск сразу вспомнил: красный помост, ветер, завернувший край консульского плаща, рука консула поднята для удара... Это был тот самый раб, который схватил тогда консула за руку.

Приск стоял у входа в зал, в густой толпе запоздавших. На операцию Язона он попал случайно. Сегодня был его последний день в Риме, у него уже было куплено место на корабле, вечером отплывавшем из Остии в Константинополь. Багаж был уложен, у него еще оставалось несколько свободных часов, и он зашел в Траянову библиотеку. Он не мог пробраться в читальный зал, его подхватила шуршащая шелком и шепотом, возбужденная, жарко дышащая толпа: модные проститутки и светские женщины, лысые юноши и молодящиеся старички, пахнущий конюшней цирковой атлет и надушенный женскими духами епископ. Приск решил в последний раз окунуться в этот Рим, чтобы увезти его с собой для своей книги, как Ной увез в своем ковчеге образцы всяких тварей. Стиснутый со всех сторон, он стоял у дверей и, близоруко щурясь, торопливо укладывал в себя лица.

В зале была сейчас душная, напряженная тишина. Было слышно только громкое, хриплое дыхание, это было дыхание Рима, почувствовавшего запах крови. Раб лежал на столе, его круглая, сильная нога выше колена была красной, и на белом мраморе под ней все шире расплывалось красное пятно. О мрамор резко звякнул брошенный Язоном нож, он взял пилу, осматривая ее, нарочно помедлил: так искусный актер делает тонко рассчитанную паузу, чтобы у зрителей захватило дыхание. Пауза

кончилась – и весь зал услышал жестко скрежещущий звук пилы, врезывающийся в живую человеческую кость. Побледневшие женщины дышали сквозь зубы, стиснутые, как от боли или от нестерпимого наслаждения, они прижимались к мужчинам, стонали.

Приск стоял красный, ему хотелось кричать, бить, кинуться вон отсюда, но он уже не мог уйти, он, замирая, ждал этой последней секунды, когда круглая, живая нога отделится от человека, он ничего не видел сейчас, кроме двигавшейся взад и вперед пилы.

Внезапно он почувствовал острую боль в правой руке. Не отрывая глаз от пилы, он отдернул руку, боль прекратилась. Но через мгновение она стала еще острее. Тогда Приск, не понимая, в чем дело, посмотрел вниз.

Рядом с ним стояла Плацидия. Ее влажный красный рот был открыт, блестели острые зубы, ногтями она впивалась в руку Приска. Она смотрела на него, ее зеленые глаза были такие же, как в ту ночь в гостинице. «Бежать... сейчас же...» – Приск сделал движение, но Плацидия сделала его руке еще больнее и заставила его нагнуться. Он почувствовал на своем ухе ее горячее, быстрое дыхание. «Сегодня, когда стемнеет... у входа в ту гостиницу – ты ее помнишь?» – «Да», – сказал Приск. Он тотчас же понял, что надо сказать другое. «Я уезжаю сегодня, я не могу, я не хочу!» – хотел он закричать, но Плацидии около него уже не было: ее увидели, толпа раздалась в стороны. Она уже входила в зал между склонявшимися перед ней рядами. Приск бросился за ней, расталкивая уже снова сомкнувшуюся толпу. Он толкнул какую-то женщину, ее спутник, атлет с бычьими глазами, схватил Приска за руку и требовал объяснений. На них оглядывались. Приск, красный, бормотал какие-то извинения, путаясь в словах. «Иностранец?» – спросил атлет, выпятив нижнюю губу и как будто именно ею глядя на Приска. «Да, иностранец», – сказал Приск, краснея еще больше. Атлет выпустил руку Приска и повернулся к нему спиной. Теперь Приск мог уйти.

Снаружи был ветер, он поднимал пыльные вихри, они, кружась, росли, поднимались головою до неба. Похожие на огромных серых странников, они, покачиваясь, бежали по дороге вон из Рима. Приск смотрел на них. Он

сидел в каком-то парке, перед глазами у него, мешая смотреть, качалась круглая, белая от цветов ветка, от нее сладко и как будто знакомо пахло. По дороге с грохотом проехала большая открытая карутца, в ней сидел человек, обложенный сундуками и свертками. «Через несколько часов и я ехал бы вот так же», – подумал Приск. «Почему *ехал бы?*» – чуть не закричал он вслух и с отчаянием, с ужасом понял, что все в нем уже бесповоротно решено, что он никуда не поедет, он пойдет к Плацидии.

Внизу у дороги была таверна. Ветром оттуда донесло запах пережженного оливкового масла. Приск вскочил: он вспомнил, что его ждет у себя Басс, они накануне условились пообедать вместе на прощанье... Как, какими словами сказать теперь, что он не поедет? Эта встреча с Бассом показалась Приску стыднее и мучительнее всего, но он все-таки пошел к нему.

Басс сидел с своей обезьяной Пикусом на коленях. Пикус черными, тоненькими человечьими пальцами выбирал ядра из расколотых орехов и быстро совал их себе за щеку. Когда вошел Приск, он остановился и внимательными умными глазами посмотрел на него и так же посмотрел на него Басс. «Что случилось?» – спросил Басс, ссадив Пикуса на пол. – «Почему ты думаешь, что что-то случилось?» – «Почему? Посмотри на себя в зеркало, оно сзади тебя». Но Приск не обернулся, ему было стыдно увидеть свое лицо. «Я остаюсь, я никуда не поеду из Рима...» – и захлебываясь, мучаясь, торопясь, он рассказал обо всем происшедшем на лекции Язона.

Он кончил и сидел, боясь поднять глаза на Басса. «Превосходно!» – закричал Басс. Приск, ничего не понимая, посмотрел на него круглыми глазами. «Очень эффектная по неожиданности развязка!» – и, перебирая другие возможные комбинации, Басс с увлечением стал доказывать, что судьба, как искусный драматург, выбрала наилучшую. «Впрочем»... – он остановился, задумался. – «Что же ты? Продолжай! – горько сказал Приск. – Я для тебя – как тот раб, которого сегодня резал Язон». – «Да, да...» – рассеянно согласился Басс, явно думая о чем-то своем. Он смотрел на водяные часы, там тоненькой голубой струйкой текло время, неотвратимое, как судьба.

Басс извинился, что не может обедать с Приском: у него есть одно срочное дело, ему нужно сейчас же идти. На улице он обнял Приска: «Не сердись на меня. Обещаешь?» Приск пожал плечами. Дойдя до угла, он оглянулся и увидел, что Басс тоже смотрит на него.

В первой же попавшейся таверне он спросил вина. «Нет, есть я не хочу», – сказал он девушке. За соседним столиком галдело несколько бородатых евреев, в углу подвыпившие матросы громко передразнивали их. Занавеска на окне хлопала, как парус. На мгновение Приск ясно увидел качающийся на волнах корабль. «Еще вина мне, – сказал он девушке. – И похолоднее». Девушка принесла. По холодному, отпотевшему стеклу бутыли ползли вниз медленные капли. Приск вспомнил лицо того, неожиданного, только раз мелькнувшего Басса. «Если бы он был таким сегодня, может быть, я»... Но додумать Приск не успел: наливая вино, девушка коснулась его плеча острием груди. Тотчас же Плацидия, будто дремавшая в нем где-то на дне, всплыла наверх, он ясно увидел ее: она лежала в носилках, слегка поскрипывали ремни в такт шагам...

Ему показалось, что за окном уже темнеет, что он опоздал. Лоб у него от страха стал мокрый. Он торопливо расплатился и выскочил на улицу. Солнце садилось, измученное сухим ветром небо было бледно. Обливаясь потом, Приск все ускорял шаги, потом не выдержал и побежал бегом.

Гостиница, где Плацидия назначила ему встречу, была недалеко. Когда Приск добежал туда, было еще светло, но под навесом над дверью в гостиницу уже был зажжен фонарь, он, скрипя, качался от ветра. Недалеко от двери стояли два солдата, они пересмеивались с проходившими мимо женщинами. Приск, задыхаясь от бега, сел на скамью у церкви наискосок, отсюда вход в гостиницу был хорошо виден.

На опустошенном ветром небе легли длинные красные полосы, как от ударов кнутом. Потом они исчезли. Возле гостиницы остановились носилки. Приск бросился к ним. Оттуда вылез толстый человек и, пыхтя, стал подниматься по ступеням. Приск с ненавистью смотрел на розовые, свиные складки у него на затылке.

Вдруг сзади кто-то тронул Приска за руку. С неистово забившимся сердцем он обернулся, но увидел только тех же самых двух солдат. Они осмотрели его с ног до головы, переглянулись. У одного в верхнем ряду не хватало двух или трех зубов, он сказал, выговаривая «с» вместо «т»: «Сы Сарквиний Приск, грек из Конссансинополя?» – «Да, я». – «Тогда возьми это и прочти». – «От нее... не придет...» – подумал Приск. Он начал читать под фонарем, фонарь от ветра качался, буквы прыгали. Он прочитал и не поверил, начал читать снова...

Это был приказ от римского префекта о немедленной высылке Тарквиния Приска, на основании недавнего декрета об иностранцах. Щербатый солдат сказал, что им велено сейчас же ехать с ним в Остию и там посадить его на корабль. «Но я не могу сейчас, я не могу – поймите!» – в отчаянии сказал Приск, хватая солдата за руку и стараясь заглянуть ему в глаза, будто от этой встречи глаз все сразу же могло измениться. «Сюда, сюда!» – закричал кому-то солдат. Приск увидел: из-за угла гостиницы вышло еще двое, ведя лошадей. Он понял, что спорить бесполезно, что все решено, все кончено. Солдаты посадили его на лошадь, он поехал.

В Остии пришлось прождать целую ночь. Была буря, на набережную выпрыгивали из воды черные, в белой пене, звери. К рассвету буря утихла, и корабль отчалил, увозя с собой Приска. Он, близоруко щурясь, смотрел на белый остийский маяк и с горечью спрашивал себя: зачем Плацидии понадобилось унизить его этой комедией высылки? Маяк становился все меньше, он как будто опускался в воду, и, наконец, море совсем поглотило его.

Через несколько месяцев, уже в Константинополе, Приск получил подарок из Рима: водяные часы в форме двух соединившихся змей. К подарку было приложено письмо от Басса, он писал, что «не мог устоять против соблазна дать еще один вариант неожиданной развязки» и потому устроил высылку Приска...

Эти часы всегда теперь стояли на столе перед Приском, и всякий раз, как он садился писать, он с нежно-

стью и благодарностью вспоминал Басса. Сквозь стеклянные жала змей время текло чуть заметной голубой нитью, отсчитывая дни и годы. Снаружи, за стенами тихой комнаты Приска, время бушевало наводнением, потопом, события и люди мелькали, он еле успевал записывать. Он начал писать свою книгу, как историю Византии, но вышло так, что ему больше всего пришлось говорить там о хунах. Его первая запись о них была следующая:

«Императорский переводчик Вигила, посланный к хунам для переговоров о торговле, вернулся с извещением о смерти их царя Октара. Следует знать, что до Октара той страной владел брат его Мудьюг, который умер, оставив после себя двух сыновей. Но так как эти сыновья были еще малолетними, то вместо них правителем стал Октар. Имена этих сыновей Мудьюга: Атилла и Бледа. Утверждают, что имя одного из них – Атилла – происходит из слова, означающего на их языке «железо»... Я не знаю, справедливо ли это, ибо их язык мне неизвестен. Но в те годы, когда я был в Риме, этот Атилла был там, как заложник от хунов. Мне суждено было видеть его и много слышать о нем, и все, что мне о нем известно, оправдывает его имя. Октар был склонен скорее к подвигам за пиршественным столом, нежели на поле битвы, и потому мы жили с хунами в мире. Но что будет, если теперь власть перейдет к Атилле, и если это железо направится острием на Европу?

По моему разумению, сказанному Атилле сейчас менее 20 лет. Еще нельзя знать, станет царем он или его брат Бледа, или же, пока они не придут в возраст, областью их будет править один из их дядей. Как утверждает императорский переводчик Вигила, знающий их обычаи, там старейшины, собравшись, выбирают царя. С разных концов неизмеримой страны, от Рифейских, иначе Уральских, гор до Дуная, они должны собраться теперь для погребения умершего Октара и для избрания нового правителя. Имя его мы узнаем уже скоро, и я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что тогда мы узнаем и ожидающую нас судьбу».

1928–1935

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

РОБЕРТ МАЙЕР

I

Между новым и старым, между завтра и сегодня – вечная борьба. Борьба эта идет во всех областях человеческой жизни – в том числе и в науке; и в науке есть свое завтра и сегодня. Сегодняшнее – это все то, что уже устоялось, определилось, пользуется общим признанием, считается неоспоримым и непогрешимым. И вот эта-то вера в свою непогрешимость иной раз делает представителей «сегодняшней» науки элементом консервативным, задерживающим бесконечное движение науки вперед. Ведь чтобы сделать шаг вперед, нужно что-то оставить за собой позади, нужно отречься от того, что позади, нужно усомниться в истинности сегодняшнего – а как же усомниться, если оно непогрешимо, как признанный догмат церкви? И служители научной «католической церкви» часто́ не осмеливаются усомниться и не решаются шагнуть вперед, и топчутся на месте – пока не появится смелый научный еретик, научный революционер, носитель научного «завтра».

Судьба научных еретиков – такая же, как судьба еретиков религиозных: на еретика воздвигают гонение, еретика отлучают от непогрешимой почитаемой «научной церкви»; над еретиком издеваются. И часто только после смерти еретика – его идеи побеждают и оцениваются по достоинству. Еретиком был в 16-ом веке Коперник, положивший основание современной астрономии. Еретиком был и его продолжатель Галилей, осмелившийся учить, что земля вертится вокруг солнца – хотя астрономичес-

кая наука две тысячи лет твердила, что солнце движется, а земля – неподвижна. Еретиком был Джордано Бруно, провозглашавший бесконечность вселенной и множественность миров: его сожгли на костре. Еретиком был Фультон, заявивший, что он построил судно, которое движется без весел и паруса – пароход; над Фультоном смеялись. Но что говорить о временах более или менее отдаленных; даже и теперь, когда наука усвоила правильный взгляд, что все, кажущееся непогрешимым, непогрешимо только относительно, непогрешимо только сегодня, – даже и теперь иной раз обнаруживаются следы прежнего преклонения перед догмой. Еще так недавно, на нашей памяти, открыты были чудесные свойства радия, опрокидывающие как будто непогрешимейшие научные законы, – и на нашей памяти не один правоверный ученый скептически посмеивался над еретиками, посягнувшими на эти недавно еще священные устои. А между тем только еретиками, только отрицателями сегодняшнего, такого как будто незыблемого и непогрешимого, – жив мир; только еретики – открывают новые горизонты в науке, искусстве, социальной жизни; только еретики, отрицающие сегодня во имя завтра, являются вечным бродилом жизни, обеспечивают бесконечное ее движение вперед. И в бесконечной веренице этих носителей живого мятежного духа – почетное место занимает Роберт Майер, один из величайших научных еретиков 19-го века.

В маленьком немецком городке Гейльбронне жил почтенный немецкий аптекарь Христиан Майер. Был он добросовестен, аккуратен и прилежен. Долго служил провизором в разных городах, кое-что заработал и обзавелся в Гейльбронне собственным участком земли, с собственным садиком и собственной аптекой. Аптека процветала – потому что Христиан Майер был добросовестен и аккуратен; Христиана Майера в Гейльбронне все уважали – потому что в Гейльбронне все были добросовестны и аккуратны. Это был маленький, захолустный немецкий городок. Обыватели мирно ходили по воскресеньям в кирку, мирно плодились и множились, мирно копили деньги. Здесь-то, в аптеке Христиана Майера, 28 ноября

1814 года родился Роберт Майер. И здесь Роберт Майер провел большую часть жизни.

О детских годах Роберта Майера до нас дошло мало сведений. Брат его, Фриц, был значительно старше его – и Роберту много времени приходилось проводить в одиночестве. Он толкался в отцовской аптеке, приглядывался к разным физическим и химическим приборам, пересматривал естественнонаучные книги в библиотеке отца, бродил по окрестностям Гейльбронна. В окрестностях, на реке Неккар – было много фабрик и мельниц. Мальчик заходил туда, подолгу простаивал перед странными, живыми машинами. Потом сам стал мастерить водяные колеса, ставил их на реке, пристраивал к ним игрушечные жернова. Много будущих аптекарей, будущих учителей и будущих пасторов вместе с Робертом Майером забавлялись теми же водяными колесами. Но никому из них не пришло в голову такой сумасбродной идеи, какая явилась у Майера. Ему в ту пору было лет 10, и он задумался вот над чем: а что если к такому водяному колесу пристроить бесконечный винт? Ведь это увеличит силу колеса во много раз. Правда, при этом потеряется скорость движения, но эту скорость, пожалуй, можно восстановить, соединивши с бесконечным винтом зубчатые колеса. А если так – то ведь можно как угодно увеличивать силу маленького водяного колеса, и от маленького колеса – приводить в движение настоящую водяную мельницу. А отсюда, пожалуй, недалеко и до «вечного движения» – perpetuum mobile. Мальчик, конечно, упускал из виду потерю силы в передачах. Но стоит отметить, что уже в ту пору в голове у Майера возникали какие-то широкие идеи, был полет фантазии, недоступный обыкновенному, добропорядочному будущему гражданину Гейльбронна.

Люди выдающиеся, с оригинальным мышлением и характером – редко укладываются в тесные школьные рамки. Так было и с Робертом Майером: в школе он учился неважно. По древним языкам у него самыми обычными отметками были «плохо» и «весьма умеренно». Зато в математике его успехи оценивались как «хорошие», а по математической географии он имел даже «очень хорошо». С охотой и легкостью Роберт Майер заучивал наизусть сти-

хи: память у него была превосходная. Кой-какое влияние на развитие Роберта Майера или, вернее, на направление его развития могли оказать его отец и особенно старший брат Фриц: сама профессия заставляла их интересоваться химией, новыми открытиями французских химиков; от отца Роберт Майер узнал кое-что о Лавуазье[1]. Майер с интересом читал книжки по физике и химии, но в гимназии дела у него по-прежнему шли очень туго. Все время, несмотря на свои успехи в математике – он шел последним или предпоследним учеником в классе. И отец отправил Роберта Майера в духовную семинарию в городок Шэнталь, неподалеку от Гейльбронна.

О том, каков был Майер в эту пору – дает представление характеристика, сделанная впоследствии одним из его товарищей по семинарии: «В Роберте Майере не было и тени притворства; из его уст не выходило ни единого слова неправды; он всегда охотно признавал чужие преимущества, но ни с кем не сходился близко. По характеру – его можно было назвать «чистой душой». Но все, что он делал, носило печать оригинальности. Ход мыслей у него был совершенно логичный, хотя он любил перескакивать через звенья промежуточные или связывающие одну мысль с другой. Он всегда был изумителен и часто озадачивал собеседника и ставил его в тупик какой-нибудь неожиданностью; когда тот успевал схватить нить рассуждения, Майер был уже далеко. А так как он, кроме того, отличался остроумием и юмором, то беседовать с ним всегда было приятно. Он был неистощим в цитатах из Библии и церковных книг, из поэтов и древних авторов; он сыпал народными поговорками и умел преподнести их тогда, когда слушатели меньше всего этого ожидали. Многие смотрели на Майера с изумлением, все время ждали от него необыкновенного и смеялись всякому его слову. Многим, впрочем, такой фейерверк не нравился».

Характеристика эта сделана уже тогда, когда Майер был знаменитым и признанным, – это, быть может, оказало влияние на автора характеристики, и он представил Роберта Майера несколько в прикрашенном свете. Но

---

[1] Знаменитый французский химик. См. его биографию.

если даже и так, – все же из этой характеристики видно, что Роберт Майер был юношей не совсем заурядным.

Успехи его в казенной науке по-прежнему были неблестящими: способности его оценивались как «довольно хорошие»; по языкам у него были отметки «слабо» или «посредственно», и только по математике, как и в гимназии, он имел «очень хорошо».

В 1832 году Майер выдержал в семинарии выпускной экзамен и поступил в Тюбингенский университет; там он занялся изучением медицины. В то время в Тюбингенском университете как раз не было профессора по кафедре физики, так что правильного, систематического курса по физике Майеру не удалось пройти. Однако это, как мы увидим, не помешало ему создать впоследствии один из основных законов, на котором построена современная физика и механика.

Еретический дух уже в эти студенческие годы начинал сказываться в Майере. Официальную физику того времени он пренебрежительно называл «полузнанием» и говорил, что «человеку, вступающему в область настоящего знания, – основные положения школьной физики нужно постараться забыть как можно скорее». В эти же годы наметилась и другая характерная особенность Майера: склонность к позитивному, положительному научному мышлению. Властителями умов тогдашней германской молодежи были такие вожди отвлеченной, умозрительной философии, как Кант, Шеллинг, Гегель. Роберт Майер не поддался общему увлечению: к отвлеченной философии, к метафизике относился весьма скептически и шел своим путем – путем точного, математически мыслящего ума. Вероятно, это внутреннее сопротивление господствовавшей тогда в Германии метафизической философии – было причиной того, что Майер без достаточного внимания отнесся также и к отвлеченной, неприкладной математике. Отсутствие серьезной и последовательной математической подготовки сказалось впоследствии на работах Майера; пополнять пробелы по высшей математике ему пришлось уже много времени спустя после окончания университетского курса. В университете же, кроме медицины, Майер успел приобрести солидные познания только в области химии – благодаря интересным лекциям профессора Гмелина.

Пребывание в Тюбингенском университете кончилось для Роберта Майера неблагополучно. Майер состоял членом одного из студенческих кружков – «Вестфалия». А так как эта эпоха – начало 19-го века – была эпохой общеевропейской реакции, то студенческие кружки и землячества, быть может даже и невинные, правительством строго преследовались. И вот Роберт Майер, за участие в «недозволенном сообществе», был арестован. Чтобы добиться освобождения, Майер применил то самое средство, которым, по выражению одного из биографов Майера – Евг. Дюринга, – так любят пользоваться «русские нигилисты»: Майер объявил голодовку. На пятый день голодовки врач заявил, что дальнейшее заключение и голодовка могут вызвать у студента Майера душевное расстройство. На шестой день Майер был освобожден и посажен под домашний арест. А затем – результат, такой нам знакомый по русским образцам: Майер уволен из университета. Большинство профессоров Тюбингенского университета во время всей истории оказалось на стороне полицейской власти, и это, вероятно, уже положило в Майере начало его определенно-отрицательному отношению к консервативным профессорским кругам, с которыми он затем вел борьбу в течение всей своей жизни.

После исключения из Тюбингенского университета Майер отправился в Мюнхен, но здешний университет ему не пришелся по вкусу: вскоре он перевелся в Вену и здесь, наконец, закончил слушание курсов по медицине. В январе 1838 г. «неблагонадежному» Майеру разрешено было вернуться на родину – в Тюбинген. Тут Майер сдал экзамены и защитил диссертацию на степень доктора медицины. Диссертация была посвящена исследованию вопроса о лечебном действии незадолго перед тем открытого сантонина (содержащегося в цитварном семени). Любопытно, что в этой диссертации Майер отнюдь не проявил каких-нибудь выдающихся талантов, каких-нибудь способностей к широким научным обобщениям: диссертация не выделялась над обычным, средним уровнем. Не эта область, не медицина – была призванием Майера; великие идеи в ту пору еще только зрели в нем, неведомо для самого их носителя.

Закончив, после всех приключений, свое университетское образование, Майер на короткое время съездил в Швейцарию – отдохнуть. А затем ему предстояло стать одним из множества обывателей Гейльбронна или Тюбингена: повесить вывеску врача, обзавестись выгодной практикой, приобрести собственный дом с собственным садиком – словом, повторить карьеру добросовестного и аккуратного аптекаря Христиана Майера.

Но у молодого врача были какие-то неясные стремления к чему-то далекому, необычному. В своих письмах, относящихся к этому периоду, он прямо говорит, что «не хочет играть на родине жалкую роль докторишки». Майер ищет каких-то приключений, какой-то борьбы. Все это вместе взятое заставляет его тихому и мирному житию на родине предпочесть место врача на одном из кораблей, отправляющихся к острову Яве. Можно себе представить волнение почтенных родителей Роберта Майера и прочих почтенных гейльброннцев: «Как: на Яву? Зачем? Какой ужас! Ведь это опасно: корабль может утонуть, и там – на Вест-Индских островах – говорят, всякие лихорадки...» Но Майер сумел победить все препятствия и настоял на своем.

Место судового врача можно было получить только после особого экзамена. Майер не остановился и перед этим: в Гааге он с успехом выдержал экзамен. По каким-то причинам отплытие корабля было отложено на полгода. Эти полгода Майер использовал, чтобы еще больше подготовиться к практической врачебной работе, – и с этой целью отправился в Париж. Тут он работал по хирургии в разных парижских клиниках и ничем, кроме медицины, не занимался. В студенческом Латинском квартале Парижа Майеру приходилось сталкиваться со своими земляками – немцами; с одним из них, Карлом Бауром, впоследствии видным немецким математиком и физиком, Майер поселился даже на одной квартире. И вот, между прочим, Баур в своих воспоминаниях о Майере определенно указывает, что в Париже он не замечал у Майера никакого особенного интереса к математике, физике или механике. Это лишний раз показывает, насколько неожиданно, в каком-то вдохновении, в каком-

то ослепительном взрыве возникла у Майера та идея, которая обессмертила его имя.

В феврале 1840 года Майер отплыл, наконец, из Роттердама на голландском корабле «Ява» в Батавию. Для Майера – сына гейльброннского аптекаря – это был момент значительный, и Майер решил вести во время путешествия дневник. С налетом немецкой сентиментальности, типичным для той эпохи, Роберт Майер так говорит о начале своего путешествия:

«Великолепное, безоблачное небо с сверкающими звездами, сияющая луна, румянец загорающегося дня, тихие воды широкого канала, открывавшаяся перед нами панорама города и великий момент отплытия – все это придавало воскресному утру какое-то возвышенное, трогательное значение».

Дальше в дневнике Майера мы находим заметки, что здоровье его в отличном состоянии; что такого-то месяца и числа он за обедом наелся досыта (кормили на корабле довольно скупо); такого-то числа – были зарезаны взятые с собой из Роттердама свиньи, и к столу вместо солонины подавалось свежее мясо; такого-то числа, при взгляде на созвездие Весов – вспомнил о дорогом отце, Христиане Майере, которому это созвездие особенно нравилось, и о дорогом фатерлянде – Германии... Словом, ничто в дневнике не говорит, что в Майере шла какая-то внутренняя подготовительная работа, завершившаяся в конце этого путешествия великим научным открытием. По-видимому, Майер просто вел растительную жизнь, наслаждался морским воздухом, тропической природой, и в организме его за это время только накоплялась энергия, которая затем – если пользоваться созданной Майером научной терминологией – «разрядилась» с такой молниеносной внезапностью и блеском.

Из всего дневника Майера заслуживают быть отмеченными как имеющие непосредственную связь с дальнейшей его деятельностью две записи. Одна гласит, что от старика штурмана Майер узнал вот о каком странном явлении: после сильных бурь вода в море всегда нагревается, становится теплее, чем была до бури. Никаких особенных размышлений и попыток объяснить это явление в дневнике Майера нет. Но, несомненно, именно этот момент, именно это мимо-

ходом брошенное замечание старика штурмана пустили в ход дремавший в голове у Майера мощный логический механизм. Недаром уже в последующих своих работах Майер как на доказательство справедливости своих теорий неоднократно ссылался именно на это явление: нагревание воды в море после бури.

Другая ценная для нас запись в дневнике Майера относится к моменту прибытия его в Сурабайю – голландское поселение на острове Ява. Вот что записывает Майер об этом в своем дневнике:

«Во все время нашего стодневного плавания по морю никаких тяжелых болезней у нашей команды, состоявшей из 28 человек, не случалось. Но спустя несколько дней по прибытии на Батавский рейд началась эпидемия острого воспаления легких. При кровопусканиях, которые я делал, оказалось, что кровь, вытекавшая из вен на руке, была ярко-красная; если судить по цвету этой крови – можно было бы даже подумать, что это кровь не из вен, а из артерий...»

Как будто совершенно несущественное, ничтожное обстоятельство. И, конечно, десятки и сотни врачей уже видели это и обращали внимание на это. Но ни одному из них не приходили в голову те широчайшие и имеющие огромное значение для науки выводы и обобщения, к которым пришел Роберт Майер. Наблюдение, сделанное им относительно цвета венозной крови в тропических странах, послужило поводом для того, чтобы вся скрытая, подсознательная работа его ума проявилась вовне, стала ясной для самого Майера. Батавский рейд на острове Яве был той гаванью, откуда корабль Роберта Майера с ценнейшим научным грузом отправился в далекое и бурное плавание. С этого момента мы будем иметь дело уже не с гейльброннским обывателем Робертом Майером – сыном аптекаря Христиана Майера, и не с ленивым школьником, и не с бунтующим студентом, и не с молодым врачом, убегающим от скучной провинциальной жизни в далекое путешествие, – а с глубоким умом, с основателем современного учения о теплоте и энергии, с одним из величайших борцов против консерватизма в науке.

II

В глазах обывателя великие таланты и гении всегда являются чем-то вроде сумасшедших. Да так оно и есть: гений – это великое, божественное сумасшествие, когда человека целиком поглощает какая-нибудь одна художественная или научная идея, когда ради этой идеи он жертвует такими приемлемыми и понятными для всех наслаждениями и благами жизни, когда эта идея становится всем содержанием его бытия.

Так случилось и с Майером: с лета 1840 года история его жизни становится историей развития одной идеи, историей борьбы за эту идею. И естественно, что излагать дальше биографию Майера – это значит излагать биографию его идеи.

Мы уже проследили момент зарождения этой идеи. Остается указать, каково именно было ее содержание, как она развивалась и какое имела значение для науки.

Как известно, человеческий организм представляет собою подобие паровой машины. Желудочно-кишечный аппарат – это паровой котел; пища, попадающая в желудок и кишки, – это топливо, уголь. Горение угля в котле, если рассматривать этот процесс с точки зрения химии, – представляет собой соединение заключающегося в топливе углерода с кислородом воздуха. Точно так же и в человеческом организме происходит непрерывный процесс соединения заключающегося в крови кислорода с углеродом и водородом, содержащимися в пище, другими словами, тот же самый процесс горения, что и в котле паровой машины. Как котел паровой машины, так и человеческий организм заимствуют необходимый для горения кислород из окружающего воздуха: котел забирает этот кислород через топку и колосниковую решетку, человеческий организм – через легкие. Самый процесс горения, соединения с кислородом – в человеческом организме совершается в крови, причем свежую, насыщенную кислородом кровь сердце гонит по артериям, а кровь, насыщенная «дымом», углекислотой, – отводится по венам; кровь свежая, протекающая по артериям, имеет ярко-красный цвет, а кровь отработавшая, венозная, имеет цвет темно-красный, и чем больше пищи приходится поглощать

человеку, чем больше образуется в нем «дыма» – тем темнее в нем венозная кровь.

На острове Яве от местных врачей Майер узнал, что бросившаяся ему в глаза яркая окраска венозной крови – под тропиками обычное явление. Отсюда Майер сделал правильный логический вывод, что явление это стоит в непосредственной связи с климатом: раз внешняя температура здесь, под тропиками, значительно выше, чем в странах с умеренным климатом, то, естественно, человеческий организм затрачивает меньше теплоты на поддержание нормальной температуры человеческого тела, стало быть, в жарком климате человеку требуется меньше пищи – в вены поступает меньше «дыма», т. е. венозная кровь меньше насыщена углекислотой; это и дает крови более светлую окраску.

Но на этом выводе – в сущности не таком уже важном и никаких особенно новых горизонтов в науке не открывающем, Майер не остановился. Он продолжал свое сравнение человеческого организма с паровой машиной. Горение угля в котле паровой машины и развивающаяся при этом теплота – служат источником энергии, пользуясь которой паровая машина производит ту или иную механическую работу. С другой стороны, известно, что процесс механической работы сопровождается повышением температуры, нагреванием: нагревается ось в колесе, нагревается холодная поковка под ударами молота. Ну а если кузнечная работа производится не паровым молотом, а вручную? Поковка все равно будет нагреваться. Но откуда же в этом случае берется теплота? Такой вопрос задал себе Майер и ответил на него: ясно, что источником теплоты в этом случае будет живой организм кузнеца. Кроме этой «внешней» теплоты, человеческий организм, как уже говорилось раньше, развивает еще и «внутреннюю» теплоту, необходимую для поддержания нормальной температуры тела.

Внутренняя теплота получается за счет поглощаемой человеком пищи и возникающих затем процессов горения, окисления в крови: это установил еще Лавуазье. Продолжая мысль Лавуазье, Майер пришел к естественному выводу, что и «внешняя» теплота, развиваемая живым организмом, имеет своим источником все тот же самый про-

цесс горения, окисления в крови. Дальнейшие заключения Майера связывались одно с другим с такой логической неизбежностью, с какой брошенный вверх камень неизбежно падает вниз. То, что мы называли внешней теплотой, есть теплота, развиваемая организмом при совершении какой-то механической работы. Стало быть, теплота и работа как-то могут переходить одна в другую, между ними есть какая-то связь, потому что как теплота, так и работа – одинаково являются результатом сгорания (окисления) в живом организме топлива, пищевых веществ. Но ведь один фунт угля, где бы и как бы его ни сжечь, дает всегда одно и то же неизменное количество теплоты; и один фунт хлеба или другого топлива для человеческого организма также всегда дает одно и то же количество теплоты. А если так, то ясно, что теплота и работа находятся между собой в одной и той же неизменной, выражаемой в цифрах, связи.

Все эти выводы, как звенья хорошо пригнанной железной цепи, так естественно, неразрывно, крепко входят один в другой. И когда перебираешь эти звенья, кажется прямо непонятным: отчего же другие ученые, занимавшиеся теми же самыми вопросами (например, Румфорд и Дэви – в конце 18-го века), – остановились на полдороге и не дошли до конца логической цепи? Кажется непонятным: отчего такая простая как будто идея так долго должна была созревать в недрах научной мысли? Но так бывает всегда: задним числом все великие идеи кажутся поразительно просты. Может быть, именно эта-то простота и является причиной того, что человеческий ум с таким трудом открывает их: ведь часто мы не можем найти потерянную вещь именно потому, что она лежит где-нибудь совсем на виду перед глазами.

Когда Майер пришел к своим выводам о зависимости между теплотой и работой, он сразу же понял все значение своего открытия; он почувствовал себя совершенно новым, переродившимся человеком. В одном из писем он так говорит об этом: «Я с такой страстью взялся за работу, что даже мало интересовался той далекой частью света; охотнее всего я оставался на судне, где мог беспрепятственно отдаваться своей работе и где по временам

чувствовал в себе какое-то вдохновенье. Ни раньше, ни позже – ничего подобного я, насколько помню, не испытывал. Спокойная проверка говорила мне, что это – истина, и не только субъективная, но такая, которая может быть доказана объективным путем. Настанет день, когда будет совершенно ясно, что эта истина принесет пользу науке».

Как-то сразу Майер стал старше, серьезнее, вырос на целую голову. Обрывается его наивный, сентиментальный путевой дневник, и в течение всего обратного пути с острова Явы Майер был полон одним – все той же идеей, «поразившей его, подобно молнии», как он говорит в одном из относящихся к этому времени писем.

В феврале 1841 года Майер прибыл в Голландию, а оттуда направился на родину. И дальше – картина: Майер пытается втолковать гейльброннским бюргерам всю важность и все значение своего открытия, а бюргеры мирно посасывают сигару, потягивают пиво – и в бороду себе посмеиваются над чудаком-доктором, который горячится из-за каких-то пустяков. Да и откуда, в самом деле, ученость взялась у аптекарева сына, когда всем было известно: в гейльброннской гимназии он еле-еле плелся, в самом хвосте; из университета его исключили... Среди обывателей Гейльбронна едва ли не единственным поклонником Майера оказался старший брат его Фриц; правда, и у Фрица не хватало крыльев, чтобы с высоты в полном объеме увидеть значение открытого Майером мирового закона, но Фриц понял, по крайней мере, что открытие Майера представляет собою крупное завоевание в области физиологии.

Понимающего человека пришлось Майеру искать на стороне: он вспомнил о физике Бауре, с которым жил в Париже перед своим путешествием на Яву, и написал Бауру письмо. Баур медлил с ответом. Майер волновался: как можно медлить, когда речь идет о вопросе такой важности? Майер писал Бауру одно письмо за другим. Интересно, что в первом же письме Майер, как бы предчувствуя дальнейшую судьбу своего открытия, просил своего адресата пока держать это открытие в секрете, чтобы другие ученые не стали оспаривать у него, Майера, право первенства.

К июлю 1841 года Майер изложил сущность открытого им закона о соотношении между теплотой и работой в статье «О количественном и качественном определении силы. Сочинение Ю. Р. Майера, доктора медицины и хирургии, практического врача в Гейльбронне». Статью эту Майер отправил для напечатания в «Анналы физики и химии», издававшиеся профессором Поггендорфом. Это была первая встреча гениальной ереси с косностью научной догмы. Поггендорф статьи Майера не напечатал и даже не удостоил его ответом.

Чтобы быть беспристрастным, надо, впрочем, сказать, что в этой первой статье идея Майера была облечена еще в очень мешковато, по-провинциальному сшитые научные одежды. В этой статье еще сказывался недостаток систематической научной подготовки у Майера, особенно в области математики и теоретической механики. Майер все время ошибочно говорит в этой статье о соотношении между теплотой и движением – вместо того, чтобы установить зависимость между теплотой и механической работой, как это он и сделал впоследствии. Нематематику легко смешать эти два понятия: движение и работу; между тем, если вдуматься, ясно, в чем разница. Вооруженная молотом рука движется и совершает механическую работу. Ясно: чтобы производить работу, нужно не только движение, но и рука с молотом, не только движение, скорость, но и сила. Поэтому-то в механике работой называется сила, помноженная на скорость, т. е. на расстояние, пройденное в какую-нибудь единицу времени. Теперь становится понятной ошибка Майера: он целое (работу) заменил частью (движением). И в этом основной недостаток его статьи «О количественном и качественном определении силы». Тем не менее и в этой, еще несовершенной, не вполне созревшей форме, человек со светлым, не закопченным рутиной умом мог бы увидеть зерно одной из величайших научных идей 19-го века.

Неудача с Поггендорфом не обескуражила Майера: настолько он был уверен в правильности и огромном научном значении своих выводов. Майер отправился в Тюбинген, к тамошним профессорам; но и тут рассуждение Майера слушали с улыбкой превосходства, рекомендова-

ли ему выкинуть из головы еретические идеи и лучше почитать то, что написано по этому вопросу в учебниках. Между прочим, один из профессоров (Норремберг) очень скептически отнесся к утверждению Майера, что от движения частиц воды – например, во время бурь на море – вода нагревается. Это не подходило ни под одну из одобренных учебниками теорий – и почтенного профессора не убедило даже заявление Майера, что он не раз проделывал этот опыт у себя дома и всегда с одним и тем же результатом: вода нагревалась.

Итак, новые идеи Майера, впоследствии вошедшие в науку в виде одной из основных, всеми признанных истин, в то время были встречены как ложные, еретические. Но Майер, как и все подлинные, прирожденные еретики, был упрям и настойчив: он продолжал упорно работать над окончательным оформлением и развитием своего учения. В начале 1842 года он закончил новую статью «Заметки о силах неодушевленной природы». В этой работе Майера мы находим два крупных шага вперед: первое – то, что теперь Майер уже совершенно правильно принимает количество теплоты пропорциональным работе, причем за единицу работы он принимает работу, потребную для подъема тяжести в один килограмм на высоту одного метра; второе – то, что от неопределенного указания на некоторую зависимость между теплотой и работой Майер переходит к математическому, цифровому определению этой зависимости. Для определения этой числовой зависимости (так называемого «механического эквивалента теплоты») Майер применил гениально простой и остроумный способ. Майер взял 1 куб. метр воздуха и нагрел его на один градус, причем воздух от нагревания свободно расширялся. Затем Майер тот же самый кубический метр воздуха поместил в сосуд, сверху прикрытый поршнем, и нагревал воздух, уже не позволяя ему расширяться, а для этого на поршень сверху все время накладывались грузы. Опыт был закончен, когда температура воздуха в сосуде с поршнем тоже поднялась на один градус. Как и ожидал Майер, оказалось, что в первом случае – для нагревания на один градус воздуха, свободно расширяющегося, потребовалось затратить меньше топлива, меньше

теплоты, чем во втором случае, когда воздух совершал некоторую работу (удерживая грузы, наложенные сверху на поршень). Ясно, что потребовавшийся во втором случае излишек теплоты был затрачен именно на совершение этой механической работы – поддержания наложенных на поршень грузов. В результате этого опыта Майер был первым из физиков и механиков, которому удалось установить числовое соотношение между теплотой и работой, величину «механического эквивалента теплоты»[1]. Теперь с величиной этой приходится иметь дело любому ученому, занимающемуся вопросами теоретической или прикладной механики, любому технику, проектирующему паровой котел, паровую машину, двигатель внутреннего сгорания. Так окончательно сложилась и оформилась великая идея Майера: сперва – неясно мелькнувшая в детстве детская мысль о perpetuum mobile, т. е. о возможности получения работы из ничего, без постоянной затраты какой-нибудь энергии; затем – поразившее пытливый ум Майера странное явление – нагревание воды в море после бури; потом – замеченная на острове Яве яркая окраска венозной крови и все сложное, стройное логическое здание, вырастающее из этого как будто такого незначительного факта; дальше – еще не вполне оформленное учение о зависимости между теплотой и работой, изложенное в статье «О количественном и качественном определении сил»; и наконец – точные, научные выводы, подтвержденные остроумным опытом и закрепленные в цифрах. Такова «биография идеи» Майера.

Упомянутую статью «Заметки о неодушевленных силах природы» Майер отправил знаменитому немецкому физиологу Либиху. Настоящий, большой ученый – Либих сразу же понял всю ценность изложенного в статье учения Майера и не только напечатал статью в своем журнале «Анналы химии и фармации», но кроме того написал Майеру письмо, где приветствовал его открытие и советовал ему продолжать работу.

---

[1] Оказалось, что при затрате единицы – «калории» – можно поднять 424 килограмма на высоту одного метра, т. е. произвести работу, равную 424 килограммометрам – если говорить языком современной механики.

В это время Майеру было 28 лет. Судьба как будто начинала улыбаться ему. С этим успехом Майера совпало то, что ему тогда казалось удачей и в личной жизни: он полюбил девушку, получил от нее согласие быть его женой и обвенчался с ней – в том же 1842 году, когда появилась в печати его работа. Этот год можно считать вершиной счастья Майера; и отсюда постепенно начинается для него спуск вниз, длительный и скорбный крестный путь пионера – пролагателя новых путей, крестный путь человека, своевременно не оцененного эпохой, не понятого близкими.

III

Странная судьба у большинства великих людей: они на диво неудачно выбирают себе жен: у Сократа была Ксантиппа, у Гейне – Матильда, глупая, как ее попугай Коко; у Майера была своя Ксантиппа-Матильда. Это была дочь мелкого, но сколотившего изрядный капиталец гейльброннского торговца Клосса. Вместе с деньгами она принесла с собой в дом Майера атмосферу тупого, благочестивого, уверенного в непогрешимости своих мнений мещанства. Брак и семья – на всю жизнь заперли Майера в затхлую провинциальную клетку и помешали его творческому духу во всю ширь расправить свои крылья. Жена, ее отец и многочисленные родственники скоро стали открытыми врагами Майера – научного романтика, Майера, чувствовавшего за собой право на мировое признание и славу, Майера – портившего себе карьеру врача какими-то сумасбродными фантазиями. Жене Майера и его тестю больше всего принадлежит заслуга обращения философа, стремившегося лучами своей неугомонной мысли проникнуть сквозь звездные туманы вселенной, – в тихого, мирного и набожного гейльброннского обывателя.

В пору своей женитьбы Майер был городским врачом в Гейльбронне, имел недурную практику. Кое-какие средства Майер получил в наследство от своего отца. Жить было можно. Но ведь товарищи Майера давно уже имели почетные звания разных «гофратов» и нажили себе практикой хорошие деньги, а Майер с годами – в глазах гейльброннского обывателя – все не становился умнее: по-

прежнему возился с какими-то опытами и вычислениями, писал какие-то никому не нужные статьи и даже – смешно сказать – учился. В Гейльбронне поселился один из немногих друзей Майера, математик Баур, он занял место учителя в гейльброннской гимназии, и у него Майер брал уроки математики и механики, так как чувствовал, что по этой части в его образовании – большие пробелы.

Эти уроки несомненно сыграли свою роль и помогли Майеру так математически-ясно и стройно изложить свои мысли в новом сочинении «Органическое движение и обмен веществ». Работа эта была закончена Майером в 1844 году. В ней Майер продолжает развивать, углублять свои прежние принципы и дает широкие философские обобщения, в которых мы можем найти все основы современных научных представлений о материи и энергии. Здесь Майер устанавливает единство различных видов энергии – теплоты, магнетизма, электричества, энергии механической, энергии химических процессов – и формулирует закон, именующийся в современной науке «законом сохранения энергии», закон, который говорит, что при всех химических и физических процессах данное количество энергии сохраняет постоянную величину – изменяется лишь форма энергии. Пытливость Майера заставляет его исчерпать всякую мысль до дна, и он задается вопросом: если существует закон сохранения энергии, если энергия не может получаться из ничего – так откуда же берется энергия, заключенная в угле, энергия, заключенная в съеденной человеком пище? Ответ на это Майер дает такой же, как и современная наука: источником энергии на земле является солнце. С углем – сжигаем отвердевшие куски солнечной энергии, с хлебом – мы съедаем солнечные лучи. Уголь в незапамятные времена зеленел на земле в виде растений; растения – это резервуары, вечно поглощающие тепловую энергию солнечных лучей. Так, сложным и длинным путем, проходя через организм растительный и животный, солнечные лучи превращаются в работу человеческих рук и мозга.

Этот свой новый труд – «Органическое движение и обмен веществ» – Майер тоже направил было для напечатания в Либиховские «Анналы химии и фармации», но

получил отказ. Редакция рекомендовала Майеру передать эту статью в «Анналы» профессора Поггендорфа, но после неудачного опыта с первой статьей в 1841 году Майер к Поггендорфу, конечно, уже не мог обратиться. Так в официальных ученых журналах не нашлось места для этой работы Майера; он вынужден был напечатать ее отдельной брошюрой в Гейльбронне и выпустил в свет в 1845 году. Выводы Майера расходились с современной ему наукой – расходились, как быстро мчащийся поезд расходится с неуклюже плетущейся по шоссе телегой. Но такого расхождения было достаточно, чтобы и на этот раз ученые ремесленники попытались опорочить выводы Майера: известный в то время немецкий физиолог Мюллер считал вопрос о связи между процессом горения (окисления) и механической работой – еще недостаточно выясненным, чтобы о нем можно было говорить в печати; профессор физики и химии Пфафф просто указывал, что все выводы Майера основаны на странных заблуждениях и что ошибочен самый основной тезис Майера, так как «не теплота производит движение, а наоборот движение – теплоту...».

Если такое непонимание Майер встретил в среде людей науки, то чего же можно было ждать от гейльброннских мещан? В семье на Майера стали смотреть как на человека, у которого не все дома. Вдобавок ко всему странные занятия Майера оказывались прямо убыточными: на печатание своих «нелепых сочинений» он тратил деньги, вместо того чтобы эти деньги откладывать, как подобает доброму гейльброннскому обывателю. У Майера уже были дети; хороший отец семейства думал бы о детях, а он вместо этого сочинял статьи о какой-то никому не нужной теплоте, о солнце – Бог знает о чем...

Несмотря на такую семейную обстановку, несмотря на неудачу с предыдущей статьей, Майер упорно продолжал работать. Острым логическим ножом своей мысли он анатомировал вселенную все глубже, он переходил к решению все более широких, космических задач. Если в предыдущей своей работе он остановился на мысли, что вся энергия имеет источником своим солнце, то теперь перед ним естественно встал вопрос: откуда же черпает энергию само солнце? И верный своему учению о воз-

никновении тепловой энергии из механической, о возникновении тепловой энергии в результате удара одного твердого тела о другое, – Майер создал теорию о том, что температура солнца поддерживается постоянно падающими на солнце кометами, мелкими небесными телами и осколками небесных тел. Попутно Майер строит остроумную гипотезу, объясняющую загадочное явление солнечных пятен, и высказывает ряд ценных для науки соображений относительно влияния приливов и отливов на вращение земли[1], относительно общей суммы теплоты, заключающейся в солнце и в земле.

Наученный прежним горьким опытом, Майер и эту свою работу предпочел издать отдельной книжкой, напечатанной за собственный счет, – и это, конечно, вызвало новые на него атаки со стороны «внутренних» семейных врагов. Работа под заглавием «Опыт небесной динамики в популярном изложении» появилась в 1848 году. Это был год, когда по всей Германии гремели громы революции, – и естественно, что голос чудака, вздумавшего в такой момент рассуждать о солнце и о кометах, не был услышан. Статья Майера о небесной динамике, со всеми ее глубокими философскими выводами, была обойдена молчанием.

Тем временем колесо революции вертелось все быстрее, забирало все глубже и задело, наконец, даже такие тихие, заплесневелые уголки, как Гейльбронн. Сам Майер был слишком далек от земли, чтобы принять в революции непосредственное участие, а может быть, уже сказалось омещанивающее влияние семьи, – во всяком случае, Майер был в стороне от охватившего всю Германию движения. Но старший брат Майера с головой ушел в революцию и очутился в числе вожаков восстания в Бадене. По просьбе своей невестки, жены брата, Майер отправился в Баден, чтобы уговорить брата Фрица вернуться домой, в Гейльбронн, в лоно семьи. В Бадене, разыскивая брата, Майер попал на квартиру Зигеля, вождя баденских повстанцев; Майера заподозрили в шпионстве и

---

[1] Приливы и отливы имеют причиной притяжение водяных частиц луной. Главная волна прилива движется с востока на запад, а земля вращается в обратном направлении. Трение частиц воды о дно и удары волн прилива о берег вызывают замедление вращения земли.

чуть не застрелили: до научных заслуг Майера баденским повстанцам было так же мало дела, как мещанам Гейльбронна. Как-то Майеру все же удалось выбраться из этой передряги целым и невредимым.

Политические взгляды Майера в эти годы были, по-видимому, консервативными, и только позже, после целого ряда новых столкновений с разными бесталанными профессорами, настроение Майера стало гораздо более оппозиционным. А пока Майер оставался верен себе, верен главной задаче своей жизни: произвести революцию в науке. Нужно отметить, что во всех своих научных трудах Майер шел в ногу с демократическим духом эпохи: свои работы он писал отнюдь не для узкого класса специалистов-ученых, а писал языком популярным и предназначал их для широких масс; недаром же в последней из своих работ к заглавию «Опыт небесной динамики» Майер прибавил: «в популярном изложении». И может быть, это похищение Прометеева огня науки, чтобы принести его простым смертным, эти попытки говорить о своем учении с широкими массами чрез головы ученых чиновников, было одной из причин, что последние вскоре так набросились на Майера.

Кампания против Майера началась в мае 1849 года. Поводом послужило то, что в печати появились сведения о некоторых работах английского физика Джоуля, касающихся того же самого поднятого Майером вопроса о соотношении между работой и теплотой. О результатах своих опытов Джоуль впервые заявил публично (на собрании «Британской Ассоциации») в 1843 году, т. е. год спустя после появления в печати первой работы Майера. И тем не менее в докладе, представленном Французской Академии и напечатанном в ее отчетах, Джоуль утверждал, что первенство открытия зависимости между теплотой и работой принадлежит ему, Джоулю, а никак не Майеру.

В нумере аугсбургской газеты «Allgemeine Zeitung» от 14 мая 1849 года Майер напечатал коротенькую заметку, в которой, ссылаясь на даты, доказывал, что ему по праву принадлежит честь открытия этого великого физического закона о соотношении между теплотой и работой.

В течение семи лет немецкие ученые упорно не замечали работ Майера, и только теперь, после заявления Джоуля и ответа Майера, в той же самой аугсбургской газете «Allgemeine Zeitung» появилась статья о Майере. Статья эта принадлежала перу доцента Тюбингенского университета Зейфферта, но за спиной Зейфферта несомненно скрывалась вся клика консервативных профессоров захудалого провинциального университета: тюбингенские профессора решили сбить, наконец, спесь с этого зазнавшегося гейльброннского докторишки, осмелившегося утверждать, что он знает больше их, профессоров, и своими открытиями расшатывающего устои их непогрешимой школьной науки. В статье Зейфферта Майер был выставлен как малосведущий дилетант; выходило так, что никаких научных заслуг у Майера нет, никаких открытий он не сделал, и в заключение публику предупреждали, чтобы она не очень-то доверяла фантазерам вроде Майера.

Уже большим ударом для Майера было упомянутое выступление английского физика Джоуля: у Майера отнимали право на любимое детище. Но на его стороне были такие верные союзники, как факты и даты; Майер был уверен, что одного опубликования заметки в аугсбургской «Allgemeine Zeitung» будет совершенно достаточно, чтобы исчерпать вопрос и восстановить свои права. Можно себе представить, как на него подействовало появление статьи Зейфферта. Следует отметить, что Майер не принадлежал к числу тех исключительных натур, для которых достаточно собственного сознания правоты и для которых мнение других – ничто; следует вспомнить, что дома в Гейльбронне, в семье – Майер постоянно слышал одни только насмешки над своими занятиями наукой. И вот теперь – его имя было обесславлено по всей Германии: аугсбургская газетка пользовалась в ту пору большой популярностью.

Майер немедленно же написал статью, в которой возражал Зейфферту, и статью эту отправил в ту же самую аугсбургскую газету. Но редактор не хотел портить отношений с коллегией профессоров Тюбингенского университета и отказал Майеру в напечатании его статьи. Майеру оставалось единственное средство, к которому

он уже и раньше прибегал для опубликования своих сочинений: он снова за собственный счет издал в Гейльбронне брошюру «Заметки о механическом эквиваленте теплоты». Пока брошюра была написана и напечатана, прошло около двух лет, и брошюра вышла только в 1851 году. В ученых кругах брошюры Майера не заметили – или сделали вид, что не заметили. В широкую публику специальная, научная брошюра Майера, естественно, не могла проникнуть: в глазах этой публики Майер должен был остаться каким-то малограмотным выскочкой и чуть ли не вором научных идей, как это выходило по статьям Джоуля и Зейфферта. Для Майера создавалось безвыходное положение: противники его не принимали открытого боя. Для справедливого гнева Майера не было естественного выхода – в статьях, в полемике; Майер вынужден был молчать, и вся энергия этого гнева – если использовать научные образы, созданные Майером, – вся энергия «обратилась вовнутрь», обратилась в злой огонь, медленно пожиравший силы духа Майера.

По целым дням Майер запирался у себя наверху, в комнате, расхаживал большими шагами и по временам давал выход раздражению в крепких словах по адресу обидчиков. А внизу к шагам Майера прислушивались его жена, и его почтенный тесть, и шурья, и дети: «Наш блаженный совсем спятил. Слышите: сам с собой разговаривает?»

Если Майер спускался вниз, его же собственные дети косились на него и пересмеивались: они целиком были под влиянием матери и от старших постоянно слышали, что их отец – дурачок, полоумный. Фрау Майер неустанно пилила мужа. Были мобилизованы все гейльброннские авторитеты, чтобы обратить Майера на путь истинный: ежедневно приходили гейльброннские коллеги Майера – врачи, гейльброннские пасторы и выливали на Майера целые ведра красноречивых, практических, убедительных, трезвых, набожных, разумных доводов.

Майер не выдержал. В темную весеннюю ночь 1850 года он выбросился из окна второго этажа на мостовую. До смерти он не убился – только повредил ногу и хромал потом всю остальную жизнь. В 1851 году Майер заболел воспалением мозга; прошло оно очень скоро. Но

жена Майера и его тесть решили, наконец, принять энергичные меры, чтобы излечить Майера от его «мании величия» и сделать из него нормального, добропорядочного человека. Да вдобавок этими своими постоянными крепкими словами по адресу противников Майер мог развращающим образом подействовать на детей: нельзя же в самом деле такого человека держать в порядочном доме... В 1853 году против Майера были, наконец, приняты «энергичные меры», и меры эти, как увидим дальше, достигли своей цели: неугомонный дух Майера сложил свои орлиные крылья и уселся на мирном гейльброннском нашесте.

IV

Роберт Майер – это романтик науки, Дон-Кихот физики. Как Дон-Кихот, он всю жизнь был рыцарски верен одной Дульцинее; как Дон-Кихот, он всю жизнь сражался во имя ее; как над Дон-Кихотом, над ним потешались; как Дон-Кихота, его считали помешанным. И как в Дон-Кихоте, под латами благородного и бесстрашного рыцаря было тощее, неуклюжее тело захудалого ламанчского дворянина, так и в Майере, где-то глубоко под его героическим обликом, крылся другой Майер: Майер – обыватель заросшего дремучим провинциальным мхом Гейльбронна, Майер – сын доброго гейльброннского аптекаря Христиана Майера, Майер – праправнук почтенного пастора Христофора Майера. При всем мужестве, настойчивости, последовательности – в Роберте Майере не хватало стали, лезвия. Для борьбы с его научными врагами нужны были выпады более резкие и жестокие, чем, например, написанная им для самозащиты брошюра; для борьбы с засасывавшим его провинциальным болотом нужны были средства хирургические, вплоть до разрыва с опутывавшей его, как кандалы, семьей. Но на это у Майера решительности не хватало. В натуре у него было чересчур много мягкости – это его погубило. Он был слишком силен духом и слишком высоко парил, чтобы стать подлинным рабом мещанства, но все же был недостаточно силен для того, чтобы разорвать решительно с этим мещанством. А с другой стороны – жена его была

особа с характером по-мужски твердым и деспотическим, с миросозерцанием цельно-гейльброннским, без единой трещинки. Так же, как и для врагов Майера в другом, ученом лагере, – для фрау Майер в мире существовали только две категории: белое и черное, ее тупо-непогрешимые истины – и все остальное. Сомнений для нее не было никаких: это «все остальное» – заблуждения, и как таковое должно быть исправлено и подогнано под ранжир ее непогрешимых истин. Обычная судьба пророка в своем отечестве, обычная судьба романтика – быть побежденным грубой, практичной и трезвой жизнью. Такова была судьба Дон-Кихота; такова была и судьба Роберта Майера. Жена его и тесть сыграли роль бакалавра Карраска, во время шутовского турнира выбившего рыцаря ламанчского из седла, чтобы тем вернуть его в среду «нормальных» людей. Бакалавр Карраска несомненно желал Дон-Кихоту добра – того, что по его понятиям было «добром». Жена Майера и ее родственники, вероятно, тоже желали ему добра, своего «добра».

После того как Майер оправился от воспаления мозга – жена и ее родственники стали его уговаривать: «Ты болен. Тебе надо поехать посоветоваться с врачами, полечиться. Ты сам понимаешь...»

Майер – сам врач – конечно понимал, что нервы у него издерганы вконец, что ему хоть на время нужен покой, и понимал, что условия домашней жизни этого покоя ему ни в какой мере не могут обеспечить. И Майер сам добровольно (как он потом рассказывал одному из своих немногочисленных друзей – Дюрингу) отправился в Гэппинген.

Здесь была санатория и водолечебница для нервнобольных. Но врачи в Гэппингене были уже основательно подготовлены женой Майера и его тестем: врачам был приведен целый ряд убедительнейших доказательств, что Майер страдает тяжелой формой мании величия и по временам буйными припадками. Заправилы гэппингенской лечебницы очень ловко убедили Майера съездить в местечко Винненталь для совета с заведующим тамошней лечебницей доктором фон Целлером. Ничего не подозревая, Майер отправился в Винненталь. Но Винненталь был для него западней: немедленно же по прибытии сюда

Майера доктор фон Целлер посадил его в одиночную камеру, в отделение для сумасшедших.

Доктор фон Целлер был человек образованный, он читал статью Майера «Органическое движение в связи с обменом веществ». И потому доктор фон Целлер начал с расспросов: настаивает ли пациент на своем нелепом утверждении, что теплоту можно измерять какими-то килограммометрами? Майер, конечно, настаивал и, конечно, продолжал горячо утверждать, что именно он, Майер, открыл этот великий закон физики. Для фон Целлера это было явным доказательством, что пациент страдает манией величия и что пациент – несомненно сумасшедший: ведь то, о чем говорит Майер – «бессмысленно, как квадратура круга», так определил это ученый-психиатр. И дверь камеры прочно захлопнулась за упрямым еретиком.

Майеру все это представлялось странным недоразумением; он стал настаивать, чтобы к нему вызвали кого-нибудь из Гейльбронна, кто бы мог разъяснить, что он, Майер, вовсе не сумасшедший, – ну вот, хотя бы его жену. Но – странно – жена не приезжала, никто из Гейльбронна не приезжал. Майер вызывал к себе кого-нибудь из администрации лечебницы: никто не являлся, в коридоре тихо, только шаги служителей. В припадке отчаяния Майер стал колотить сапогом в дверь. Для фон Целлера этого было довольно, чтобы решить: пациент из камеры номер такой-то – буйный сумасшедший. Надеть на номер такой-то сумасшедшую рубаху и привязать его к «смирительному стулу». И номер такой-то скрутили и привязали.

Неизвестно, сколько времени держали Майера в сумасшедшей рубашке на этом самом «смирительном стуле». Вероятно, долго, потому что сам он впоследствии рассказывал Дюрингу, что после этой процедуры у него жестоко болела спина и во многих местах на теле были ссадины и раны от веревок. Так просвещенный психиатр лечил одного из величайших ученых 19-го века от его «заблуждений» и мании величия. Лечение это продолжалось целый год. Целый год Майер высидел в одиночной камере сумасшедшего дома. Кто-то из посетителей лечебницы заинтересовался этим пациентом и попросил разрешения взглянуть на него. Разрешение было получено,

и любопытный посетитель увидел человека, физически совершенно измученного, умирающего. Прошел слух, что Роберт Майер умер; об этом появилась заметка все в той же «Allgemeine Zeitung». Майера похоронили...

Известия о смерти Майера были преувеличены, именно преувеличены: он выдержал жестокое лечение доктора фон Целлера, он был еще жив; но живо было только его тело: дух Роберта Майера, непокорный дух исследователя сложнейших областей физики, дух неутомимого борца за научные истины – уже умер.

В 1854 году Майер был, наконец, выпущен из сумасшедшего дома и вернулся домой, в Гейльбронн, вернулся, к великой радости добрых своих родственников как будто уже излечившимся от своей «мании величия». Слава Богу: Роберт Майер стал жить по-человечески, как все. Он занимался врачебной практикой. Он перестал тратить время на эти свои нелепые вычисления и никчемное бумагомарание, перестал сидеть в затворе у себя наверху за письменным столом; как и все добрые люди, в свободное время он вместе с семейством отправлялся в гости и тут мирно беседовал – как и все, о том же, о чем и все. Подчас не прочь был и выпить. Он стал религиозен и по соображениям религиозным отзывался отрицательно об учении Дарвина. Роберт Майер излечился; Роберт Майер стал «нормальным» гейльброннским обывателем. Своей жизнью он говорил теперь то, что сказал излечившийся Дон-Кихот: «Полноте, друзья мои, какой же я рыцарь ламанчский: нет, я просто – Алонзо Добрый».

Так прошло пятнадцать лет. За это время Майер ничего не написал, если не считать незначительной статейки «О лихорадке», напечатанной им в 1862 году. В течение этих пятнадцати лет Майер безвыездно жил в Гейльбронне и не предпринимал никаких шагов для защиты или пропаганды своих идей. Но истина работает сама за себя и раньше или позже побеждает – обыкновенно позже. Так было и здесь. Открытые Майером научные истины мало-помалу пробивали себе дорогу сквозь толщу научного консерватизма, мало-помалу завоевывали себе общее признание.

Началось это, как и следовало ожидать, не в Германии, не на родине Майера, а за границей. В 1858 году

Майер был избран почетным членом швейцарского Общества естествоиспытателей в Базеле. В 1862 году, во время международной выставки в Лондоне, известный английский физик Тиндаль делал доклад о механической теории тепла и перед лицом собравшихся с разных концов света ученых торжественно провозгласил Майера творцом этой новой теории. «Особенно приходится удивляться тому, что сделано Майером, если принять во внимание внешние условия его жизни и время, в течение которого он написал свои работы. Этот гениальный человек работал в неизвестности; исполненный любви к своему предмету, он достиг результатов более важных, чем другие, всю жизнь занимавшиеся исследованиями в области естествознания». Такими словами заканчивался доклад Тиндаля.

Затем, наконец, заговорили о Майере и в Германии.

Около этого времени у Дон-Кихота-Майера появился верный оруженосец – доцент Берлинского университета Дюринг: Дюринг выпустил книгу под заглавием «Критический обзор общих принципов механики»; в этой книге он отводил Майеру место в ряду величайших созидателей науки, каковы Галилей, Гюйгенс, Лагранж, и одновременно развенчивал многих чиновных представителей тогдашней немецкой науки, которые сами никаких новых путей не пролагают, а лишь идут по проторенной другими дорожке. Между прочим Дюринг осмелился задеть и знаменитого Гельмгольца: он провел параллель между научными заслугами Гельмгольца, этого признанного светила, и заслугами никем не признанного Майера – и пришел к выводу, что Майер для науки сделал едва ли не больше чем Гельмгольц. На оруженосца посыпались те же удары, что и на его рыцаря: профессора Берлинского университета, и в частности Гельмгольц, ополчились на Дюринга, и он был удален из университета.

Удаление Дюринга было грубым нарушением принципа свободы науки и вызвало большие толки в печати. Газетные статьи о Дюринге попали, наконец, в захолустный Гейльбронн: так узнал о выступлениях Дюринга и Майер. Между Майером и Дюрингом завязалась переписка, а позже, незадолго до смерти Майера, состоялось и личное знакомство.

В это время Дюринг жил в курортном местечке Вильдбаде, совсем недалеко от Гейльбронна. И тем не менее у Майера не было возможности пригласить Дюринга к себе в Гейльбронн, потому что жена Майера и ее родственники были против приезда Дюринга; позже Майер в одном из писем откровенно рассказал об этом Дюрингу: «Ведь всем известно, что я – дурак, и всякий считает себя вправе опекать меня», – писал он Дюрингу.

В назначенный день Майер не приехал в Вильдбад: этот день был днем рождения жены Майера, и потому Майер вынужден был остаться дома. «Это была, конечно, мелочь; но самый тон, в котором Майер рассказывал всю эту историю, сразу же очень ясно показал мне, каковы его семейные дела», – добавляет Дюринг. Прощаясь с Дюрингом, Майер назначал ему новое свидание уже в Гейльбронне, но опять-таки не на дому у Майера, а в отеле. Все эти факты, сами по себе незначительные, интересно отметить, потому что они определенно показывают, каково было положение Майера в семье, показывают, насколько он боялся своей жены и ее родственников.

Во время свидания с Дюрингом Майер лично подтвердил своему собеседнику, что главным виновником своего заключения в сумасшедший дом он считает герра Клосса, своего тестя, и что ближайшее отношение к этому делу имела также и его жена. «Женщины – это...» – тут Майер добавил по адресу женщин такое слово, что Дюринг не рискнул его привести и обозначил только многоточием...[1] Впоследствии Дюринг издал целую книгу под заглавием «Роберт Майер, Галилей девятнадцатого столетия», где подробно излагает всю историю борьбы Майера с косностью ученых ремесленников и с заедавшим его мещанством семьи.

Тем временем имя Майера приобретало все большую известность и в Германии и за границей. По представле-

---

[1] Другой из современников Майера, также лично знавший его, передает, что он слышал такой разговор Майера с женщиной-врачом: «А вы знаете, госпожа докторша, ведь женщин-то на небеса не пустят». – «Как? Почему?» – «В Откровении, в главе 8, стихе 1-м сказано: "и полчаса была в небесах тишина". А если там будут женщины, ясно». Отношение Майера к женщинам становится очень понятным, если вспомнить, какую роль женщина сыграла в его жизни.

нию английского физика Тиндаля – Лондонское Королевское Общество присудило Майеру медаль; в Париже – Майера сочли достойным премии имени Понселе и избрали его членом Парижской Академии; Туринская Академия прислала ему почетный диплом. В Германии издательство Котта выпустило полное собрание его сочинений и через несколько лет повторило это издание. Все эти внешние знаки запоздалого признания еще раз – последний раз – зажгли в Майере прежний творческий огонь. На съезде естествоиспытателей в Инсбруке в 1869 году – ровно через пятнадцать лет после «исцеления» Майера – он прочитал полный широких философских обобщений доклад «О необходимых следствиях и непоследовательностях механической теории теплоты». Еще раз Майер вырывается из тесной гейльброннской клетки и бросает взгляд на мир сверху, с какой-то огромной высоты, откуда одновременно видны и солнце, и дождем сыплющиеся на солнце метеоры, и земля, увенчанная коронами полярных сияний, и на земле – ничтожный и могущественный человек.

Возвращаясь к своей прежней теории о пополнении запасов солнечной теплоты механическим путем (удары падающих на солнце небесных тел), как одно из возможных следствий этой же теории – Майер отмечает явление так называемой «энтропии». Под энтропией разумеется стремление мировой энергии к покою – к смерти. И на земле, этой пылинке вселенной, постоянно происходит переход теплоты от тел более нагретых к телам менее нагретым. Энергия теплоты, согласно закону сохранения энергии, формулированному Майером, – при этом не теряется, но как бы понижается в качестве, стареет. Получается все более и более равномерное распределение теплоты, и это равномерное распределение является медленным умиранием вселенной, потому что при низких температурах, при отсутствии тепловых контрастов – даже большие количества теплоты неработоспособны: в ванне с теплой водой содержится гораздо большее количество тепловых единиц (калорий), чем в игрушечном паровом котелке, и тем не менее теплоту воды в ванне нельзя использовать для работы, а игрушечный паровой котелок дает энергию хотя бы для игрушечной паровой машины.

Учение об энтропии – один из глубочайших философских выводов всего современного учения об энергии – подробно развито было позднее другими учеными (Клаузиусом, Карно). Майер только в общих чертах наметил эту теорию. Оптимистическое миросозерцание Майера не могло примириться с выводом о постепенном умирании мира и мировой энергии. В том же самом докладе Майер высказал мысль, что повторяющиеся время от времени столкновения крупных небесных тел обеспечивают непрерывное питание солнца падающими метеорами, а стало быть – всю солнечную систему тепловой энергией.

От солнца Майер обращается к земле. Земля представляется ему гигантской, непрерывно работающей электрической машиной. Постоянные течения воздуха в тропиках – так называемые пассатные ветры – непрерывно заряжают земную атмосферу электричеством, развивающимся вследствие трения воздуха о воду. Нагретые и заряженные электричеством слои воздуха поднимаются вверх, текут к полюсам, и это, как полагает Майер, вызывает явление полярных сияний.

Человеку Майер отводит особое место среди всех явлений вселенной. Тело человека – эта живая машина – несомненно подчинено всем законам сохранения и превращения энергии. Но человеческую природу Майер считает состоящей из двух элементов: тела и духа, и дух, как формулирует Майер, «не подлежит исследованию физика и анатома». В этом умозаключении отразился последний период эволюции Майера – период его религиозности[1].

В следующем, 1870 году Майер разработал и прочитал доклад «О землетрясениях». Здесь Майер излагает

---

[1] Уместно будет вспомнить, что в историк науки можно найти целый ряд ученых, занимавшихся точными науками и тем не менее религиозных. Таков был Ньютон, таков был Пирогов, таковы известные английские физики Уильям Крукс и Оливер Лодж, да и много других.

Относительно Майера – по крайней мере Майера в последний период его жизни – Дюринг, на основании слов самого Майера, отмечает, что он был равнодушен к внешней стороне религии. Религия выражала стремление глубины его духа привести всю «природу к какой-то божественной законченности и гармоничности», – говорит Дюринг.

простую и очень логичную теорию вулканических явлений, прямо вытекающую все из той же механической теории теплоты: вследствие беспрерывно продолжающегося охлаждения земного шара – земная кора стягивается и выдавливает наружу, на поверхность, огненно-жидкую массу, называемую лавой. Развитые в этом докладе мысли Майера послужили впоследствии основанием теории землятрясений Кордье.

Из других работ последнего периода деятельности Майера следует отметить статью, касающуюся явлений так называемого «разряда» энергии. Эта последняя из написанных Майером работа является необходимым дополнением к развитой Майером теории превращения энергии. Легкое трение спички вызывает пожар, ничтожная искра – страшный взрыв: тут нет равенства, эквивалентности между причиной и следствием. Такие явления («разряды») имеют место в том случае, когда способная к превращению энергия (например, энергия взрывчатого вещества) была каким-нибудь способом удержана от этого превращения. Обращаясь к случаям физиологического разряда, т. е. разряда энергии в живом организме, Майер первый и последний раз печатно упомянул о страданиях, испытанных им в лечебнице доктора фон Целлера. «Я хотел бы отметить, – говорит Майер, – как противоестественна та рутина, которая при психических болезнях и умственных расстройствах подавляет столь необходимые разряды посредством самых жестоких приемов: сумасшедших рубашек, смирительных кресел и смирительных кроватей. Это, конечно, способ весьма удобный и не требующий решительно никакого искусства, но он причиняет несчастному громадный вред и в лучшем случае оставляет в нем чувство горечи. И тот, кто прибегает к этому бессмысленному способу, не смеет претендовать на звание добросовестного врача».

Ни признание научных заслуг Майера за границей, ни все возрастающая его популярность в самой Германии не спасали его от нападок со стороны его врагов. Попытки так или иначе подорвать репутацию Майера время от времени возобновлялись. Снова пускалась в ход басня о «мании величия», сумасшествии Майера, припоминались неточности в первых его работах. Появилась направленная

против Майера статья профессора Карла Фогта. Выступил Гельмгольц с докладом, содержавшим целый ряд ядовитых выпадов против Майера. «Поверхностные аналогии находить легко, – говорил Гельмгольц. – Это занимательно, и такие остроумные выходки вскоре обеспечивают автору славу богато одаренного человека. Среди большого числа подобных мыслей неизбежно найдутся и такие, которые впоследствии окажутся наполовину, а может быть даже и целиком – верными; ведь постоянно делать одни только ложные догадки – это было бы сущим чудом. В этом счастливом случае можно провозгласить приоритет автора на открытие; в противном случае человеческая забывчивость покрывает ошибочные выводы. Добросовестные труженики остерегаются выставлять свои мысли на рынок, раньше чем эти мысли будут подвергнуты всестороннему испытанию, раньше чем будут устранены все сомнения и установлены незыблемые доказательства...»

Так люди, которые никак не могли примириться со все растущей славой какого-то гейльброннского лекаря, отравляли последние годы существования Майера и опять пытались в глазах широкой публики выставить его легкомысленным шарлатаном. Но, к счастью, в европейской науке имя Майера стояло уже слишком высоко, слишком твердо, чтобы его могли поколебать продиктованные недальновидностью или завистью выходки. И, к счастью, Майеру оставалось терпеть уже совсем немного: его трудный жизненный путь был близок к концу.

V

Из сумасшедшего дома Майера выпустили, когда ему было сорок лет. И затем целых пятнадцать лет, самые лучшие, зрелые годы, были вычеркнуты из его жизни: Майера – творца, Майера – рыцаря науки не было, был только гейльброннский обыватель Майер. Но с начала семидесятых годов 19-го века пятидесятилетний Майер вдруг помолодел, как выпивший волшебного напитка гетевский доктор Фауст: этим волшебным напитком для Майера было признание его гениальных идей, признание

его научных заслуг. Молодым и бодрым Майер оставался до самой смерти.

Совсем незадолго до смерти Майера несколько дней в его обществе провел уже упоминавшийся в предыдущей главе Дюринг, и, по его описанию, вот каким представлялся Майер в последние месяцы своей жизни:

«Всякому, кто его видел, должны были прежде всего броситься в глаза простота и скромность в его внешности, в самой его одежде. Ему шел седьмой десяток, и все же он, несмотря на то что в горах по утрам и по вечерам бывает довольно прохладно, был одет в простой легкий сюртук и круглую шляпу. Никто не мог бы узнать в нем ученого. В нем не было никаких признаков, типичных для этих людей; даже то, что он носил очки, не давало повода к такому заключению. В его внешности и манере держать себя совершенно не было этой обычной чопорности ученых. Простолюдин счел бы его за кого угодно, только не за ученого. Говорил он на швабском народном диалекте, и говорил так быстро, что жителю другой области Германии, даже привычному, надо было слушать с напряженным вниманием, чтобы следить за его мыслями. Несомненно, только очень проницательный человек по его лицу мог бы угадать в нем ученого исследователя и мыслителя: человек обыкновенный не нашел бы в его речах ничего особенного и отметил бы только разве быстроту и легкость оборотов, да еще обилие простонародных выражений и прибауток. В нем не было ничего похожего на аффектацию или манерность. Роберт Майер был прост, как сама природа, на которой он основывался и об руку с которой он шел в тонко понятом им основном законе физики. Как и природа, он говорил тем естественным, без всяких ухищрений, языком мысли, который остается чужд только ученым кривлякам и тупой болтовне педантов. В словах Майера несомненно было то, что именуется остроумием, но кроме того в них было видно и богатство духа. Это более благородное качество – полнота и богатство духа, столь далекое от обычного остроумия, проявлялось во всей непроизвольности, естественности его речи. Не было ничего заранее придуманного, заранее подготовленного. Чувствовалась свободная игра умственных и духовных сил, и ее вызывал случайный предмет

разговора в ту или иную минуту. Все это было так далеко от чего-нибудь заученного; не было и следа какой-нибудь преднамеренности или желания произвести эффект». «По внешнему виду он был еще очень крепок, а если принять во внимание его живость, то едва ли кто мог бы поверить, что он так близок к смерти. Он тоже далек был от этой мысли и мечтал о более серьезной работе по вопросу о «разрядах» энергии. Правда, в разговоре он как-то между прочим вспомнил, что он уже немолод, много пережил и может скоро умереть. Однако он не ждал, что так скоро порвется нить его жизни, да и не было никаких причин ждать этого. По виду его никак нельзя было заподозрить в нем какую-нибудь болезнь. И юношеская живость его духа заставляла забывать о некоторой его телесной слабости. Правда, когда он шел, в походке его уже можно было приметить какую-то нетвердость – такая нетвердость бывает у людей, в которых время, жизнь и несчастья уже изрядно поубавили энергии. Но только и всего, да и это можно было разглядеть лишь очень зорким взглядом. А с другой стороны, он, уже шестидесятилетний старик, взбежал ко мне по лестнице с такой быстротой, какая под силу только молодому, крепкому человеку – и это несмотря на то, что одна нога у него волочилась. И поэтому о близости его смерти я думал не больше, чем о моей собственной смерти».

Зимой 1878 года этот бодрый и полный сил старик вдруг стал слабеть, Началось с того, что на правой руке появилась какая-то опухоль. Жена спросила, что это значит и не опасно ли это? «Это знак, что в королевстве Датском попахивает гнилью», – с печальным юмором отвечал Майер словами шекспировской трагедии.

Перед Рождеством Майер простудился, заболел воспалением легких, слег в постель и уже больше не вставал. Как врач Майер прекрасно сознавал свое положение и предвидел, каков будет исход его болезни. «Спокойно и тихо лежал он на одре болезни, – описывала впоследствии его дочь, – ласково и радостно встречал каждого посетителя; особенно рад он бывал, когда приходил его сын, которого он всегда ожидал с нетерпением». Сын Майера в эту пору был уже врачом и лечил своего отца.

«Во время болезни Майера его домашние были очень ласковы с ним, – с иронией отмечает Дюринг, говоря о последних днях Майера, – но это уже не могло помочь...» 20-го марта 1878 года Майер скончался.

Во время шествия осужденных инквизицией к месту сожжения можно было видеть странную картину: среди приговоренных к костру наряженных в шутовские колпаки еретиков – несли гробы, изукрашенные теми же самыми символическими языками красного адского пламени, что и колпаки осужденных. В этих гробах – были кости еретиков, которые преступно умерли, не дождавшись приговора Святейшего Трибунала; инквизиция не оставляла в покое и мертвых: кости мертвых сжигались на том же костре, который должен был исцелить зараженный ересью дух живых. То же случилось и с Майером: наиболее твердые и ревностные отцы научной церкви не оставили его в покое и после смерти.

Начало положил все тот же Тюбингенский университет, alma mater Роберта Майера, исключивший за политическую неблагонадежность Роберта Майера – студента, преследовавший за научную неблагонадежность Роберта Майера – ученого. Костром, на котором пытались сжечь прах Роберта Майера, была все та же аугсбургская газета «Allgemeine Zeitung», на страницах которой травили Майера при жизни. В роли служителя инквизиции на сей раз выступило лицо очень почтенное – канцлер Тюбингенского университета профессор Рюмелин.

Вскоре после смерти Майера профессор Рюмелин напечатал в «Allgemeine Zeitung» ряд статей, где доказывал, что раз Майер был в лечебнице для душевнобольных, то – ясно – все его работы после выхода из лечебницы не имеют никакой ценности как написанные человеком психически ненормальным. Стоит только вспомнить заглавие одной из последних работ Майера: «О необходимых следствиях и непоследовательностях механической теории тепла». Банальный ум тюбингенского профессора не в состоянии был понять, как это могут быть «необходимые непоследовательности»? На основании личных впечатлений о Майере-студенте Рюмелин пытался доказать,

что и в студенческие годы Майер был уже ненормальным: ведь он вел себя вовсе не так, как подобает нормальному, добропорядочному студенту. Увлекшийся Рюмелин пошел и еще дальше: он припомнил родителей Майера, отыскал и в них какие-то признаки душевной болезни и утверждал, что Майер ненормален был от рождения. Так ненавистен был «нормальным людям», людям золотой середины, толпы, шаблона – «ненормальный» гений Майер.

Чтобы в полном объеме понять все значение выходок Рюмелина, надо отметить, что Рюмелин был близким родственником жены Майера и только от нее и ее родственников мог получить все материалы, из которых он пытался сшить инквизиционный колпак для Майера. И еще надо отметить, что со стороны семьи Майера, по-видимому, не было сделано ни малейшей попытки защитить имя покойного. Статьи Рюмелина перепечатывались в других немецких газетах; имя Майера трепалось на все лады. В юмористических листках появились ядовитые карикатуры на Майера, иллюстрировавшие его «манию величия». По следам, проложенным Рюмелином, пошел некий Мюльбергер – и в фельетоне, напечатанном во «Франкфуртской Газете», тоже лягнул мертвого льва: в фельетоне Майер изображался уже не только как человек психически ненормальный, но и как горький пьяница.

Однако ни рюмелинам, ни мюльбергерам не под силу было свалить Майера. За границей, где у Майера не было «друзей» вроде Рюмелина и родственников вроде его тестя, – уже поднялся вопрос о постановке памятника великому исследователю законов природы; в Лондоне уже организовался комитет для сбора денег на памятник. Прошло еще несколько лет – спохватились и гейльбронцы. Через четыре года после смерти Майера они поставили перед ратушей памятник его гению – и собственной тупости.

Но достойный Майера памятник не здесь, не в Гейльбронне, а в другом, подлинном, великом отечестве Майера: имя этому отечеству, не знающему границ, объемлющему все народы и страны, все человечество – имя ему наука. Здесь неизгладимыми письменами высечено имя Роберта Майера на одном из краеугольных камней

той великой пирамиды, которая из века в век складывается неустанными усилиями человеческого духа.

В современной науке Роберт Майер справедливо считается основателем всего учения тепловой механики, так называемой термодинамики. В наши дни термодинамика является обязательным предметом в каждом высшем техническом учебном заведении: законы термодинамики кладутся в основу проектирования машин. Осветив самую сущность работы тепловых машин, термодинамика способствовала усовершенствованию двигателей; именно исходя из законов термодинамики, швейцарский инженер Рудольф Дизель пришел к созданию обессмертившего его имя «двигателя Дизеля».

Значение работ Майера не ограничивается одной только практической областью техники: в развитии философии естествознания работы его играют, быть может, еще большую роль. На язык формул и цифр, на язык научных фактов – Майер перевел мысль, которую больше чем за две тысячи лет до него высказывал греческий философ Демокрит. Этот философ учил, что количество всего существующего в мире неизменно – изменяется лишь форма; Майер закрепил это положение, формулировал закон сохранения энергии. Тем самым Майер заложил фундамент и для всего современного учения об энергии, так называемой энергетики.

В наши дни точная наука, целые столетия занимавшаяся кропотливой работой анатомирования вселенной, разложения ее на части, анализа, – все больше начинает переходить к широким философским обобщениям, к синтезу; философия все больше облекается плотью точных наук – механики, физики; и соединение это – развертывает в будущем все более широкие горизонты. Одним из первых, двинувших точную науку на этот путь, надо считать Роберта Майера. Его проницательный ум сумел заглянуть больше чем на полстолетия вперед: Майер высказал мысль о единстве материи и энергии – мысль, являвшуюся совершенно еретической с точки зрения тогдашней науки и составляющую одно из основных положений новейшей философии естествознания. Мысль эту, еще не вполне ясно формулированную, можно найти и в печатных трудах Майера, но она уже вполне опреде-

ленно выражена в письме Майера к одному из ближайших его друзей Гризингеру (1842 г.). В этом письме Майер пишет: «Мое утверждение – следующее: сила падения, движение, теплота, свет, электричество и химическое различие весомых веществ – все это составляет один и тот же объект, только в различных формах его проявления». То, что Майер связывает силу (энергию) и весомые вещества (материю), с несомненностью говорит, что Майеру ясен был этот принцип – единства материи и энергии.

Из приведенного в предыдущих главах краткого обзора трудов Майера видно, насколько многогранен и разносторонен был его ум: свои идеи он сумел применить и в физиологии, и в физике, и в химии, и в механике, и в астрономии. Эта многогранность давала повод близоруким противникам Майера упрекать его в любительстве, в дилетантизме. Но если Майер и был дилетант, то дилетант гениальный, дилетант типа Леонардо да Винчи. Особенностью таких гениальных дилетантов является редкостное соединение в них способностей аналитических с синтетическими, т. е. способности разбираться с помощью научных методов в самых мелких фактах – с талантом к широким обобщениям. В Леонардо да Винчи аналитический ум математика соединялся с творческим даром великого живописца. В Роберте Майере жили одновременно физик и философ; он одновременно смотрел на мир и в микроскоп, и в телескоп, видел и атом, и вселенную. Майер не принадлежал к числу тех близоруких ученых специалистов, для которых весь горизонт замкнут в безнадежном четыреугольном пределе разложенной на письменном столе книги: у научной мысли Майера были мощные крылья, у него была богатая научная фантазия. Для него наука была не ремеслом, а страстью. В свою научную идею он был влюблен; это была его Прекрасная Дама. И потому его биография – это не обычная биография ученого, сводящаяся к перечню научных работ, а целый роман, полный радостей и страданий, падений и подъемов, поражений и побед.

1921

А. П. ЧЕХОВ

В городе Таганроге – тихая, поросшая травой Монастырская улица. Как и во всех русских уездных городах – бесконечные заборы. Двухэтажный уездный домик; в нижнем этаже – вывеска: «Колониальная торговля П. Е. Чехова». П. Е. Чехов – это Павел Егорович Чехов, отец писателя; и за этими унылыми заборами, в стенах за этой вывеской прошло детство Антона Павловича Чехова.

Род Чеховых – коренной крестьянский. Дед писателя был еще крепостным – у помещика Воронежской губернии Черткова, отца известного толстовца Черткова. Упорным трудом Егор Чехов скопил три с половиной тысячи, за эту сумму купил у барина вольную для всей своей семьи – по семьсот рублей за душу – и переселился с семьей на юг. Тут, недалеко от Таганрога, он долгое время был управляющим в имениях графа Платова, героя войны 1812 года.

Отец писателя, Павел Егорович, служил в Таганроге конторщиком. Откладывая, по мелочам, с тем же самым мужицким упорством, как и отец, Павел Егорович сколотил, наконец, немного денег и открыл на Монастырской улице собственную торговлю. К этому времени он уже был женат на Евгении Яковлевне Морозовой, дочери таганрогского купца-суконщика. 19 января 1860 г. у Евгении Яковлевны родился сын Антон.

Кроме Антона Павловича – у П. Е. Чехова было еще четверо сыновей и дочь. Жизнь в домике на Монастырской улице шла по-старинному, крепким, суровым укладом. Детей Павел Егорович воспитывал в строгости, «в

страхе Божием», старался сызмалолетства приучить их к церкви. Мальчики должны были строго соблюдать все посты, выстаивать длинные церковные службы. Возвращались из церкви домой – дома хором пели что-нибудь божественное, читали акафист. Павел Егорович был большой любитель и знаток церковного пения; позже, когда сыновья подросли, он составил из них настоящий хор и пел с ними на клиросе в церкви.

Все эти молитвенные повинности действовали на мальчиков совершенно иначе, чем этого хотел отец. «Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, – писал впоследствии Антон Павлович, – то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Когда, бывало, я и мои два брата среди церкви пели «Да исправится» или «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям – мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками».

Во всем этом была, быть может, только одна хорошая сторона: с детства запавшие в душу прекрасные слова и образы церковных поэм – положили крепкий фундамент для того удивительного знания и чутья русского языка, какие позже сказались в произведениях Чехова.

Начальной грамоте А. П. Чехов обучался в церковно-приходской школе на окраине Таганрога. Вместе с ним тут учились дети мелких ремесленников, матросов, портовых грузчиков. Учитель был из таганрогских греков, человек малообразованный и грубый; учеников своих он частенько бил. Учиться тут было невесело. «В детстве – у меня не было детства», – не раз говаривал потом А. П. близким друзьям.

По окончании приходской школы – мальчика отдали в гимназию. Учился он здесь неважно: два раза, в третьем и в пятом классе, оставался на второй год; в последнем классе из 23-х учеников Чехов был одиннадцатым. По-видимому, так же, как это было и с Пушкиным, Чехов развивался медленно.

Был он в эту пору мальчик неуклюжий, неповоротливый, большеголовый; товарищи дразнили его «бомбой» и «головастиком». Держался он как-то особняком, в одиночку, ни с кем особенно близко не сходился. И все же, неизвестно за что, «головастика» товарищи любили: мо-

жет быть, за это его неизменное ленивое добродушие, за ямочки на щеках, за улыбку.

В старших классах гимназии Чехов изменился и внешне, и внутренне: теперь это был живой, остроумный юноша, большой мастер на всякие веселые выдумки и затеи. Смех, юмор – то, что потом окрасило собой целую полосу в творчестве Чехова, – забили буйным ключом уже в эти годы. В библиотеке Чехов умудрялся выкапывать какие-то особенно забавные рассказы и так мастерски читал их, что весь класс покатывался со смеху. Очень искусно умел он гримироваться и мог до неузнаваемости изменять голос. Один раз он нарядился нищим, написал очень забавное просительное письмо, через весь город отправился к своему дяде и вручил ему это письмо. Дядя не узнал А. П. и подал ему милостыню – три копейки. С годами этот юмористический дар развился в Чехове еще больше. Во времена студенчества и позже – Чехов дома по вечерам вместе с братьями разыгрывал целые сцены собственного сочинения – и зрители смеялись до колотья в боках. То он изображал старого профессора, еле шамкающего лекцию, то афонского монаха, собирающего подаяния на елей, то деревенского дьячка, экзаменующегося перед архиереем на дьякона. Многие из этих, разыгранных в семейном кругу сцен, были впоследствии воспроизведены в рассказах А. П.

К тому времени, когда Чехов был в старших классах гимназии, относятся также его первые литературные попытки. В гимназии издавался журнал «Звездочка» – А. П. писал в этом журнале. Позже он самостоятельно, один, составил несколько номеров рукописного юмористического журнала «Заика». Гимназистом седьмого класса он написал водевиль «Недаром курица пела» и драму «Безотцовщина». Все это были, конечно, только более или менее удачные детские попытки.

Тем временем в семье Чеховых обстоятельства изменились. Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже и хуже. В 1876 г. П. Е. окончательно прогорел; пришлось продать дом и магазин. Павел Егорович вместе с семьей перебрался в Москву, где в это время уже проживали два его старших сына: Александр учился в университете,

Николай – в художественном училище. Антон П. остался один в Таганроге – кончать гимназию.

По приезде в Москву Павел Егорович поступил на службу конторщиком в один из амбаров в Торговых рядах. Жалованье он получал грошовое – пятьдесят рублей в месяц; еле хватало, чтобы содержать меньших, а о том, чтобы помогать одному из старших, Антону П., – нечего было и думать. Так, шестнадцати лет А. П. Чехов начал самостоятельную жизнь, полную труда и забот о куске хлеба.

Кое-как перебиваясь уроками, в 1879 г. А. П. кончил гимназию и приехал в Москву. Здесь он поступил на медицинский факультет Московского университета, и здесь же, когда он был студентом 2-го курса, началась его литературная поденщина.

Это была именно поденщина. Писать заставляла нужда, писать было нужно – для того, чтобы семья не голодала, потому что, разумеется, на пятьдесят рублей, жалованье отца, всю семью нельзя было прокормить. И Чехов писал – писал на заданные темы, писал по заказу, о дачных мужьях, о тещах, о мартовских котах – обо всем, что не запрещалось писать цензурой, обо всем, что требовалось для тогдашних юмористических журналов, рассчитанных на послеобеденное чтение обывателя.

Жили тогда Чеховы на Драчевке, в полуподвальном этаже. Работать А.П. приходилось в самой неподходящей обстановке. «Пишу в самых гнусных условиях, – говорит он в одном из писем, относящихся к этому времени. – Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести; в соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича; в другой комнате отец читает матери вслух «Запечатленного ангела». Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. Обстановка бесподобная».

«Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести...» Уже эта одна фраза показывает, что тяжелее всего для Чехова была не обстановка, в которой приходилось писать, а то, как и о чем прихо-

дилось писать, то, что приходилось продавать свой талант, потрафлять вкусу покупателя; покупателями же его в эту пору были исключительно пошлые бульварные юмористические журнальчики, вроде «Развлечения», «Будильника», «Стрекозы». Начал печататься Чехов именно в «Стрекозе» в 1880 г. (набросок «Письмо к ученому соседу») и затем в течение двух лет занимался этой «нелитературной работой» – писал, по собственному его признанию, «и повести, и рассказы, и водевили, и всякую ерунду, включая сюда «комаров и мух» для «Стрекозы». Большая часть этого печаталась за подписью «А. Чехонте». «Чехонте» – это была гимназическая кличка Чехова в старших классах, выдуманная законоучителем гимназии; кличку эту Чехов и взял себе в виде псевдонима.

В 1882 г. издатель журнала «Осколки» Н. А. Лейкин пригласил Чехова работать в этом журнале. «Осколки» тоже были юмористическим журналом, но все же этот журнал был ближе к настоящей литературе и задавался кой-какими идейными целями. «Глупостями мы будем захватывать читателей, а умными статьями – учить их: ведь с глупостями они и умное прочтут», – писал Чехову Лейкин. Да и сам Лейкин был настоящий писатель, не без вкуса и таланта, близко знакомый с Глебом Успенским, Решетниковым, Помяловским. Понятно, что приглашение работать в «Осколках» и завязавшаяся дружба с Лейкиным очень ободрили Чехова. Чехов перестает думать о том, чтобы только смешить читателей, иной раз из-под пера его выходят рассказы, в которых сквозь «Чехонте» чувствуется уже будущий Чехов. Но такие его попытки поощрения не встречали: Чехову приходилось оправдываться и извиняться, если он забывал о своей обязанности – шутить. «Вы замечаете, что мои «Верба» и «Вор» серьезны для «Осколков», – писал он Лейкину в 1883 г. – Но мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк в 100, не будет сильно резать глаз... Вещичка – легонькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу и подобающий протест...»

Серьезный Чехов был еще никому не нужен, но весельчака Чехонте юмористические журналы печатали охотно, его талант был замечен, его сотрудничества добивались – и все же жил он в большой нужде. Вдвоем с

отцом – Антону Павловичу приходилось содержать всю семью, а платили ему за рассказы гроши, да и те подчас приходилось чуть не вымаливать у издателей. Случалось, придет А. П. получить три рубля, а издатель ему предлагает вместо денег: «А может быть, билет в театр хотите? Или брюки новые? Так сходите к такому-то портному и возьмите у него брюки за мой счет...» Приходилось перехватывать в долг по пять, по десять рублей, нести в ломбард вещи. «Болезнь, которая мучит меня, как зубная боль – это безденежье» – жаловался приятелям Чехов.

Еще труднее было потому, что в то же самое время Чехову приходилось урывать время и для ученья, а учился он на одном из самых серьезных и трудных факультетов – медицинском. От очередного рассказа – к учебнику, из редакции – в анатомический театр; свободного времени, чтобы остаться одному, подумать, поглядеть на жизнь откуда-то сверху – времени для этого не было. Вероятно, главным образом этим надо объяснить, что студент Чехов совершенно как будто и не приметил общественного движения конца семидесятых – начала восьмидесятых годов; во всяком случае нигде – ни в письмах Чехова, ни в его произведениях, ни в воспоминаниях о нем – нигде нельзя найти указаний на то, что он услышал взрыв бомбы 1-го марта 1881 года.

Весна 1884 года была для Чехова особенно тяжела: пришлось, не прерывая литературной работы, сдавать выпускные экзамены в университете. Но вот, наконец, в мае этого года – экзамены кончены, в кармане – диплом на звание врача, и молодой врач отправляется вместе с семьей на отдых в уездный городок Воскресенск, недалеко от Москвы (один из братьев А. П. был в это время в Воскресенске учителем приходского училища). Веселая компания молодежи, оставшиеся позади экзамены, красивая местность – все это настраивало А. П. самым жизнерадостным образом, и к этой поре относятся лучшие из его юмористических рассказов. В это же время А. П. начал работать и как врач: в течение нескольких месяцев он заведовал земской больницей в городе Звенигороде – верстах в 20-ти от Воскресенска. А. П. приходилось принимать больных в больницах, ездить на вскрытия, выступать в качестве медицинского эксперта в

суде, приходилось непосредственно сталкиваться с жизнью уездного городка, уездных людей. Все это давало ему богатый бытовой материал, нашедший себе отражение в целом ряде его произведений. Между прочим, именно в Воскресенске А. П. имел случай ближе приглядеться к жизни тогдашнего офицерства. В Воскресенске в это время стояла батарея; с офицерами ее и особенно с командиром, полковником Маевским, А. П. был близко знаком. Впоследствии это послужило ему материалом для одной из лучших его пьес – «Три сестры».

В 1885–86 гг. Чехову удалось, наконец, вырваться из принижавшего его талант круга «Будильников» и «Развлечений» и выйти на широкую дорогу настоящей литературы. Мечтал он об этом уже давно. Еще в 1883 году он писал брату о своей работе в юмористических журналах: «Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя... Оным не умру. Это временно...»

В 1885 г. Чехов, благодаря содействию Лейкина, был приглашен в «Петербургскую Газету» и здесь напечатал несколько рассказов; в числе их были и вошедшие в настоящий том[1] «Налим», «Лошадиная фамилия», «Егерь». Рассказы эти, особенно «Егерь», обратили на себя внимание одной из тогдашних литературных знаменитостей Д. В. Григоровича. Весной 1886 г. Григорович написал Чехову письмо, где между прочим говорил: «У вас настоящий талант, талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения». Письмо это произвело на Чехова очень большое впечатление, сразу же подняло его в собственных глазах и заставило серьезней относиться к своему творчеству.

«Я едва не заплакал, разволновался... Я как в чаду, – писал Чехов в ответном письме Григоровичу. – Если у меня есть дар, то каюсь... я доселе не уважал его. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали советовать мне не менять настоящее дело на бумагомарание. За пять лет моего шата-

---

[1] Имеется в виду первый том Избранных сочинений А. П. Чехова, который открывался данным очерком Е. Замятина. – *Сост.*

ния по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость... Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Теперь я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз». «Выбраться оттуда, куда завяз» очень помогло Чехову то, что как раз в эту же пору он получил от А. С. Суворина, издателя «Нового Времени», приглашение работать в этой газете. Какова бы ни была политическая физиономия «Нового Времени», во всяком случае это была одна из крупнейших и популярных тогда газет, и в литературном отношении она стояла гораздо выше тех бульварных изданий, где раньше печатали Чехова. А главное, Суворин уже не требовал от А. П. смешных – во что бы то ни стало смешных – рассказов. С этого момента А. П. решительно сбрасывает с себя шутовскую маску «Антоши Чехонте» и печатает рассказы уже за своей подписью «А. Чехов»; рассказы его становятся все серьезней, и сквозь прежний смех в них все чаще слышится тоска о том, что люди живут убогой и пошлой жизнью, живут не так, как надо.

Работа в «Новом Времени» дала, наконец, Чехову возможность выкроить из своего бюджета несколько десятков рублей на поездку в Петербург. В Петербурге Чехов попал в самый центр тогдашней литературной жизни; познакомился с Михайловским, Глебом Успенским, Лесковым, Короленко, с поэтами Плещеевым и Полонским. «Старшие богатыри» русской литературы – приняли Чехова очень ласково. «Я чувствую себя на седьмом небе, – писал он брату. – Умных и порядочных людей столько, что хоть выбирай, каждый день знакомлюсь. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам». Все это должно было еще больше укрепить в Чехове веру в свой талант и заставить его серьезно работать над собой.

Около этого времени молодой талант был уже отмечен и в печати: появились рецензии о сборнике рассказов Чехова, изданном Лейкиным под заглавием «Пестрые рассказы». Первая из выпущенных Чеховым книжек («Сказки Мельпомены», 1884 г.), где собраны были его

юношеские, «лицейские», как он сам называл, рассказы – прошла незамеченной. О «Пестрых рассказах» уже появились отзывы в серьезных журналах – «Русская Мысль», «Вестник Европы», в газете «Русские Ведомости».

С этого времени известность Чехова росла очень быстро. В 1888 г. первая из больших вещей Чехова «Степь» была напечатана уже в одном из лучших журналов того времени – «Северном Вестнике», во главе которого стояли Михайловский, Глеб Успенский, Плещеев. В дальнейшем А. П. становится одним из ближайших сотрудников этого журнала, а еще позже повести и рассказы А. П. печатаются в «Русской Мысли», «Жизни», «Русских Ведомостях», сборнике «Знание».

После выхода двух следующих книг Чехова («В сумерках» и «Хмурые люди») – Академия Наук присудила ему (в 1888 г.) Пушкинскую премию. Этот успех был для Чехова совершенно неожиданным. «Премия, телеграммы, поздравления, приятели – все это выбило меня из колеи. Я ошалел, прошлое туманится в голове», – писал он брату. Пушкинская премия над этим прошлым – над Антошею Чехонте – окончательно поставила крест. Талант Чехова был официально признан; имя его сразу стало известно широким массам читателей.

Слава далеко не сразу вылечила застарелую болезнь Чехова – безденежье. По-прежнему приходилось вечно думать о завтрашнем дне, по-прежнему приходилось работать без отдыха. «Утомился... Жду гонорара. Весь сентябрь я сидел без денег, кое-какие вещишки заложил и бился как рыба об лед», – так писал Чехов Плещееву в 1888 году; такие же жалобы на нужду, в обычной для Чехова полушутливой форме, можно найти и во многих его позднейших письмах.

Работал теперь Чехов гораздо больше, гораздо напряженней, чем раньше: к этому обязывало его новое положение, новое отношение к себе и к своей работе. «Прежде я, бывало, писал, как птица поет, – говорил Чехов. – Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я, как молодой теленок, выпущенный на простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головою. Смеялся сам и смешил окружающих». Так писать больше уже было нельзя; творческая работа стала теперь для

Чехова одновременно и радостной – и мучительной, как это бывало со всеми большими писателями; появилась большая требовательность к себе, постоянная неудовлетворенность написанным. «Три недели выжимал из себя рассказ, пять раз начинал, столько же раз зачеркивал, плевал, рвал, метал, бранился...» «Пишу медленно, с длинными антрактами; пишу и переделываю, и часто, не кончив, бросаю». «Пишу и зачеркиваю, пишу и зачеркиваю...» – такие признания часто теперь встречаются в письмах Чехова.

Эта напряженная работа и постоянная нужда не прошли бесследно: здоровье было надломлено, появился кашель, кровохарканье – все зловещие признаки чахотки. Как врач Чехов не мог не понимать, что это значило. Но верить не хотелось; а еще вернее – А. П. делал вид, что не верит, для того, чтобы не обеспокоить семью и особенно мать. Не раз бывало так: опять появится кровохарканье, кому-нибудь из близких друзей Чехов напишет об этом – и неизменно прибавит: «матери не говорите», «мать не должна знать об этом».

Долго А. П. не хотел ни лечиться, ни менять образа жизни и все так же много работал. Область его творчества в это время еще больше расширилась: от повестей и рассказов он перешел к пьесам. В 1887 г. была написана первая из его пьес «Иванов», где был изображен все тот же, часто встречающийся в его рассказах, тип российского Гамлета – расхлябанного, не способного к борьбе, к действию, к жизни интеллигента. Пьеса была поставлена сперва в Москве, затем в Петербурге в Александринском театре. «Иванов» имел успех – и скоро А. П. взялся за новую пьесу. Это был «Леший» (1890 г.) – впоследствии переделанный автором и хорошо известный публике в постановке Московского Художественного театра под заглавием «Дядя Ваня». «Леший» успеха не имел и после первого же представления был снят с репертуара. Эта неудача надолго отбила у Чехова охоту к драматургии, и в течение следующих 6–7 лет он не написал ни одной пьесы, если не считать нескольких водевилей («Медведь», «Предложение» и др.).

Все больше, все глубже Чехов вглядывался в жизнь и задумывался над темными ее сторонами. Задумался над

тем, что «мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски» – и это было одной из главных причин, побудивших его в 1890-91 гг. предпринять поездку на Сахалин. Железной дороги в Сибири тогда еще не было; чтобы добраться до Сахалина, А. П. пришлось ехать около трех месяцев – в самых тяжелых условиях: грязь, пыль, холод, жара, езда без отдыха на перекладных. Результатом этой поездки явилась известная его книга «Остров Сахалин». Книга произвела впечатление не только на общество, но пробила и толстую кожу тогдашнего правительства: вскоре после появления книги на о. Сахалине были произведены реформы, несколько улучшившие быт ссыльно-каторжных.

Из поездки на Сахалин Чехов вернулся как будто поздоровевшим и окрепшим. Но шумная жизнь в Москве, с неизбежными спутниками славы – бесчисленным количеством посетителей, постоянно осаждавших А. П., скоро утомила его, и Чехов стал думать о том, чтобы поселиться где-нибудь вне Москвы. Были тут еще и другие причины: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни...» Так писал он в это время одному из своих друзей. Денежные дела А. П. были теперь уже значительно лучше, чем раньше, и это позволило ему (в 1892 г.) купить небольшую усадьбу Мелихово в Московской губернии. Сюда теперь и переселился Чехов и здесь прожил вплоть до 1898 года, лишь изредка выезжая отсюда в Москву, в Петербург или за границу.

В Мелихове Чехов нашел тот «кусочек общественной и политической жизни», какого ему хотелось: несмотря на свою болезнь, он отдавал много сил и времени врачебной практике – лечил крестьян; он строил на свой счет школы в окрестных деревнях; работал в Серпуховском земстве. Все это не помешало ему в течение шести лет, проведенных в Мелихове, написать лучшие свои вещи: «Палату № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Бабье царство», «Дом с мезонином», «Человек в футляре», «Черный монах», «Моя жизнь». Близкое знакомство с темной и неприглядной изнанкой деревенской жизни дало ему материал для «Убийства» и «Мужиков».

О мужике много писали и до Чехова, но так, как написал Чехов – до него никто не писал. Тургенев и Григорович подходили к мужику с сентиментальностью кающихся дворян; у народников мужик всегда выходил более или менее иконным. Своим «Убийством», «Мужиками» и позднейшею повестью «В овраге» – Чехов первый сказал вслух голую, неприкрытую правду о русской деревне, сказал с такой прямотой, с какой после него говорили только Горький и Бунин. И в первый раз сказанная – правда эта произвела особенно сильное впечатление. Вокруг этих рассказов Чехова создалась целая литература; народники обвиняли Чехова в клевете на русского мужика, марксисты выступили на защиту Чехова; рассказы эти, почти тотчас же по напечатании их в России, были переведены за границей.

В Мелихове, после долгого промежутка, Чехов снова вернулся к пьесам: в 1895 г. он написал «Чайку». Пьеса была принята к постановке в Александринском театре в Петербурге. От постановки ее Чехов ждал очень многого, и сам отправился в Петербург, чтобы присутствовать на первом представлении. Играли лучшие силы, в том числе Давыдов, Варламов, Комиссаржевская. Пьеса шла в бенефис известной тогда комической актрисы Левкеевой – и это случайное обстоятельство решило судьбу пьесы. На первое представление собралась особенная, «левкеевская» публика: обыватели, охотники посмеяться – та самая публика, для которой когда-то писал смешные рассказы Антоша Чехонте. И когда перед этой публикой, вместо Чехонте, явился Чехов – она его, конечно, не поняла. Пьеса провалилась. А. П. в середине представления ушел из театра, всю ночь пробродил по Петербургу и рано утром уехал в Москву. «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, – писал на другой день Чехов. – Проживу 700 лет, а не напишу больше ни одной пьесы». Несколько лет спустя «Чайка» вновь появилась на сцене – в исполнении артистов Московского Художественного театра. Здесь «Чайка» имела огромный успех – и только после этого Чехов забыл о своей клятве больше никогда не писать пьес.

Весною 1897 г. Чехов приехал из Мелихова в Москву. Он уговорился с сестрою, что через несколько дней она

тоже выедет из Мелихова и А. П. встретит ее на вокзале. Но на вокзале ее встретил не А. П., а знакомые, которые вручили ей билет на посещение клиники; на билете была надпись А. П.: «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Но дольше скрывать от близких свою болезнь А. П. уже не удалось: положение оказалось слишком серьезно. Во время дружеского обеда в одном из московских ресторанов у него пошла горлом кровь, и так сильно, что врачи опасались за его жизнь. Две недели ему пришлось пролежать в клинике. В числе многих других А. П. навестил в клинике и Лев Толстой. Больному было запрещено разговаривать, но он не выдержал и часа два говорил с Толстым. Опять пошла кровь. Крепкий, унаследованный от отцов и дедов организм все-таки выдержал – и Чехов оправился.

С этой весны начинается невольное изгнание Чехова: весь остаток жизни ему суждено было провести вдали от Москвы и от настоящей, коренной России, которая была так близка его сердцу. Следующий год он, по настояниям врачей, должен был прожить за границей – главным образом в Ницце. А по возвращении в Россию ему пришлось почти безвыездно жить в Крыму – в Ялте.

В это время А. П. продал одному из крупнейших тогда издательств – Маркса – право на издание своих сочинений; это дало ему возможность купить в окрестностях Ялты небольшой участок земли и выстроить дом. Некоторое время постройка дома, южное море, южное солнце занимали Чехова, но потом его все больше стало тянуть в Москву. В Москве шла кипучая, шумная жизнь, которую он так любил; в Москве – в Художественном театре – с небывалым успехом шли его пьесы. А болезнь заставляла его жить вдали от всего этого, жить по рецептам врачей и вечно помнить о том, что он уже не врач, а пациент.

Болезнь он переносил необычайно терпеливо и мужественно. Его близкие никогда не слышали от него жалоб. Случалось, целый день он сидел в кресле с закрытыми глазами. «Тебе нездоровится, Антоша?» – спросят его. – «Мне? Нет, ничего. Голова болит немного...» И долго еще никто не подозревал, насколько уже близок был его конец.

Всегда А. П. чуток был к чужой боли, к чужому горю. А теперь его собственные страдания – как-то еще удвоили эту чуткость. В Ялте он особенно много помогал неимущим больным – учителям, писателям, студентам, которые в надежде на целительное влияние южного солнца стремились сюда отовсюду. Вся читающая Россия знала Чехова, знала, что Чехов – в Ялте, и знала – или, быть может, чувствовала – его сердце. Знакомые и незнакомые засыпали его просьбами, иной раз самыми пустяковыми: сообщить о ценах на жизнь в Ялте, подыскать квартиру – и не было случая, что он кому-нибудь отказал.

Тихий ялтинский дом Чехова временами оживал: около А. П. собирались писатели, артисты, около него снова была любимая его Москва. На Пасхе 1900 г. в Ялту, по просьбе А. П., приехал Московский Художественный театр, и тут, наконец, А. П. увидел свою «Чайку» и «Дядю Ваню» в исполнении москвичей. В Ялте подолгу гостили молодые тогда еще писатели: Бунин, Горький, Куприн, Телешов, Найденов. В 1901 г. около Ялты жил Толстой – Чехов часто навещал его. Все это на время помогало А. П. забыть о своем изгнании, а затем – опять тоска по северу, по Москве. И так ясно слышится голос самого Чехова, в этом постоянном припеве в «Трех сестрах» – «В Москву! В Москву!» Пьеса «Три сестры» была написана осенью 1900 г., а весною 1901 г. уже шла в Художественном театре. Московской публикой «Три сестры» были приняты восторженно; это был настоящий триумф Чехова.

Небывалый успех поставленных Художественным театром пьес Чехова, несомненно, был одним из поводов, заставивших Академию Наук избрать А. П. почетным членом Академии (январь 1900 г.). Известие об избрании застало Чехова как раз во время одного из обострений болезни – «и вся прелесть пропала, так как мне было все равно», – писал А. П. брату. Года через два после этого выбран был в почетные академики Горький, но затем, вследствие привлечения Горького к суду по политическому делу, выборы были объявлены недействительными. Тогда Короленко и Чехов заявили президенту Академии (вел. князю Константину Константиновичу), что они слагают с себя звание почетных академиков. Таким образом

академиком Чехов пробыл всего только два с половиной года.

Летом 1899 г. Чехов писал из Ялты артистке Московского Художественного театра Ольге Леонардовне Книппер: «Да, вы правы: писатель Чехов не забыл актрисы Книппер». С этого времени письма А. П. к Книппер становятся все чаще, и сквозь обычную его улыбку и шутку все яснее просвечивает большое чувство. В мае 1901 г. А. П. женился на О. Л. Книппер и вместе с нею уехал на кумыс, в Уфимскую губернию.

Осенью А. П. опять пришлось вернуться в Ялту, а О. Л. Книппер уехала в Москву, где уже начинались обычные работы Художественного театра. «Жена моя, к которой я привык и привязался, остается в Москве... – писал в это время Чехов (В. С. Миролюбову). – Она плачет, а я не велю ей бросать театр. Одним словом, катавасия...» И снова для Чехова – одинокая, тоскливая зима в Ялте, снова то, о чем ему случалось говорить: «Я чувствую, как здесь я не живу, а засыпаю или все ухожу, ухожу куда-то, без остановки, бесповоротно, как воздушный шар...»

Болезнь делала свое дело, Чехов все дальше «уходил куда-то, без остановки, бесповоротно». Прежних сил уже не было; писал А. П. в это время уже мало. Но то, что писал – носило на себе печать зрелого и все богаче расцветавшего таланта. Осенью 1903 г. Чехов написал последнюю и, может быть, лучшую из своих пьес – «Вишневый сад». Два зимних месяца А. П. провел в Москве и принимал живое участие в работах по постановке «Вишневого сада». Работа захватила А. П. целиком, он писал друзьям, что здоров и чувствует себя хорошо, но в действительности – это была последняя вспышка энергии.

17 января 1904 г., в день именин А. П., состоялось первое представление «Вишневого сада». Представление это обратилось в торжественное чествование А. П.: публика устроила ему овацию; ему подносили цветы; выступали с приветственными речами представители литературы и театра. А виновник торжества, бледный и измученный, еле стоял на ногах, и из публики ему кричали: «Сядьте! Пусть Антон Павлович сядет!» Пододвинули кресло; он сел. И дальше во всем этом празднике чувствовалась печаль последнего целования.

Летом 1904 года здоровье А. П. настолько ухудшилось, что врачи заставили его отправиться за границу. В сопровождении О. Л. Книппер он уехал в германский курорт Баден-Вейлер. Здесь на короткое время ему стало лучше. В Россию, родным и друзьям, он писал, что «здоровье входит не золотниками, а пудами»; по обыкновению своему успокаивал мать: «Здоровье поправляется и, надо думать, через неделю я буду уже совсем здоров». Но многое говорит, что сам-то он, вероятно, уже чувствовал близость смерти и только скрывал это от окружающих.

2-го июля 1904 г. Чехов умер.

Тело его было доставлено из Германии на родину. Хоронили его в Москве. В молчании, без речей, гроб опустили в могилу – и живые вернулись к жизни, а Чехов остался один...

* * *

«Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким». Это – коротенькая, неизвестно к кому относящаяся, заметка из записной книжки Чехова, опубликованной после его смерти. И можно думать, что он написал это о себе: именно с ним было так, всю жизнь он прожил один. Приятелей у него было много, но друзей – таких, которым бы он настежь открыл двери в свою душу – таких друзей у него не было. Было в нем какое-то особое целомудрие, заставлявшее его тщательно прятать все, что глубоко, по-настоящему волновало его. Оттого так трудно установить линию внутреннего его развития, биографию его духа. И лишь путем «косвенных улик», учитывая некоторые малозаметные события внешней его биографии, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят действующие лица его произведений – можно увидеть, в чем была его вера и каковы были его общественные взгляды.

Бога церковного, как это видно из биографии, Чехов потерял еще в юности. И без всякого Бога, без всякой веры, он жил долго. Первый период его литературной работы, вплоть до середины 80-х годов, прошел в том, что он «скакал, как молодой теленок, выпущенный на

простор, смеялся сам, смешил других». И только во второй половине 80-х годов происходит в нем резкий переворот, только тут он впервые серьезно задумывается над жизнью, над смыслом жизни, над смертью. Впервые в том, что он пишет, появляется острый привкус горечи, тоски, неудовлетворенности. Уже в «Счастье» и в «Степи» залитая солнцем ширь омрачается по временам, как тенью от крыльев летящей птицы – мыслью о смерти, и тогда «сущность жизни представляется отчаянной, ужасной». В «Скучной истории» эта легкая, мелькающая тень вырастает уже в темную, безнадежную, давящую тучу.

И не только эту смерть увидел теперь Чехов: увидел он и другую, быть может, еще более мучительную, медленную смерть – увидел тысячи заживо погребенных в болоте пошлой и мелкой обыденной жизни. С искусством опытного врача, по тончайшим, почти неуловимым признакам открывающего в пациенте смертельную болезнь – отыскивает Чехов пошлость там, где на первый взгляд жизнь идет как будто мирно и благополучно («Учитель словесности», «Попрыгунья», «Моя жизнь», «Ионыч»; позже – «Невеста»). В «Черном монахе» – он определенно решает: смерть лучше обыденной тусклой жизни.

В эту же пору, в 90-х годах, он явно выходит из своего прежнего равнодушия к вопросам общественности. Чехонте, не задумываясь, начал работу в реакционном «Новом Времени»; Чехов уже говорит о нововременских публицистах, Буренине и Жителе: «они мне просто гадки; по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и К°»; «после чтения Жителя-Буренина и прочих судей человечества у меня остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчен»; Чехов оставляет, наконец, работу в «Новом Времени». По мотивам главным образом общественного характера Чехов предпринимает поездку на Сахалин; в поисках хотя бы «кусочка общественной деятельности» Чехов переселяется в деревню, в Мелихово. Еще позже, в 1898 г., в письмах к Суворину он определенно и резко высказывается об отношении «Нового Времени» к поднятой в ту пору во Франции антисемитской травле (в связи с известным делом Дрейфуса). И наконец, в 1902 году, после отмены выборов Горького в академики, Чехов, вместе с Короленко, слагает с

себя звание академика. Этим актом Чехов определенно записывает себя в ряды «неблагонадежных»; становится уже вполне ясным, с кем он бы шел, если бы дожил до 1905 года.

В то же самое время в своих повестях и рассказах Чехов все чаще затрагивает темы социального порядка. Это начинается с «Припадка», где он с небывалой остротой и резкостью ставит вопрос о проституции; в «Убийстве», «Мужиках», «В овраге» – он по-новому подходит к вопросу о мужике; одно время увлекается толстовскими идеями («Моя жизнь»). Все чаще он начинает задумываться вообще о несправедливости такого социального порядка, когда одни живут в нищете и невежестве, а другие – в богатстве. «Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых; кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улице – тишина, спокойствие; из живущих в городе – ни одного, который бы выкрикнул, громко возмутился... Протестует только одна немая статистика: столько-то с ума сошло; столько-то ведер выпито; столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча»... Это из рассказа Чехова «Крыжовник». Герой другого рассказа «Дом с мезонином» намечает даже и путь к лечению социальных болезней: «Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно... Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни – и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти».

Так Чехов писал в 1895 году. Как непохоже это на безнадежность в «Степи», когда «сущность жизни» представлялась ему «отчаянной и ужасной». Сложным путем, глубоко заглянув в темный колодец человеческой души, полный грязи – там, где-то на самом дне, Чехов нашел, наконец, свою веру. И эта вера оказалась верой в человека, в силу человеческого прогресса; и богом – оказался человек. Такие как будто разные и такими разными путями – Чехов и Горький пришли к одинаковой вере. «Человек – вот правда. В этом – все начала и концы. Все в человеке, все для человека.» «Истинный Шекинах (святая святых) – есть человек», – писал Горький. «Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным...» «Мы – высшие существа, и если бы в самом деле познали всю силу человеческого гения – мы стали бы, как боги». «Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте», – писал Чехов. И чем ближе к концу жизни, тем крепче становится его вера в «великое, блестящее будущее» человека, в «царство вечной правды» («Черный монах»). «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, веселым, свободным», – писал он уже совсем незадолго до смерти, в 1903 году (рассказ «Невеста»).

Как и раньше, на всем, что он написал в последние годы, лежит тихий и печальный свет сумерек. Но эти сумерки – уже не прежние: это не вечерние сумерки, следом за которыми – ночь; это сумерки – предрассветные, и сквозь них – издали все ярче заря.

Было бы грубой ошибкой сделать из сказанного вывод, что Чехов был писатель тенденциозный, что он ставил себе какие-нибудь посторонние искусству политические задачи. От тенденции, от проповеди – он был дальше, чем кто-нибудь из русских писателей. «Тенденциозность имеет в своем основании неуменье людей возвышаться над частностями...» «Художник должен быть только беспристрастным свидетелем...» «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец... Я хотел бы быть свободным художником». Такие мысли можно найти во многих его

письмах. В жизни Чехов был врач, но в его повестях, рассказах и пьесах – нет ни одного политического рецепта; с полным правом он мог применить к себе слова Герцена: «Мы не врачи, мы – боль».

Тенденция для художника – это цветные очки; для писателя тенденциозного – все в жизни непременно окрашивается в цвет стекол очков: действительных, реальных красок жизни он никогда не увидит и не узнает. Чехов смотрел на жизнь без этих очков – и это помогло ему стать подлинным писателем-реалистом. «Беспристрастным свидетелем» прошел он через конец 19-го и начало 20-го века, и для изучения русской жизни в эту эпоху все написанное Чеховым – такой же документ, как летопись Нестора – для изучения начала Руси.

В рассказах Чехова – все имеет меру и вес, все можно видеть и осязать, все – на земле. Ничего фантастического, ничего таинственного, ничего потустороннего – нет у него ни в одном рассказе. Если и появляется огненноглазый, пугающий мыслью о дьяволе пудель – то он, конечно, оказывается просто заблудившейся собакой приятеля (рассказ «Страх»); если и появляется призрак Черного Монаха, то беседующий с призраком Коврин все время знает, что это – только призрак, галлюцинация, болезнь. Для душевных движений, казалось бы, самых неуловимых, самых тонких – Чехов находит реалистический, с весом и мерой, образ: слушать пение красивой женщины – это похоже на вкус холодной, спелой дыни («Моя жизнь»); оскорбленное авторское самолюбие – это «ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно» («Тяжелые люди»); вечная насмешка, ирония петербуржца – «точно щит у дикаря» («Рассказ неизвестного человека»); человека ожесточило презрение – он «заржавел» (там же).

И еще об одном говорят эти несколько наудачу взятых примеров: образы Чехова – оригинальны, смелы. «Волостной старшина и волостной писарь до такой степени пропитались неправдой, что самая кожа на лице у них была мошенническая» («В овраге»). «Лицо Пимфова раскисает еще больше, вот-вот растает от жары и потечет вниз за жилетку» («Мыслитель»). До Чехова – сказать так не рискнули бы. Тут Чехов выступает в роли новатора:

он впервые начинает пользоваться приемами импрессионизма – течения, возникшего примерно в ту же эпоху во французской живописи.

Новостью была и необычайная, доведенная до крайних пределов сжатость и краткость рассказов Чехова. Он первый узаконил в русской литературе ту форму художественной прозы, которая на Западе давно уже существовала под именем новелл. Величайшим мастером новелл во Франции был современник Чехова – Мопассан, и, несомненно, он влиял на Чехова. Недаром Чехов так любил и так высоко ставил искусство Мопассана; недаром мечтал он о том, чтобы взять и перевести Мопассана «как следует».

Определенное и сознательное стремление создать новые литературные формы было у Чехова и в его пьесах, особенно последних – «Три сестры» и «Вишневый сад». Он намеренно отступал от общепринятых правил драматургии. По окончании «Чайки» он писал: «Пьесу я уже кончил. Начал ее forte, кончил pianissimo – вопреки всем правилам...» «Пишу пьесу... Страшно вру против условий сцены... Мало действия, пять пудов любви», – говорится в другом письме. Своими пьесами он дал образцы так называемой психологической драмы, т. е. такой драмы, где обычные, внешние, сценические эффекты отсутствуют, где вся драма происходит под поверхностью жизни – в душе человека.

Как новатор и большой художник Чехов оказал несомненное влияние на целый ряд позднейших русских писателей. У Чехова учились Иван Бунин, Шмелев, Тренев и другие писатели младшего поколения. Все это одна группа, одно созвездие реалистов.

По созвездиям моряки находят путь; по литературным, объединяющим более или менее близких писателей, группам приходится искать пути в широком море русской литературы. Но чтобы найти созвездие, нужно сначала опереться глазом на какую-нибудь особенно яркую и крупную звезду. В созвездии реалистов такая опора для разума и глаза – Чехов.

1921

РИЧАРД БРИНСЛИ ШЕРИДАН

1751–1816

В России – конец царствования Екатерины II, пугачевщина, пятилетие Павла, благословенный войнами Александр I. Во Франции – Людовик XVI, революция, гильотина, Наполеон Бонапарт. В лихорадке войн и восстаний – весь европейский материк. Одна только Англия – сравнительно спокойный остров среди бурного европейского моря: выстрелы здесь не слышны. Англия воюет издали, из своего уютного кабинета. Питт Младший командует интервенциями в европейские дела. И непримиримым противником Питта выступает в парламенте язвительный, остроумный, изящный, похожий по темпераменту скорее на француза – Ричард Шеридан.

Жизнь Шеридана – это один из самых увлекательных авантюрных романов 18-го века. Вероятно, роман этот не был бы так богат приключениями и самыми неожиданными поворотами фабулы, если бы герой его был чистокровным британцем. Но Шеридан родился в Дублине, в нем много ирландской крови, а эта кровь – больше похожа на вино, чем на медленную благоразумную жидкость, которая течет в жилах у англичан.

Шеридан в школе – конечно, лентяй, проказник, любимец товарищей и коновод. Подолгу сидеть серьезно над книгами он был не способен. Среднюю школу он кое-как закончил, но в университет уже не попал: автор романа своей жизни – он от короткого пролога уже торопился перейти к первой главе. Впрочем, отчасти так вышло и по причинам, от него не зависящим. Шеридан-отец, ак-

тер и учитель декламации, был недостаточно богат, чтобы содержать в университете двух своих сыновей.

Первая глава романа шеридановской биографии развертывается в блестящем модном курорте Бате отец Ричарда поселился здесь вместе с семьей – конечно потому, что здесь у него была работа, а не ради курортного безделья. Бездельником был только Ричард: старший его брат, благоразумный Чарльз, помогал отцу, младший – сочинял стихи. Стихи, парк, весна, двадцать лет, ирландское вино в жилах, чудесная музыка... Музыки особенно много: ближайшие друзья Шериданов – семья Линли; сам Линли – известный в то время композитор и музыкант, а его дочь Элиза – певица. И конечно, здесь завязка романа: Ричард влюбился в Элизу. Необходимые интриги препятствия – налицо: у Элизы – не только прекрасный голос, это – несомненная красавица, у нее – десятки поклонников и ей – почти еще девочке – гораздо больше льстит ухаживание взрослых, чем двадцатилетнего Ричарда. Вдобавок ко всему, отец Элизы среди ее поклонников уже выбрал для нее жениха: это был очень богатый шестидесятилетний старик, владелец чуть ли не половины всех английских молочных ферм.

Уже всем было известно о предстоящем браке мисс Линли, уже казалось – счастье Ричарда Шеридана погибло, но ему на помощь пришло литературное провидение: один из поклонников мисс Линли написал комедию «Девушка из Бата», где шестидесятилетний жених и вся история его сватовства были изображены в самом смешном виде. Комедия в театре имела успех скандала, сатирой шестидесятилетний влюбленный был убит вернее, чем пулей – и больше уже не показывался в доме Линли. Мисс Линли – была свободна.

Но в романе для героя уже подготовлено новое – и гораздо более серьезное препятствие – в лице некоего капитана Мэтьюса. Это был уже немолодой, женатый человек, опытный ловелас. Он пустил в ход все свое искусство, чтобы влюбить в себя Элизу Линли – и в конце концов это ему удалось. Элиза знала, что у него есть жена и дети, что брак – исключен, она пыталась его забыть, доказывала ему, что им лучше расстаться, но ничего не помогало. По адресу Элизы начинаются пере-

суды и сплетни, это доходит наконец до м-ра Линли. Затем следует классическая сцена объяснения с разгневанным отцом. Элиза вынуждена дать слово, что она никогда больше не будет встречаться с Мэтьюсом, и уехать из Бата в один из уэльсских курортов. В романе наступает пауза, которая заканчивается новой неожиданной встречей с Мэтьюсом, приехавшим в Уэльс. Мэтьюс разыгрывает отчаявшегося влюбленного, угрожает тут же, при Элизе, застрелиться, если она не даст ему слова прийти на свидание, угрожает увезти ее с собой силой, если она не придет.

В душе у героини – коллизия: с одной стороны – слово, данное отцу, с другой стороны – обещание, данное Мэтьюсу. Все это осложняется страхом, что Мэтьюс из-за нее и в самом деле покончит с собой. Развязка мелодраматическая: Элиза выпивает яд.

Как и следовало ожидать, это только концовка одной из глав романа. В решительный момент на сцене появляется Ричард Шеридан, не терявший времени даром и где-то за кулисами подготовивший совершенно неожиданный поворот действия.

Шеридан очень ловко притворился приятелем Мэтьюса. Мэтьюс хвастался ему своими успехами у Элизы и разные детали их романа даже описывал в длинных посланиях. В последнем письме он, между прочим, признавался, что не прочь был уже и кончить всю эту, слишком затянувшуюся историю, но из тщеславия хочет добиться сначала своей цели, хотя бы даже силой, а там – пусть барышня кается на свободе в своих прегрешениях. С этим письмом в кармане Шеридан попал к Элизе как раз вовремя, чтобы успеть пригласить врачей, давших ей противоядие. А когда она пришла в себя, дал ей противоядие еще более сильное: письма Мэтьюса. Эти письма окончательно излечили Элизу. Но нужно было что-то предпринять, чтобы избавиться от Мэтьюса, который угрожал Элизе публичным скандалом. Шеридан убедил ее, что сейчас единственный для нее выход – это на время уехать на континент, во Францию, где он может устроить ее у друзей своей сестры.

Мать Элизы была больна, отец был в отъезде, обстоятельства складывались благоприятно – и романтическое

похищение красавицы вполне удалось Шеридану. Что происходило во время путешествия молодой пары – читателю остается неизвестным, но по заключению этой главы романа можно судить, что Шеридан использовал все присущее ему очарование и сумел найти ключ к сердцу мисс Линли. Это закончилось тайной, без свидетелей, свадьбой в глухой деревушке недалеко от Кале.

И все же до конца романа было еще далеко. Начинается по канону погоня за беглецами, м-р Линли настигает их уже во Франции, в Лилле. Элиза, больная, лежит в доме одного почтенного английского доктора, Шеридан живет отдельно: все обстоит как будто не так плохо, как казалось. Линли увозит дочь обратно в Бат, туда же едет и Шеридан. На некоторое время роман принимает эпистолярную форму: вынужденные скрывать от всех свой брак (оба все еще живут пока на средства родителей), влюбленные только изредка видятся тайком и изливают свои чувства в оживленной переписке. Как развернутся дальше события, предугадать нельзя

Литературное провидение еще раз вмешивается в жизнь Шеридана – на этот раз в виде литературы очень невысокого качества: в местной батской газетке появляется письмо капитана Мэтьюса, полное самых оскорбительных выпадов по адресу Шеридана. Ирландская кровь вскипела, Шеридан вызвал Мэтьюса на дуэль – и она состоялась в Лондоне, в Гайд-парке. Шеридан так стремительно напал на противника, что вышиб у него шпагу из рук. Мэтьюс принужден был просить пощады и обещал опубликовать извинительное письмо. Обещание это не было выполнено, в результате – новая дуэль, Шеридана увозят с места дуэли с несколькими тяжелыми ранами. Элиза, узнавшая об этом, не выдерживает роли, она кричит, что Шеридан – ее муж, что она должна быть с ним, что она не может жить без него. Но счастливая развязка всех любовных перипетий наступает только через несколько месяцев: происходит церемония торжественного венчания, и накрепко, дважды повенчанный, Шеридан отправляется с молодой женой на лето в деревню.

На этом кончается первая часть романа Шеридановой биографии; в следующей, второй части, действие из пла-

на эмоций переходит в план интеллекта, но и здесь Шеридан остается тем же ирландцем – темпераментным, увлекающимся, блестящим, беспечным.

При всей беспечности ему приходится, однако, уже подумать и о какой-то работе. Его отец, вскоре после свадьбы Шеридана, писал старшему сыну – благоразумному Чарльзу: «Я считаю, что теперь у меня только один сын – ты»; от Ричарда старик Шеридан окончательно отказался. Молодая пара проживала приданое Элизы, проживала его не считая, надолго этих денег, конечно, не могло хватить. Шеридану предстояло будущее как будто не очень веселое.

И вдруг становится известным, что он написал пьесу и что пьеса эта скоро пойдет в одном из лучших театров Лондона – в Ковент-Гардене. Эта переходная формула «вдруг» – вообще совершенно законна в биографии Шеридана, она вполне соответствует его характеру и темпераменту; «вдруг» – было и в данном случае. Правда, в Бате Шеридан писал стихи, но стихи были очень посредственные, тогда же с одним из своих приятелей он пробовал взяться за пьесу, но из этого ничего не вышло, и если сам он мечтал о какой-нибудь карьере, то о карьере дипломата (письма к Грэнвилю – незадолго до женитьбы). Как бы то ни было, пьеса, о которой идет речь, – комедия «Соперники», в январе 1775 года была сыграна в Ковент-Гарденском театре и имела огромный успех. Так случилось, что Ричард Шеридан, до сих пор известный только как легкомысленный юноша, вдруг стал первоклассным драматургом своей эпохи. К нему сразу же пришли деньги и слава: в его лондонском доме – самые интересные люди того времени, это был непрерывный праздник. Было удивительно одно: когда хозяин успевал писать? А меж тем в этом же году, вскоре после «Соперников», им был закончен фарс «Хитрый лейтенант» и опера «Дуэнья» (последняя в сотрудничестве с Линли – отцом Элизы). Обе эти вещи сравнительно слабее «Соперников», и тем не менее инерция славы такова, что обе прошли в театре очень хорошо, особенно опера.

Еще через год – новое «вдруг» в биографии Шеридана: он становится директором театра Друри-Лейн в Лондоне. Владельцем этого театра до сих пор был известный

актер Гаррик; ему было уже под шестьдесят, он собирался совсем уйти от театральных дел – и вот среди всех многочисленных претендентов Гаррик выбрал не кого иного, как двадцатипятилетнего юношу Шеридана – таково было личное очарование этого ирландца.

Первое время под управлением Шеридана дела в театре шли неважно: любимец публики, Гаррик – со сцены ушел, и, чтобы победить конкурента – Ковент-Гарден, – нужна была хорошая пьеса. Это заставило Шеридана опять сесть за работу, и в начале 1777 года им была сдана в театр новая комедия – лучшее из всего, что им было написано, – «Школа злословия». Успех ее был таков, что весь год в театре шла только эта комедия, «успех ее убил самую возможность постановки других пьес», – заявил Шеридану один из членов театрального комитета.

После «Школы злословия» театр был окончательно завоеван Шериданом, и, казалось бы, этим окончательно определился его путь – путь драматурга, как будто уже нечего и незачем было больше искать. Но то, что уже достигнуто, побеждено, – перестает занимать Шеридана: он написал еще одну, последнюю комедию («Критик») – и в самом расцвете своей литературной славы вдруг ушел из литературы. С 1780 года драматурга Шеридана больше уже нет, есть политический деятель Шеридан, член парламента от партии вигов. Так прихотливая кривая биографии Шеридана сделала еще один, совершенно неожиданный поворот.

Поворот этот и, во всяком случае, его направление объясняются, впрочем, не одними только особенностями характера и темперамента Шеридана. Во Франции уже последние годы доживал феодальный строй. Европа входила в полосу социальных кризисов и великих войн, напоминающую наше время. В такие эпохи политика звучит громче других инструментов социального оркестра, все остальное – в том числе и искусство, отходит на второй план, на втором плане – Шеридану было тесно.

Имя Шеридана как политического деятеля близко связано с тремя знаменитыми в истории Англии именами: Питта Младшего, Фокса и Бэрка. Фокс и Бэрк были друзьями и единомышленниками Шеридана. Питт был главою враждебной партии – консерваторов, тори. И как

некогда во время дуэли с Мэтьюсом, Шеридану не раз удавалось и теперь выбить шпагу из рук Питта во время их ораторских поединков. «Как бы играя со своим вспыльчивым или раздражительным противником, Шеридан возражал ему остроумными репликами или нападал на него в классической по своему изяществу сатире и вел эту горячую атаку, ни на минуту не теряя присутствия духа, легкости речи и юмора. Улыбкой он наносил тяжелые раны; он вызывал в слушателях неудержимый хохот, когда объект его насмешек корчился под ударами его бича. Питт и Дэндас чаще всего служили мишенью для нападок Шеридана, и они по опыту знали, что никакие их возражения не смутят Шеридана, не заставят его замолчать...» Так в своих воспоминаниях писал о Шеридане один из его политических противников: свидетельство – самое достоверное.

Три раза партия вигов приходила к власти за время парламентской деятельности Шеридана – и всякий раз Шеридан занимал в кабинете более или менее ответственный пост. Но в рамки систематической, сухой, чиновничьей работы этого пылкого и беспутного ирландца уложить было трудно, и, вероятно, правы были его противники, когда однажды на дверях его министерства они вывесили издевательское объявление: «По воскресеньям приема нет. В остальные дни недели – работа также не производится». Слава ждала Шеридана, конечно, не в министерских кабинетах, а на ораторской трибуне: здесь Шеридан – политический оратор затмил блеск Шеридана-драматурга.

Восстание в Ирландии, запрос о жестокостях английских властей в Индии, борьба с победившей в другой стране революцией... Быть может, речь идет о заседании английского парламента в 1920, в 1930 гг.? Нет, эти вопросы обсуждались Палатой Общин и полтораста лет назад, и от левых – от вигов – выступал Шеридан. Чопорные парламентские залы едва ли слышали когда-нибудь такую бурю оваций, какою закончилась речь Шеридана против генерал-губернатора Индии Уоррена Гастингса. Даже Питт вынужден был заявить: «Эта речь превосходит все речи настоящего и прошлого и обладает всем, что могут дать гений и искусство, чтобы взволновать че-

ловеческую душу и владеть ею». Своей речью Шеридан победил парламент! Было решено что жестокости Гастингса не могут остаться безнаказанными – и вчерашний владыка Индии был предан суду. Заседания суда были открыты через несколько месяцев в Вестминстерском дворце; Шеридану была поручена одна из основных обвинительных речей. Толпа желающих попасть, услышать его осаждала дворец, знатные дамы с утра стояли у входа, чтобы попасть внутрь, за билеты на заседание суда перекупщики платили по пятьдесят гиней. Шеридан говорил четыре дня.

Это был последний триумф Шеридана, дальше звезда его начинает постепенно тускнеть. В его характере было слишком много какой-то детской беспечности, любви к внешнему блеску, веселью, вину. По-видимому, сдерживающим, организующим элементом в его жизни была жена; женитьба на Элизе Линли совпала с началом его творческой работы, смерть ее в 1792 г. была началом конца Шеридана. «После ее смерти он как будто обезумел, подписывал совершенно безрассудные контракты в Друри-Лейн, держал сумасшедшие пари в клубах, нанимал дома, в которых не мог жить, покупал массу лошадей, которые без дела стояли в конюшнях», – сообщает один из биографов Шеридана. Года через три, на балу, Шеридан услышал, как молодая девушка, мисс Огл, сказала о нем: «Фу! Какое у него ужасное лицо!» Шеридану было тогда только 43 года, но он жил как шекспировский Фальстаф – и это было уже написано на его лице. Замечания мисс Огл было достаточно, чтобы Шеридан решил доказать ей, что он – еще Шеридан: в этом же году мисс Огл, по возрасту годившаяся ему в дочери, стала его женой.

Еще раз былой блеск Шеридана освещал серые заседания Палаты Общин. Все выступления его были очень левыми, он протестовал против упразднения независимого ирландского парламента, он защищал самостоятельность Польши, он долго и упорно боролся против Питта, добивавшегося войны с революционной Францией. Но с Питтом теперь уже был один из прежних соратников Шеридана – Бэрк, за Питтом пошла значительная часть вигов – пэров и крупных землевладельцев.

Шеридана – защитника Французской революции –встретили иначе, чем Шеридана – обвинителя Гастингса. Друзей и поклонников у Шеридана становилось все меньше.

Однажды во время заседания парламента зала вдруг осветилась багровым светом, это горел недавно отстроенный заново театр Шеридана Друри-Лейн. Было предложено прервать заседание, но Шеридан первый высказался против. «Каковы бы ни были размеры моего несчастья, это – частное дело, которое не должно мешать делам государственным», – заявил он.

После этого пожара у Шеридана остались одни только долги, и он быстро шел к полному разорению. Уместно ли выбирать в парламент разорившегося человека? Избиратели Шеридана ответили на этот вопрос отрицательно, при ближайших же перевыборах забаллотировав своего недавнего любимца. Шеридан и Наполеон были разбиты в одном и том же году: в 1812. Островом Св. Елены для Шеридана была долговая тюрьма, куда его посадили беспощадные кредиторы.

После выхода из тюрьмы Шеридан кончал свои дни в полной заброшенности, в нужде, забытый почти всеми. О нем не забывали только его Шейлоки: когда он уже был при смерти, в дом к нему явились полицейские, чтобы опять отправить его в долговую тюрьму. И только заверения врача, что они принесут туда только мертвое тело, дали Шеридану возможность умереть не за решеткой.

Биография его была бы невыдержанной, если бы в ней не оказалось последнего «вдруг», последнего контраста: за умирающим Шериданом пришли полицейские – за мертвым Шериданом шли два королевских брата, герцоги, пэры, члены парламента, умирающего Шеридана хотели отвезти в тюрьму, мертвого Шеридана везли в Вестминстерское аббатство – в английский пантеон. День его пышных похорон напомнил тот день, когда он был на вершине славы и весь Лондон стремился услышать его речь в Вестминстерском дворце.

«Что ни делал Шеридан, у него всегда это выходило лучшим в своем роде. Он написал лучшую комедию («Школу злословия»), лучшую драму («Дуэнья»), лучший фарс («Критик»), лучшее надгробное слово (памяти Гаррика) –

и все это увенчано еще одним: он произнес лучшую речь из всех, какие слышала Англия (речь по делу Гастингса)».

Это – выдержка из дневника Байрона. Байрон записал это как современник. Но жестокое испытание временем, веками среди всего это «самого лучшего» сделало отбор: давно уже забыта слава Шеридана-политика, а Шеридан-драматург жив еще и до наших дней. Во всяком случае, это можно сказать о двух его лучших вещах – «Соперниках» и «Школе злословия», вошедших в репертуар английской классики.

В реальной жизни Шеридана было столько театрально-эффектного, что материал его биографии неминуемо должен был оставить след на его пьесах. Это можно найти и в «Соперниках», и в «Школе злословия». Показанная в «Соперниках» авантюрная история любви Фолкленда и Лидии, попытка их бегства, дуэль Фолкленда с одним из поклонников Лидии – все это построено конечно на знакомых уже нам приключениях самого Шеридана. Труднее отыскать биографические следы в «Школе злословия», но, по-видимому, есть они и там. У Шеридана был старший брат Чарльз, никакими талантами, кроме показных добродетелей, не отличавшийся. Но отец всегда ставил его в пример шальному, беспутному Ричарду – и даже больше: он не раз заявлял, что у него «только один сын – Чарльз», а Ричард – лишь позорит честное имя Шериданов. И все же, когда отец умирал, возле него был именно Ричард, и заботы о семье взял тот же Ричард: добродетельный Чарльз показал наконец свое настоящее лицо. Очень вероятно, что именно из этих «семейных» элементов в «Школе злословия» сложились характеры обоих братьев Сэрфэс и одна из основных сюжетных линий пьесы, построенная на разоблачении старшего брата.

Любопытные данные о работе Шеридана над «Школой злословия» сообщает в своих «Воспоминаниях», посвященных Шеридану, Т. Мур, имевший возможность ознакомиться с рукописями пьесы. Первый вариант представлял собою двухактную комедию, с сюжетной установкой на историю Тизля и его жены. Действующими лицами в этой комедии были: сэр Роланд Гарпэр, Плаузибл, капитан Г. Плаузибл, Фримэн, Соломон Тизл, м-с Тизл Мария. Соломон Тизл превращается затем в сэра

Тизля; Плаузибл становится впоследствии Джозефом Сэрфэсом. Комедия начиналась монологом Соломона Тизля; из этого монолога видно, что он был задуман не холостяком, а, наоборот, рецидивистом-супругом с тремя приводами к алтарю. Последняя, третья, жена – на 30 лет моложе его, провинциалка, в которой уже легко узнать леди Тизл из «Школы злословия». Но в ней пока осталась еще провинциальная простота: изворотливости позднейшей леди Тизл в ней еще нет, тут она прямо говорит мужу, что сельская жизнь до смерти надоела ей, потому она и решила «выйти замуж за первого попавшегося дурака». И дальше, в ответ на реплику Тизля: «Значит, вы хотите моей смерти?» – она отвечает еще откровенней: «Вы знаете, что нет... потому что вы еще не сделали завещания в мою пользу». Тизл: «Но ведь я всего только средних лет мужчина». Леди Тизл: «Вот в том-то и беда: уж лучше бы вы были лет на 20 постарше или лет на 20 помоложе, – я предпочла бы и то и другое...»

Несколько блестящих реплик, вроде только что приведенной, выпадают в окончательном тексте пьесы. Другие реплики, постепенно меняясь от варианта к варианту, показывают, ценою какого упорного труда достигалось такое как будто легкое, шампанское остроумие окончательного текста. Когда дело касалось любимой работы, Шеридан работать умел: об этом говорят его рукописи.

Из всех его пьес общественное значение имеет конечно именно «Школа злословия»: это не только комедия сатирическая. Наибольшей силы сатирический заряд сконцентрирован на двух лицах пьесы: леди Снируэл и Джозефе Сэрфэсе. Пустота высших кругов английского общества, наполняющего жизнь только одним – гомерическими сплетнями, в лице леди Снируэл и ее окружения, показана так, как это, может быть, никому не удавалось сделать после Шеридана. Джозеф Сэрфэс в портретной галерее лицемеров и ханжей занимает почетное место рядом с мольеровским Тартюфом и нашим Молчалиным. Потомки этих почтенных господ здравствуют и посейчас: острие социальной сатиры в «Школе злословия» не затупилось и в наши дни.

«Школа злословия» была уже написана и поставлена; уже много лет Шеридан не притрагивался к перу, но од-

нажды распространился слух, что он пишет новую комедию. Один из его друзей, м-р Келли, спросил его, правда ли это; Шеридан ответил утвердительно. «Не верю, – сказал Келли. – Вы никогда больше не будете писать, вы боитесь писать». – «Кого же я боюсь?» – спросил Шеридан. «Вы боитесь автора «Школы злословия», – ответил Келли.

Келли был прав. Шеридан имел основания бояться автора «Школы злословия»: превзойти этого автора было трудно даже Шеридану.

1931

ШУТЕЙНОЕ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
к 50-летнему юбилею М. Горького

В Финляндии попал я в баню. Глядь – приступает ко мне банщица, вымеобразная этакая чухонка. Тут моет, тут поливает! Мне неловко, куда деваться, не знаю. А банщица – ни в одном глазу: она привычная.

Так должно быть и юбиляру. А тем, кто его поливает, – ничего: привычные.

Евг. Замятин
1.4.1919 СПб.

БУРИМЕ

В засеянном телами Коктебеле,
На вспаханном любовью берегу
Мы о незнающих любви скорбели.
Но точка здесь. Я слух ваш берегу.
Под африканским синим небом Крыма
Без ватных серых петербургских клякс
Нагая светит телом Фрина-Фрима,
И шествует, пугая женщин, Макс.

2 мая 1924

ПАНОПТИКУМ

Открыт паноптикум печальный.
Ал. Блок

ТЕТРАДЬ ПРИМЕЧАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОНУФРИЯ ЗУЕВА

Новое доказательство для неверующих

Сего числа в сочинении «Некрасов по материалам Пушкинского Дома», издание Сабашниковых, на стр. 144-й обнаружил портрет певца народного горя Некрасова – с подписью: «Некрасов с фотографии 1879 года». И как бы в подтверждение сомневающимся – на стр. 307-й вновь упомянуто: «Портрет с фотографии 1879 года». По достоверным метрическим сведениям (сообщенным мне протоиереем о. Павлом Щеголевым), певец народного горя Некрасов скончался в 1877 году. Из чего явно, даже для неверующих наподобие Горького, что загробная жизнь доказана фотографически, т. е. научно.

Нотабене: сообщить куда следует (что бывший князь укрывается под чужой фамилией).

Открытие о том сделано мною совместно с Максимом Горьким. Вчера в сочинении Максима Горького «Детство» я прочел стихи:

И вечерней, и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот

Под окошками ходит с сумою,
Христа ради на помощь зовет.

Причем Горький сообщает, что означенные стихи писаны (бывшим) князем Вяземским. Однако те же стихи обнаружены мною в книге, называемой «Сочинения И. С. Никитина». Из чего заключаю, что под фамилией Никитина преступно укрылся бывший князь, дабы избежать народного гнева.

Кстати о лошадях

В научно-популярном журнале «Звезда» тоже Никитин сообщает (сочинение «Полет»), что некто Фирсов «про себя невидно, неслышно усмехнулся, этому он научился у лошадей». Эк их! Учителей они каких себе нынче выбирают. А впрочем, лошадь – животное весьма домашнее и в упряжи хорошо ходит, чему от нее обучиться можно с немалой пользой.

Воспоминание о дяденьке

В романе «Хромой Барин» А. Толстого сказано: «Скотница, сидя на скамейке под коровой, доила парное молоко» (стр. 132). В связи с каковым молоком мне вспомнился мой покойный дяденька. Тоже соблюдал в выражениях большую точность и, бывало, говаривал: «А нука, принеси мне мокрой воды стаканчик».

Нечто для молодых хозяек

Сочинитель Б. Пильняк сообщает, что проездом на ихнем английском корабле он своеглазно видел, как повар «развешивал по утрам соленую баранину для бекена» (журнал «Красная Новь», № 6, 1923 года, стр. 37). Спрошенный мною протоиерей о. Павел Щеголев разъяснил, что «бекен» по-коломенски, или по-английски «bacon», означает свиное сало. Так что, несомненно, англичане нынче умудряются приготовлять свиное сало из простейшей баранины.

Открытие в науке геометрии

10-го сего апреля, при чтении вслух о. протоиерею того же сочинения Пильняка, дошел до места: «...корабль валится ко дну по эллипсическим кругам» (стр. 37) – и говорю: «Как же так, отец Павел? Круг – он круглый и есть, а какой же такой эллипсический круг? Это даже как-то невообразимо». На что получил ответ: «Дурак ты круглый. Открытия могут быть во всякой науке, в том числе и в геометрии». На что в сердцах возразил: «А если нынче у вас круги эллипсические, то следовательно и дураки не круглые, а эллипсические». На что о. протоиерей промолчал.

Зверство империалистов

Тот же Пильняк сообщает, что у англичан «матросы с кубрика идут спать в трюм». Это уж даже настоящее зверство так называемых просвещенных европейцев: всякому известно, кубрик и есть помещение, где матросы спят, а в трюм грузят товары. А эти акулы-англичане на ночь загоняют свой несчастный пролетариат в трюм, а кубрик у них остается пустой. Спасибо вам, тов. Пильняк, от лица моряков!

Расхищение народных богатств

К таковым по справедливости считаю нужным отнести нашу великую русскую литературу. Но Антанта простирает и сюда свои цепкие лапы. Так, например, А. Толстой написал пьесу «Бунт машин», а ихний какой-то Чапек из нашей, русской, состряпал свою пьесу «Вур» – и даже спасибо не сказал. Необходимо стать грудью на защиту.

Размышление о прочих планетах

Говорят, что нынче до того додумались, чтоб и на прочие планеты летать. Полагаю, что ложный слух и никаких иных планет, кроме Земли, в природе не имеется. Что доказано в сочинении А. Толстого: «Аэлита». Будто

17 Зак. 2208

бы он попал на Марс, а оказывается, тамошний житель, взлетев, затем «нырнул и пошел у самой земли» – «снизился и пробежал по земле», – «сел на землю». В предупреждение бессмысленных мечтаний считаю сочинение это весьма полезным.

Еще о полетах

В «Красной газете» от 31-го сего марта, под заглавием «Выпуск аэропланов» прочел: «Гидросамолет плавно и медленно скользит по снежной поверхности. Раздаются крики ура и звуки Интернационала. Самолет, не поднимаясь в воздух, делает несколько кругов на своих полозьях по аэродрому и также медленно и благополучно возвращается обратно».

Что благополучно – не удивляюсь. Но почему ура – недоумеваю.

Еще для неверующих

Дочитав до конца ту же книгу «Некрасов по материалам Пушкинского Дома», всю ночь не спал. Этого даже и у меня в мыслях не было, что якобы умершие приходят просто так вот обедать к знакомым, как я к о. Павлу. А между тем! На странице 307-й упомянутой книги засвидетельствован печатный факт, что Некрасов в 1886 году, т. е. через 9 лет после своей земной смерти, присутствовал на одном обеде.

Доложил о том отцу П. Щеголеву; он мне только молча раскрывает книгу «Былое» № 20 – и там на странице 134-й читаю: «28 марта 1881 года он (Александр II, убитый 1-го марта!) записал в своем дневнике...». Действительно, что тут скажешь?

Нечто о размножении человека

А именно, в книге И. Н. Попова «Минувшее и пережитое» о некотором его современнике говорится: «Отца у него не было, а мать, кажется, служила в прислугах». Такой способ размножения с помощью одного женского пола до сих пор известен был лишь в Священном писа-

нии. Полагаю, что книга весьма полезна для борьбы с религией.

Последняя новость

В журнале «Хочу все знать» сообщено к сведению, что Казбек и Эльбрус – действующие вулканы. А ведь сколько годов не действовали! Видимое дело – это от японского землетрясения. Погодя и до того доживем, что из Воробьевых гор вулкан забьет. Нелегкая наша жизнь!

Старец 119 годов от роду

Отходя ко сну, вычислил, что известному Бальмонту не менее как 119 годов от роду. А именно, в историческом романе Мережковского про декабристов («25 декабря») Голицын (бывший князь) произносит стихи Бальмонта:

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.

В рассуждении, что стало быть означенные стихи написаны до бунта декабристов и что Бальмонту было тогда, ну, скажем, годов не менее 20, получается 119-летний старец. А кто бы подумал!

Нотабене: еще сообщить куда следует

У известного Е. Замятина в испанской пьесе «Огни св. Доминика» (альманах «Литературная мысль», книга 1) обнаружил, что будто бы какая-то испанская девица говорит: «Сеньор алгуасил, вам очень бы пошли капитанские эполеты». Специально справлялся во второй ступени: подтвердили, что в те времена никаких эполет и в заводе не было; из чего полагаю, что про эполеты – это он нарочно, в пику. Прискорбный факт отрицательной идеологии.

Переворот судьбы 16 мая

Сего числа от самой почты летел домой как бы на крыльях Морфея, под ударом мысли, что я причислен к

действительным писателям: сверх всяких опасений, моя критика напечатана полностью в уважаемой редакции «Русского Современника», которой мною послано поздравительное письмо[1]. И сограждане, которые ставили на вид, что я слишком мнимый об себе человек, теперь реально могут увидеть, что там и я, и также М. Горький. Дорогой Алексей Максимович, дай вам Бог!

Ввиду изложенного решил подвергнуть себя коренному внешкольному образованию в смысле литературы, начиная именно с Пушкина, который есть наш великий поэт, и к тому же 125-летний юбилей. (Нотабене: Пушкин также был напечатан в «Современнике»!)

Нечто о пользе Пушкина[2]

Полагаю, как бы судьба сунула в мои руки сочинение Л. Сосновского насчет пользы А. С. Пушкина («Правда», № 172), после чего решил окончательно. В литературном значении это есть полнейшая поэзия. Так, например, вроде: «Кто, кроме Пушкина, подставит вам крылья и так вольно и легко направит полет ваших мыслей по любимым картинам природы? Никто!»

Прочитав эти строки, почувствовалось в них нечто как бы мое... Приветствую и присоединяюсь! Онуфрий Зуев.

Сведения из быта А. С. Пушкина

Неоднократно доходившие слухи о происшествиях А. С. Пушкина с лицами женского пола — составляют факт. А именно, приобретены мною сочинения А. С. Пушкина под редакцией В. Брюсова (Москва, Гос. Изд.), где о связи стихотворения «Залог любви» В. Брюсов приводит к сведению мысль Пушкина: «Я принужден сжигать письма той, кого люблю, вероятно, гр. Воронцовой?» Из чего следует, что их (женского пола) столько было, что

---

[1] Письмо О. Зуева не печатается, так как подобные поздравительные письма товарищей О. Зуева по оружию (напр., Г. Лелевича) уже появлялись в других изданиях. (*Ред.*)

[2] Настоящая заметка О. Зуева печатается в дискуссионном порядке. (*Ред.*)

Пушкин даже и сам не знал толком, от кого письмо и кого... Впрочем, не буду ставить точку над *и*, по случаю декрета об і.

Сведения из быта херувимов

Открытие из неизвестного до сих пор быта херувимов произведено также В. Брюсовым при помощи стихотворения А. С. Пушкина «Паж или пятнадцатый год». Под титлом какового стихотворения напечатано изречение по-французски: «C'est l'âge de Chérubin», или же — благодаря научности В. Брюсова — то же самое сообщается по-русски в виде: «Это — возраст херувима». Из чего, без всяких, ясно, что возраст херувима есть именно пятнадцать лет[1].

Рассуждение о науке

Кто, например, сядет на трехногий стул, который может даже подкоситься с опасностью для жизни? Никто! Также, полагаю, и в рассуждении науки: она должна быть не менее как на четырех ногах, вполне непоколебимо. В смысле чего считаю примечания Брюсова примером науки. Так, хотя бы, про Ломоносова и Державина объяснено кратко (стр. 7): «Русские поэты», что вполне научно. Или, например, А. С. Пушкин запутался и не знал, как начать стих: «Блажен кто...» или «Щастлив кто...», а уважаемый В. Брюсов знает, что надо так: «Блажен кто щастлив». И действительно, кто счастлив — ясно, блажен: ничего не возразишь, т. е. опять вполне научно.

О памяти женского пола

Т. е. что ихняя память короче, как говорят, комариного носа. Если и чему учены, то к сорока годам все как в трубу вылетит. В смысле чего и понимаю примечание

---

[1] Остроумная догадка О. Зуева ошибочна: во французском эпиграфе к этому стихотворению Пушкина имеется в виду пятнадцатилетний паж Керубино, влюбленный в «Севильскую графиню» — у Бомарше. Учитывал ли это В. Брюсов, ни О. Зуеву, ни редакции неизвестно. (*Ред.*)

В. Брюсова на стр. 170: «Дама лет сорока, но образованная»[1].

Нотабене: на случай экспромтов

На торжественном 125-летнем рождении А. С. Пушкина я, как писатель то же самое, произнес экспромт в размере четырех стихов. После самообразования полагаю, что это не экспромт: как объяснено В. Брюсовым (на стр. 134–135 и 410), «сомнительные» стихи Пушкина 1817–1819 гг. разделяются на «четверостишия», «экспромты» и «эпиграммы», т. е. всякому ясно, что четверостишие и экспромт – настоящая разница.

Нечто о молодости

Также, кроме науки, получаю бодрость при чтении. Хотя, например, мне стукнуло 40, но читаю (на стр. 341) примечание В. Брюсова, что «"Опасный сосед" был написан В. Л. Пушкиным в молодости». Если при помощи арифметики, то В. Л. Пушкин родился в 1770 году, а написал «Опасного соседа» в 1811 г., будучи т. е. 41 года, – стало быть это есть вполне молодость. Нам, русским, эти самые «омоложения» без надобности.

Еще о науке

Произошел научный разговор, будто это у Брюсова неверно сказано, что А. Ширинский-Шихматов – «плохой драматург», что он будто совсем драматических сочинений никогда и не писал. Возражаю в защиту: потому и не писал, что был плохой драматург, – не за свое дело не брался, и очень хорошо[2].

---

[1] Такое истолкование О. Зуевым действительно загадочного «но» Брюсова, разумеется, нельзя отнести к нашему времени, когда доступная для всех без исключения наука воспитывает женский ум. (*Ред.*)

[2] Неизвестно, на что намекает О. Зуев своей фразой: «не за свое дало не брался, и очень хорошо» — но в основном он не прав. А. Ширинский-Шихматов – довольно плодовитый стихотворец, автор нескольких поэм, но и драм у него нет, и «драматургом» — ни плохим, ни хорошим его нельзя назвать. (*Ред.*)

Чудо природы

Будто у одной бабы недавно родился черт и на второй день заговорил – про это серьезно опровергалось в наших газетах. Однако, вот научный факт, про который подтверждено не кем-нибудь, а двумя гг. профессорами.

Такие есть у Пушкина стихи под названием: «Ответ А. И. Готовцевой», написаны в 1828 году, по причине присланных Пушкину стихов этой самой Готовцевой. И здесь – удивление. Так как в словаре профессора Венгерова печатно указано, что А. И. Готовцева жила от 1826 по 1828 год, что подтверждено плюс в книге проф. Ю. Верховского «Поэты Пушкинской поры» (на стр. 330). Рассуждаю: если, будучи от роду фактическим младенцем двух лет, она уже писала стихи (и которые даже Пушкин одобрял), то вполне просто, что говорить она стала вроде того, якобы, черта на второй день от рождения.

Еще о черте

Если таковой у кого-либо родится, то как сразу же отличить, что это есть *он*? К тому вернейший способ сообщается в сочинении М. Гершензона о Пушкине («Голфстрем»), под видом как результат из стихотворения Пушкина «Ангел». А именно, суть между ангелом и демоном (или равно, чертом) состоит в том, что демон «летает, смотрит и говорит» (нотабене: говорит!), ангел же только «сияет поникшей главой»[1].

Примечание в смысле пушкинского «Пророка»

Про этого «Пророка» сколько разного писали, а никому (кроме меня) и в голову не влетело, что там якобы «серафим», а на самом деле он – с рожками и с хвостиком, применив способ Гершензона: и летает (не зря же – шестикрылый), и смотрит, и говорит, и прочее.

---

[1] Для тех, чья стальная логика идет по рельсам уважаемого О. Зуева, сообщается, что с изложенной теорией Зуева редакция не согласна. (*Ред.*)

Пушкин и наука физика

Читая Пушкина, иногда получается даже самая настоящая наука. А именно, Гершензон («Гольфстрем», стр. 75), на основании Пушкина, сообщает к сведению, что «душевные процессы облекаются в одну из трех форм вещества – либо в газообразную, либо в жидкую, либо в твердую». Полагаю, что это справедливо заслуживает напечатать в следующем издании известной физики Краевича, как бы дополнение.

Нотабене: сообщить в уважаемую редакцию «На посту»

Сего числа получил из Москвы от верного человека, что известный Вячеслав Иванов произвел доклад в Академии Художественных Наук 9 июня сего года, под заглавием: «Пушкин и формальный метод». В каковом докладе объяснил в выражениях: что в стихах Пушкина «спой мне песню, как девица за водой поутру шла» – вода не простая, а якобы есть «живая вода», а девица – есть «царь-девица». Это есть несомненное монархическое самодержавие.

Привет профессору Ермакову

Ввиду приобретения трудов профессора Ермакова под именем «Этюды по психологии творчества Пушкина» размышлял, что это удивительно, что я, например, за 1000 верст здесь, а он в Москве, а как бы один и тот же Онуфрий Зуев – в смысле различных открытий. Так, например, открытие Ермакова, что «александрийский стих – есть стих Александра», т. е. Пушкина.

Рассуждая в том же смысле, полагаю, что город Александрия – есть город Александра, т. е. Пушкина, и здесь, вдобавок, египетское пророчество о рождении великого поэта земли русской.

Революция в Пушкине

Т. е. в заключение не открытие, а полнейшая революция! А именно, факт профессора Ермакова, что когда

Пушкин сочинял «Домик в Коломне», то даже не знал, что он сам (т. е. Пушкин) – мужчина или женщина? – и жениться ли должен или выйти замуж?

В связи чего проект: может быть никакой «А. С. Пушкин» даже и не существовал, а была «А. С. Пушкина»? Вот тебе и юбилей!

Научный вздох

Ох, трудное это дело – самообразование, сидя как бы в норе за 1000 верст от центров столиц. Хотя бы сего числа — взял книгу Гроссмана «Семинарий по Достоевскому», напечатано Госиздатом. И на обложке, на 3-ей странице, читаю, какие еще книги там же изданы:

Б е т х о в е н – Опыт характеристики Стрельникова

Е в р е и н о в – Оригиналы о портретистах

С е р о в – Опыт характеристики Стрельникова.

Бетховен! Серов! – не кто-нибудь про этого Стрельникова пишет. А мы! никто вроде даже и не слыхал про эту всемирную величину. Позор!

Нечто об огне

У соседа, Капитона Иваныча, взял для изучения его орган, под названием «Красная Газета» от 8 сентября сего года. И там новость такая, что прямо мозги врозь:

«Большой пожар произошел в д. 10 по каналу Грибоедова. В квартире, где начался пожар, вскрыты полы и потолки. Одна из квартир 2-го этажа *подмочена огнем*».

Подмочена огнем... извиняюсь, не могу поверить! А и не верить – не смею: не какая-нибудь «Биржевка», а вечерняя «Красная Газета». Господи, помоги моему неверию!

Нечто о Пушкине

Это из органа тоже «Красной Газеты» от 17 сентября сего года, статья под заглавием «Забытый памятник Пушкина». И неизвестный автор сообщает новость, что в саду лицея, который на *Каменноостровском*, — «*во время перерывов от занятий гулял Пушкин со своими товарищами*». В Брокгаузе имеется, что будто в Петербург

этот лицей был переведен из Царского Села лет так через десять после кончины Пушкина, однако, полагаю, надо иметь в виду, что Брокгауз есть издание прогнившего старого мира.

По случаю дипломатии

Даже в пот вдарило, потому что это в московских «Известиях» и всемирная величина Стеклов. Статья под именем: «Симптом начала или конца» (№ от 18 ноября сего года) — про ситуацию акул в Америке. И в статье читаю: «Все это только говорит в пользу того, что Советская дипломатия должна предусмотреть новый поход и быть подкована *на все четыре ноги* по-летнему и на шипы».

Ну, будь я дипломатия, – я бы про себя этаких слов даром не спустил!

Еще о науке

Книга «Электрификация», Перельман П. Я., инженер. Госиздат. Москва, 1923. И в предисловии, где перечисляются разные вообще науки, упомянуты «Физика и *косметическая физика* (включая геофизику)». Если в смысле косметики, так неужели они там до того дошли, что даже морды согласно науке раскрашивают?

Нотабене: подписаться на «Жизнь искусства»

Потому что в этом органе пишут, действительно, научно, хотя в смысле понятия трудно. Так например, изречение: «Глубоко-социальный базис, подведенный под корень художественного оформления талантливого романиста» (заметка «В Секции Драматургов Л. А. П. П.», № 30). Многие выражают, что я пишу хорошо, но сознаюсь скромно: куда мне — не написать так.

Нечто по поводу Кавказа

Это также из органа «Жизнь Искусства». В № 30 напечатано к сведению, что кинематографические постанов-

ки И. Перестиани «неожиданно вскрывают *специально-кинематографическую ценность грузинского народа* и его страны». Действительно, всякий народ хоть чем-нибудь замечателен.

Успех в промышленности

В журнале «Звезда» № 3, в стихотворении С. Родова, под названием «Коммунэра о Предгубчека», прочтено мною нижеследующее:

Из Туркестана привозят хлопок —
Грязный и сбитый ватный комок,
Чтоб после под зубьями сотен машин
Текло *полотно* к аршину аршин...

Какие-нибудь там англичане старого мира до сих пор полотно изо льна делают, а уважаемый товарищ Родов производит полотно из простейшего хлопка, что не в сравнение дешевле. Этого русского самородка необходимо записать на красную доску.

Еще изобретение

Таковое, полагаю, сделано писателем В. Лидиным. В сборнике «К новым берегам» содержится рассказ Лидина, где упомянуто, что «*были посланы две радиоантенны*». Когда по воздуху слова посылают — это дело плевое, потому что в слове — сколько в нем весу? А вот ежели дошли, что посылают уже не слова, а тяжелые подобные предметы вроде антенн, – вот это я понимаю, это есть также полная победа нашей техники.

Размышление о конской сбруе

Означенное размышление произошло по поводу рассказа Всев. Иванова под названием «Как создаются курганы», где напечатано: «Мой приятель заговорил о скифах, здесь обитавших, о тяжелых бронзовых стременах и *удилах их седел*». Конечно, Всев. Иванов тут ни при чем, потому как это не он сам, а его приятель заговорил об «удилах седел». Однако из этого получается, какие

нынче пошли приятели: только заглядись — свинью подложат.

Кстати о Всеволоде Иванове

Про него пишут, будто бы у него вроде пристрастия к разным таким выражениям для некурящих. А по мне – Всев. Иванов, как он все-таки мужчина, это ничего, а вот если женщина, да еще заграничная, этакие картинки изображает – это уж даже охально. Например, Клара Фибих, роман «Совиное гнездо», перевод Острогорской (изд. «Петроград»). И в этом романе на стр. 34 читаю: «Стройная, с *выбившимися из-под передника волосами*, она возбудила в одном из всадников желание...»

Не знаю, как по-немецки, а по-нашему передник есть фартук, и в заключение выходит нехорошо.

Размышление историческое

Взял у Капитона орган московских «Известий» от 31 мая сего года. И там статья «Подземный кремник. Историческая справка И. Стелецкого», где содержится насчет старинных подземных ходов в Москве и что будто «в этих тайниках в годину бед укрывалась *старонэпмановская Москва* и ревниво стерегла там свои сокровища». Из чего заключаю, что все на свете коловратно, и например этот самый НЭП был еще во время Грозного.

Привет безбожнику

Действительно, необходимо истребить религиозный опиум. И спасибо тов. Исакову из «Жизни Искусства» за его борьбу. А именно, в № 32 уважаемого журнала, в своей статье он употребляет: «Гораций, ты сердишься, следовательно, ты не прав». Что необходимо приветствовать, принимая, что в прежнем изречении «Юпитер, ты сердишься...» – есть название бога, хотя бы и не настоящего.

Научное мировоззрение

А именно, в романе писателя А. Грина «Блистающий мир» (стр. 42) прочитал: «Шутки, наблюдения, остроты, гимны – то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара...» Из чего полагаю, что у этого писателя действительно научное мировоззрение, что человек есть вроде паровая машина. Однако, обратный вопрос в науке: какой действует пар в машине – мужской или женский?

Последняя новость

И опять Капитошка! Такое подсунул, что ум за разум заходит. И откуда, черт рыжий, выкапывает? Принес нынче «Литературную Неделю» № 3 (28) 1923 года, издание петроградской «Правды». На последней странице, в рамочке – под заглавием «Календарь Рабочего». И напечатано:

«19 февраля поистине несчастный день для буржуазии. В этот день в 1473 году родился великий ученый положительной науки Коперник, который *опрокинул туманную надстройку лженаучных буржуазных теорий о вращении земли*».

Прочитал я, и Капитошка говорит: «"Понял?" А я боюсь понять – "что, говорю, понял?" – А то, говорит, что, стало, быть насчет вращения земли – это есть гидра, и нынче вращение это отменяется».

Батюшки, неужели не врет?

1924

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» ОТ ОСНОВАНИЯ И ДО СЕГО ДНЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Подобно многим царствам, Всемирная Литература возникла среди воинственных кликов, и дыма пожарищ, и мечного звона в дни, когда пред силою железа склонились многие могущественные властители. Один из них, именем Зиновий, первым принес жертву богам завоевателей, после чего тотчас был поставлен ведать сокровищницей Августа Максима, но жертва его, как мы впоследствии узнаем, была не от сердца, и в душе своей он затаил месть.

Август Максим заложил основание царству на Невском, 64, и первый год его правления был явно благословлен богами. Из окрестных пустынь ежедневно притекали многочисленные караваны переводчиков и, раскинув пестрые шатры, торговали плодами своих земель, получая по 250 бумажных сиклей за лист, чего в те древние и изобильные времена с избытком хватало на приобретение одного фунта хлеба. Влекомые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые мужи из готских, франкских, халдейских, вавилонских, индийских, египетских и иных стран.

Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писания стихов о прекрасных дамах, ежедневно составляли азбуки для просвещения покоренных Августом диких племен. Два корифея Дионисовых плясок, забыв о жертвах неистовому и прекрасному Богу, явились во дворец Августа, смущая ученых мужей видом украшенных виноградными листьями тирсов. И наконец пришел человек из

страны, где удивленный чужеземец видит у граждан не языки, но смертоносные змеиные жала, что составляет там гордость равно старцев и юношей. Человек этот, именем Корний, пришедши на Невский, 64, знаком показал, что желает принести жало в жертву Богам, после чего всенародно изъято у него было жало, а в уста ему вложен был язык некоего благостного и доброго старца.

Так в первый год правления Августа Максима процветала земля Всемирной Литературы, добродетель и любовь к отечеству была велика, поля и жены равно плодородны.

Но уже три бледные Сестры, прядущие нити человеческих судеб, усталые, задремали, перепутались нити, и над благодатной страной нависла туча нежданных и ужасных событий. Первым же из них была жестокая месть сказанного выше Зиновия.

Был великий и светлый день: исполнилось 50 лет Августу Максиму, и все племена Всемирной Литературы, многоголосые и разноязычные, как весенний лес, собрались на Невском, 64, дабы оказать Августу надлежащие почести. Весь день звонили медные языки колоколов и людей. Мужи, жены и дети длинной чередой подходили и возлагали цветы и ветви у подножия статуи Августа и подносили ему для благословения младенцев обоего пола, и в золотых кадильницах курили ему фимиам. От синих благовонных дымов многие лишались сознания, но и лишенные сознания продолжали говорить, так что никому незаметно было странное действие этих волшебных курений, и никто не видел, как из-под тоги вынимал Зиновий исписанные арабскими цифрами кусочки папируса и клал их в кадильницы.

Когда же настало утро и дыхание розовоперстой Эос прогнало дым, то все изумленно увидели незнакомые стены, шкафы и диваны и спрашивали друг друга: «Где мы?» – и опоясанный мечом привратник Михаил отвечал: «На Моховой, 36». С воплями и рыданиями бросились на Невский, 64, но здесь в дверях встречал их Зиновий и, зло торжествуя, спрашивал: «Вам кого? Здесь издательство Гржебина». И с ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пленен Август Максим.

С того дня уже не видели больше Августа Максима во Всемирной Литературе, и власть принял некий юноша,

35 лет или более, именем Тихон. Правление этого нового цезаря было обильно многими происшествиями и бедами. Юноша этот рожден был под знаком Скорпия, о рожденных же под Скорпием так сказано в гороскопе Брюса: «Сей есть природы и естества Скорпия, студен и мокр, наклонения же Марса, сиречь непрестанен и немирен, тело свое украшать охотник, и помышления его к великой любви жен, но не весьма плодороден; счастье имеет купить и продавать; смерть же его будет от дьявольского привидения или от деяний женских».

Под темным знаком Скорпия – скорби и скудости – текла жизнь на Моховой, 36, и происходили многие вещие знамения. Когда заседали мужи Совета, внезапно погасали светильники как бы от ветра. Каждый пятый день недели неведомая, в черных вретищах, женщина неслышными шагами проходила сквозь закрытые двери – и за нею, так же неслышно, священное и зловещее животное египтян – кошка. И, подъятые невидимой рукой, на глазах у всех исчезали папирусы и книги.

Вслед за знамениями и видениями явилась болезнь, дотоле неведомая и получившая теперь название Дельфской, по имени оракула в Дельфах. Пораженные этой болезнью мужи Совета истекали словами, как истекает кровью воин, насквозь пронзенный звонко летящей стрелою. А затем начался голод и мор, и опустели сокровищницы цезаря, несчастно рожденного под знаком Скорпия. Женщины из племени переводчиков толпами приходили к цезарю Тихону и протягивали к нему младенцев, рожденных в изобильные времена Августа Максима, и, раздирая на себе одежды, обнажали перед Тихоном иссохшие груди и требовали денег. Он же платил им по 25 000 бумажных сиклей за лист, но даже и одного фунта хлеба нельзя было купить на них, ибо были там обозначены письмена кушитские, хамитские и иудейские, и, опасаясь наказания от подлинных Богов за нечестие, никто не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб.

И вот однажды ночью проходил Тихон между освещенных зеленым серпом Дианы и молчаливых стен, когда из зеленого сумрака вышли, подобно дочерям Горго-

ны, переводчицы и потребовали не языческих, но истинных денег. С привычной твердостью цезарь отвечал им: «Завтра», – и тогда переводчицы кинулись на него и, ударяя его железными посохами нещадно, переломили ему ногу. И лишь наутро Тихон был поднят шедшими к источнику за водой и перенесен во дворец. Но о происшедшем цезарь строго запретил разглашать, и лишь немногие знали, как сломана была его нога. Народу же сказано было, что сломал ногу цезарь, упав с колесницы.

После этого происшествия началось запустение и уныние и еще больше скудость во всем. Охладел пепел перед алтарями богов, в портиках храмов пауки невозбранно плели паутину, и лишь в храме Весты, как прежде, пылал ярко огонь, рачительно блюдимый Евдокией, верной служительницей Богини.

Тем временем смятение и страх вошли даже в защищенные железной мудростью сердца мужей Совета. И вот один из них, именем Браун, что значит темный или коричневый, явился к цезарю Тихону и сказал ему так: «Скудость в нашей земле, проклятой от богов, и вся жизнь наша под знаком Скорпия. Дай мне сиклей, и привезу тебе товаров из Готских стран». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда Феб окрашивал кровью своей весь запад, восходил Тихон на стены, и с ним истомленные жены и мужи, и все, приложив ладони к глазам, смотрели с надеждой вдаль: не заклубится ли пыль под копытами коней, везущих Брауна из Готской страны, но по-прежнему дорога была желта и пустынна.

Тогда пришел к Тихону другой муж Совета, именем Левин-сон, что значит из великого колена Левия, и сказал Тихону: «Нет прощенья Брауну. Дай мне сиклей, и я поеду в Готские страны, чтобы привезти оттуда товаров и Брауна, заковав его в железа». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда из желтых становились розовыми камни на стенах, все восходили и с надеждою смотрели вдаль, но никого не было видно.

Тогда пришел к Тихону третий муж Совета, о котором знали, что зачат он был под виноградною лозой, и сказал Тихону, что поедет в Готские земли и привезет товаров, и Брауна, и сына Левия, надев на них цепи. Облобызав, отпустил его Тихон. Но и этот, подобно двум прочим, не

вернулся, прельщенный мерзкою красотою готских жен. Узнав о том, Август Максим, преодолев силу волхвований Зиновия, сам пришел к Тихону и сказал ему так:

– Нехорошо. Я поеду в Готские земли и привезу в оковах Брауна, и сына Левия, и зачатого под виноградною лозою, и товаров.

И, уехав, также не вернулся, прельщенный готскими женами.

Тогда, скорбный и томный, как дерево с почерневшей от ледяного Борея листвой, пришел Тихон в храм Весты, где по-прежнему ярко пылал огонь, поддерживаемый верной Евдокией. И, низко поклонившись, сказал ей цезарь:

– Ты одна неизменна, – и щедро вознаградил ее.

И одному из немногих оставшихся мужей Совета сказал:

– И ты неизменен, да будет благословенно имя твое, Серебряный Лебедь, – ибо имя его было Сильверсван, что значит Серебряный Лебедь.

Серебряный Лебедь отвечал Тихону:

– Так, цезарь, неизменен я, как серебро, и чисты мои помыслы, как лебединые крылья. Мне верь. Дай мне сиклей, и я привезу от готов Брауна, и сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима. И клянусь: завтра утром увидишь меня здесь – и их со мною.

И, облобызав, с спокойным сердцем отпустил его Тихон, и с спокойным сердцем пришел утром на Моховую, 36. Но входя, почувствовал: зимним холодом повеяло на него. И увидел: покрытый пеплом алтарь строгой Весты, и лежит на полу развязанный пояс, и узнал Тихон пояс Евдокии, и спросил:

– Что значит это? И где Евдокия?

Отвечали ему с рыданием и воплем:

– Ночью сегодня Сильверсван и с ним тридцать всадников ворвались в храм Весты, и Сильверсван, связав нас, похитил прекрасную Евдокию.

И затворился Тихон, и пробыл у себя весь день и всю ночь, и никто не видал его. Когда же вышел, то был он уже не юноша, но зрелый годами муж, и так сказал народу:

– Храните мудрость мужей и целомудрие жен. Мне же внушено богами самому пойти в Готские земли и, разру-

шив чары готских жен, привезти назад Брауна, сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима, и Серебряного Лебедя, и прелестную Евдокию.

Народ же и мужи Совета растерзали на себе одежды и восклицали: «Горе нам! Горе», – ибо знали, под Скорпием рожден Тихон, и суждено ему погибнуть от деяний женских, и не было случая, чтобы изрек ложь гороскоп Брюса. И каждый вечер восходили на стены и смотрели вдаль, но желта была даль и пустынна, и не вернулся Тихон, опутанный золотыми сетями, ибо как бы из золота волосы у готских жен.

Как младенец привычным ртом припадает к материнской груди, хотя бы и не было в ней молока, так и мужи Совета, лишившись цезарей, все же заседали привычно в опустелых чертогах на Моховой, 36, хотя не было здесь ни продажи, ни купли, и не оглашались стены пестрым, разноязычным говором переводчиков. И в эти последние дни восстал среди мужей Совета один, именем Василий, что значит Цезарь или Князь, ибо был он, как обнаружилось позже, князем многих китайских и иных племен. И, наущенный восточными демонами, стал этот муж проповедовать некий новый язык, соблазняя всех вместо Текперей говорить Сакры, вместо Соути – Сазы, вместо Перси – Песы, вместо Бернэй – Бены. И в простоте все многократно повторяли за ним эти страшные слова, не ведая, что это имена подчиненных ему китайских и иных племен, сильных чернокнижием и волхвованием, и одним лишь словом обращающих дев в жен и производящих смертельный смех и великие неистовства.

И вот, призванные силой заклинания, в белый и тихий вечер 25-го декабря Моховую, 36 несметными полчищами осадили Сакры и Сазы, Шанзы и Песы, Бены, Серапионы, хвостатые и пестрые, иные о трех ногах, иные с четырьмя глазами, иные в звериных шкурах, иные же почти без одежд, и ворвались в священные стены, и разрушили установленный богами порядок шкафов и стульев, и началась варварская музыка, и скаканье, и бесовские игры, и мужи Совета, забыв о чадах и о всех постигших отечество бедах, искали забвения в вине и в объятиях чужеземных женщин.

Так кончился третий год в землях Всемирной Литературы. Четвертый же начинается сегодня, и чем он кончится – ведано лишь троим бледным Сестрам, управляющим судьбами людей, и царств, и самих Богов.

25 декабря 1921 г. *Евг. Замятин*
Спб.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Те времена, о каких мне ныне должно повествовать вам, – времена изобилия, но равно и времена сатанинской волшбы, восстания лжепророков, великих бедствий и знамений небывалых. И как некогда великий Равви изгнал торгующих из храма, так теперь, в отмщение, торгующие изгнали его из храмов, разнося звон бумажных сиклей и неистовый шум торговли всюду – даже в тихую доселе обитель Всемирной Литературы.

Народами же Всемирной Литературы продолжал тогда править цезарь Тихон из рода финикийских купцов, отчего ум его был остр в торговых делах. А старейшим в Совете был мудрый Иоаким бен-Леви, деливший всю жизнь поровну между изучением священных книг и созерцанием танцев прекрасных дев из Бактры, Дакии, Вавилона и Шебы. Ибо от круговращения – учил он – подобного круговращению семи небесных сфер, и дух, вращаясь, дионисийски возносится к небу. И еще так говорил он: «Когда взираешь на плавные приседания танцующей девы, то ощущаешь ясно, как по хребту струится ток некоего драгоценного растительного масла».

Изречение это запало в финикийскую душу цезаря Тихона, и он, никому не сказав, в непрестанных заботах о Всемирной Литературе умыслил некоторую хитрость.

Подкупив рабыню в Яслях Искусства, как прозывался дом Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон проник в его спальню. Здесь он совлек с себя одежду, прикрепил крылья к ногам и, как надлежало, фиговый лист – занял на пьедестале место Меркурия, ибо он был во многом сходен с предприимчивым Богом.

И вот в таинственный час, когда Диана возносит в небо холодный, как ее сердце, серебряный щит, – дверь заскрипела, и бледный, изнеможенный великим зрелищем танцев – вошел мудрый Иоаким, неся в руках некий сверток, обернутый темной тканью. Не дыша ждал цезарь Тихон, что произойдет дальше, и глазам его представилось зрелище поразительное. Иоаким бен-Леви осторожно развернул ткань и вынул оттуда прозрачную хрустальную амфору, полную драгоценным растительным маслом. Затем, перейдя с амфорой к ложу, он откинул исписанное письменами покрывало – и внизу, под ложем, цезарь Тихон узрел сокровищницу мудрого Иоакима: целые ряды сверкающих от огня амфор. Цезарь Тихон, забыв, что он Меркурий, с своего пьедестала воскликнул: «Иоаким, Иоаким! Отныне я знаю источник твоих богатств».

Устрашенный тем, что дотоле безмолвная заговорила статуя Бога, – Иоаким бен-Леви поспешно скрылся. А цезарь, поставив на место статую и захватив с собой сколько мог амфор драгоценного масла, вернулся к себе во дворец на Моховую.

С того именно дня началось изобилие во Всемирной Литературе. Продав часть масла Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон купил хлеба, одежды, обуви, геркулеса – и в летние, напитанные болотистой пылью и тишиной вечера Моховая оглашалась звонким ржанием нагруженных онагров и веселыми разноязычными песнями народов Всемирной Литературы. Тем же драгоценным маслом цезарь Тихон умащал дотоле непреклонных властителей страны Госиздата, где, как известно, среди людей и подобно людям разнообразные деревья ходят, живут и говорят, осеняя всех тенью. Так установлена была мирная торговля даже с этими, обитающими среди скал, воинственными племенами.

Но не от труда и благочестия, а от волшбы Иоакима бен-Леви и коварства цезаря Тихона произошло это богатство, и вскоре обнаружилось, кто невидимо управлял как описанным, так равно и всеми следующими происшествиями.

Был вечер. Солнце, умирая, закрыло лик свой пурпурной тогой, как некогда Гай Юлий – чтобы не видеть кинжал предателя Брута. В обагренном солнечной кровью

покое заседали мужи Совета. И вот встал один из них, по воле Рока носивший имя, подобно звучащее имени Брута – Брауд он звался, – и сказал им:

– Благородные мужи. Благо отечества прежде всего. Я и мой друг Амадеус Гофман – предлагаем вместо драгоценного, но неизвестным путем добываемого масла – изготовить и продавать эликсир сатаны.

Как неразумная птица не может раскрыть ореховой скорлупы и вынуть ядро, так ослепленные богами мужи Совета не могли снять скорлупы с этих слов нового Брута и увидеть то ужасное, что было внутри, но лишь неразумно состязались в том, как назвать эликсир: эликсир сатаны, эликсир дьявола или же эликсир черта. И каждый из них всю свою долгими ночными бдениями приобретенную мудрость расточал лишь затем, чтобы, опорочив сатану и оклеветав черта, – превознесть дьявола. И когда старейший в Совете – Иоаким бен-Леви возгласил: «Кто за дьявола?..» – мужи Совета как один подняли руки.

В тот же момент нос у называвшего себя Брауд загнулся клювом, на глазах у всех этот муж Совета вытянулся под потолком, затем – как над рекою купающийся – склонился над чернильницей, простирая сложенные руки, и нырнул головой вниз – так что снаружи торчали лишь две тонкие – и все тоньше – ноги, превратившиеся в обыкновенные обгрызенные ручки для письма.

– Он отправился домой, – сказал ослепленный, как и все, Иоаким бен-Леви и спокойно первым – взял из чернильницы ручку и скрепил протокол, предающий Всемирную Литературу во власть дьявола. Едва лишь Иоаким бен-Леви поставил точку, как с легким, но все же явственно слышным стоном опрокинулось навзничь солнце, забрызганное кровью и хлопьями снега, кружась, посыпались неслыханные события и соблазны.

Наутро цезарь, взяв с собой, по обычаю, драгоценного масла, отправился в каменистые горы Госиздата. Среди мужей Совета в то время был один, носивший греческое имя Эвгенес, что значит благорожденный, ибо родом он был из счастливых греческих провинций. По странной игре случая, сказанный Эвгенес и цезарь Тихон – лицом и всем телом даже до последнего – были совершенно подобны друг другу. Был же Эвгенес набожен, не знал

ни вина, ни языческих ночных бдений, ни прельстительных женских уст, но лишь писал благочестивые и поучительные истории, служа примером для многих.

В то самое время как цезарь покинул страну, Эвгенес, идя в храм, услышал, как дьявол, принявший образ привратника Михаила, приветствовал его так: «Да живет цезарь!» – и тотчас же злое семя, запав в душу Эвгенеса, разрослось дремучей чащей, населенной сатирами и дриадами.

Вернувшись из храма, Эвгенес вошел во дворец цезаря через триумфальный устланный пурпуром вход, и стража – как перед цезарем – склонила перед ним знамена. Даже вернейшая из домоправительниц цезаря – Фидея, что значит Вера – по воле богов не увидела, что это не цезарь, но лишь коварно похитивший вид цезаря Эвгенес.

Войдя и дерзко воссев на трон цезаря, Эвгенес принимал послов, творил суд и щедрой рукой расточал казну – ибо не он собирал ее. Многие прекрасные женщины приходили в те дни во дворец и спрашивали: «Здесь ли цезарь?» Фидея отвечала им: «Здесь», – и проводила их в покои цезаря и ревностно охраняла двери, ибо знала, что приходили те женщины, чтобы дары свои и любовь принести цезарю, но не знала, что Эвгенес коварно похищает принесенное цезарю.

Как игрок, распаленный удачей, все смелее и смелее бросает кости, так Эвгенес, наущаемый дьяволом, простирал дерзость свою все дальше. И вечером однажды, омывшись благовонной водой, этот святотатец вошел в цезареву опочивальню, где, окруженная рабынями, перебирая струны греческой лиры, на одиноком ложе тосковала жена цезаря.

– О мой цезарь, – воскликнула она, простирая к нему руки и все свое тело. – Ты вернулся нежданный, но тем горячее бьется мое сердце. Вот, посмотри.

– Да будет благословенно твое сердце, – отвечал Эвгенес и преступною рукою похитил биение из сердца.

И неизвестно, что было бы дальше, ибо, по сказанному, Эвгенес во всем до последнего был подобен цезарю Тихону. Но в этот опасный миг в опочивальню вошел подлинный цезарь, только вернувшийся из суровых гор Госиздата.

Вскочив, во гневе, жена цезаря – голосом, медно звучавшим, как боевая букцина, – сказала:

– Кто ты, дерзкий, осмелившийся войти ко мне, когда здесь цезарь со мною?

Цезарь же Тихон отвечал:

– Безумная, или ты не узнаешь меня, супруга своего и цезаря? Вот сандалии мои, еще серые от праха пустынь, ибо только сейчас я из гор Госиздата и, даже не сменив одежды, стремился к тебе.

Эвгенес же сказал:

– Не внимай словам дерзкого, хитростью желающего похитить твою любовь. Вот руки мои – они еще в чернилах: клянусь, ими я только что подписывал там, наверху, имя цезаря.

С рассеченным надвое и истекающим кровью сердцем жена цезаря, рыдая, воскликнула:

– Горе мне. Которому же из двух мне отдать объятия, не совершая ужасной ошибки?

На что Эвгенес, по наущению дьявола, сказал:

– Наибольшей жестокостью будет, если ты откажешь супругу в том сладком отдыхе, ради которого он спешил по горам и пустыням. Поэтому я полагаю, ты лишь в том случае с уверенностью избавишься от ошибки, если отдашь свое сердце обоим.

Но цезарь, обнажив меч, возразил с гневом:

– Довольно. Эту ночь ты будешь одна. А завтра я созову мужей Совета, и ты увидишь, кто из нас цезарь. А ты, Эвгенес, завтра увидишь свое последнее солнце.

Это жестокое слово цезаря Тихона исполнилось, но по-иному, ибо сами боги взяли меч в свои руки, чтобы поразить подписавших договор с дьяволом.

В ту темную ночь с грохотом сдвинулись хрустальные небесные сферы, не иссякая лил дождь и песок на землю; листья и камни, предупреждая, всю ночь непрестанно шептали одно и то же какое-то слово. Но никто его не услышал.

И никто не услышал, как в Капитолий Всемирной Литературы вторглись чужеземные воины. Первым же, к кому они вошли, был коварный Эвгенес. Войдя к нему, его, обнаженного, подняли с ложа и спросили:

– Кто ты и что делаешь?

Эвгенес отвечал:

– Если вы ищете цезаря – я не цезарь. Я лишь пишу благочестивые и поучительные истории.

– Мы хотим знать, чему ты поучаешь. Читай.

И обнаженный Эвгенес читал им, а воины слушали, вложив пальцы в нос, что было в их стране знаком презрения. А затем сказали:

– Где же твое благочестие? Ты не пишешь слова единого хвалы нашим истинным кумирицким богам и их статуям. Возьми с ложа подголовье твое и покрывало и иди в темницу: там будешь жить, пока не познаешь истинного благочестия.

И всадили его в темницу.

Затем вошли в дом к другому мужу Совета, именем Игнотус, что значит неведомый или на неведомых языках говорящий, ибо в обширных землях Всемирной Литературы правил он арабскими и халдейскими племенами. И, увидав у него всюду во множестве арабские письмена, так сказали ему:

– Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным, нежели нашим кумирицким богам и их статуям?

На что Игнотус отвечал:

– Не молитвы это, но лишь амантные стихи шейха Абу-Темана.

Воины же, в знак презрения вложив пальцы в нос, сказали ему:

– Мы не знаем твоих мерзких арабских письмен. Возьми покрывало твое и подголовье и иди в темницу: там будешь, доколе не научишь нас мерзким арабским письменам, дабы могли мы увериться, что ныне не лжет твой коварный язык.

И всадили его в темницу.

И пришли к третьему мужу Совета, именем Корний.

Когда пришли воины к Корнию, он в страхе, невзирая на седину своих волос, внезапно размножился и – как боевыми колесницами и катапультами, окружив себя двенадцатью своими детьми – жалобно закричал:

– Ужели, о жестокие, хотите вы гибели этих нежных младенцев!

И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинуясь, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им

накануне. Засунув пальцы в рот, что в их стране служило знаком одобрения, воины долго слушали. Затем убаюканные сладкой музыкой, задремали. Корний же, взяв жену и младенцев, скрылся в темной ночи и проводил с тех пор жизнь, скитаясь в отдаленных лесах.

Меж тем разверзшее ложесна небо все еще изливалось черным дождем, молнии перекрещивались, как бы зачеркивая славную историю Всемирной Литературы. Цезарь же Тихон пламенел неправедным гневом на невинную супругу – если правильно только назвать супругу невинной. И во гневе приказал он зажечь все светильники наверху во дворце, приказал принести зажигающих кровь асийских вин и призвать танцовщиц Иоакима бен-Леви. Не внимая мольбам казнохранителя Кателлана, он горстью брал золото по курсу Госбанка и кидал его женщинам, а те перед ним кружились, маня его глазами, губами, мерной музыкой своих бедер. От взвеенного вихря одежд их тухли светильники, черное лицо ночи прижималось к окнам, гром, сотрясая стены, предвещал небесный гнев, а неистовый цезарь Тихон, ища забвения, пил вино уже не из чаши, но из полных до краев уст.

И здесь свершился над ним суд богов. Некая женщина, приняв на время насекомый вид, ужалила его в губу. Опьяненный винами и грехом, Тихон ничего не заметил.

Но вот – бледное, как бы от ужаса, утро. Пробудившись среди поваленных на пол светильников, разбросанных по полу яств, опрокинутых чаш, цезарь крикнул раба. Раб вошел, но только лишь взглянул в лицо цезарю, как, не в силах сдержать себя, – засмеялся, зажимая рот рукой. Разгневанный цезарь приказал взять его и казнить. И позвав Фидею, что значит Вера, ибо до того часа была она вернейшей, – ей сказал:

– Или уже не цезарь я? Взгляни мне в лицо.

Фидея, взглянув, засмеялась громко и убежала вон.

Еще не зная, но уже предчувствуя нечто недоброе, цезарь спустился вниз к супруге и так сказал ей:

– Вот я, супруг твой. Теперь, при свете Феба, ты узнаешь ли меня?

Но супруга, взглянув в лицо ему и громко смеясь, отвечала:

– Мой цезарь был подобен Фебу. Ты же... взгляни на себя, жалкий лжец.

Цезарь схватил из рук ее серебряное зеркало – и увидел, что губа у него распухла, как чрево женщины, носящей в себе дитя. И не зная, что Эвгенес уже в темнице, цезарь вскричал:

– Ты победил, Эвгенес.

С того часа овладела им болезнь, поразившая некогда Ирода: каждая часть его тела – все вместе и всякая по отдельности – чесались неистово и от малейшего прикосновения росли, подобно тесту, заквашенному искусной хозяйкой. И вскоре обилием и размерам членов своего тела превзошел цезарь даже Лукуллова друга Павла, называемого также Елисеем. А снаружи, меж тем, все громче неистовый грохот и вой волн, и вопли народа. Как человек, выпивший чрезмерно вина, бежит, рыча, качаясь и сбрасывая с себя одежды, так упившиеся дождем воды Невы вырвались из гранитных одежд и, сокрушая все на пути, катились по улицам – и вот уже шипят и пенятся на Моховой. В страхе народ звал богов и звал цезаря. Цезарь вышел и, еле шевеля набухшей губой, с обычным величием произнес:

– Фя здесь. Фя с фами.

Но никто его не узнал – и он, в отчаянии, закрыв лицо плащом, замешался в толпу и вместе со всеми слушал, как выли в тысячи труб аквилоны, смотрел, как волны, подобно бешеным быкам, с разбегу бились лбами в стены дворца.

И вдруг увидел: вскипела белая борозда, как бы след от невидимой галеры, из самого чрева волн – грозный водяной фонтан вверх. Затем всенародное – ах! – и на Моховой вынырнул из воды кит, разинул ужасную пасть еще шире – и изрыгнул в воду некоего человека.

Человек этот, вида дикого и необычного, фыркая, выплыл, ухватился за блестящую, как мокрая сталь, спину кита, влез на чудовище и, бия себя в грудь, закричал:

– Я пророк Божий Иона. Горе тебе, блудница вавилонская. Горе тебе, нечестивая многоязычница. Горе тебе, не знающая истинного Бога. Я послан от Иеговы, чтобы

возвестить тебе гибель. И вот, по воле Божьей, кит проглотит тебя.

Тогда, осеня себя крестным знамением, цезарь Тихон вышел и сказал киту:

– А ну попробуй.

Поощряемый сверху пророком, кит разинул огромную, дышащую смертельным холодом пасть, ляскнул зубами, схватил руку цезаря Тихона... В груди у каждого остановилось, как бы на краю пропасти, сердце. Вот уже заглотил обе руки, вот скрылась голова – и вдруг кит закашлялся, поперхнулся и извлек Тихона обратно. Ибо пораженный, по мудрости богов, спасительной болезнью, был цезарь Тихон размеров нечеловеческих, превосходящих даже размеры Павла, именуемого Елисеем.

Народ ликовал. Пророк во гневе ударил кита ногою, вновь спрыгнул в воду и стал входить обратно во чрево кита. Когда же видна была одна его голова, он, грозя рукою, прокричал:

– Горе тебе, горе. Мы еще вернемся.

Вернутся ли они или нет – о том знают лишь Парки, держащие нити человеческих судеб. Пока же восплещите и возрадуйтесь, ибо счастливой болезнью и мужеством цезаря Тихона спасена была от врагов земля Всемирной Литературы.

Евг. Замятин
25-XII-1922–7-II-1923
Спб.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Слопали!
По неграмотности

Е. Замятин
16-XII-1924

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МЕСТКОМА ПОКОЙНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Отрывок из коллективного текста Е. И. Замятина и М. М. Зощенко)

Потрясенные вторичной кончиной нашего дорогого покойного Н. В. Гоголя, МЫ, великие писатели земли русской, во избежание повторения прискорбных инцидентов, предлагаем дорогому Всеволоду Эмильевичу в порядке живой очереди приступить к разрушению легенды о нижеследующих классических наших произведениях, устаревшие заглавия которых нами переделаны соответственно текущему моменту:

1. *Д. Фонвизин:* «Дефективный переросток» (бывш. «Недоросль»).

2. *А. С. Пушкин:* «Режим экономии» (бывш. «Скупой рыцарь»).

3. *Его же:* «Гришка, лидер самозванного блока» (бывш. «Борис Годунов»).

4. *М. Ю. Лермонтов:* «Мелкобуржуазная вечеринка» (бывш. «Маскарад»).

5. *Л. Н. Толстой:* «Электризация деревни» (бывш. «Власть тьмы»).

6. *Его же:* «Тэ-же» или «Же-тэ» (бывш. «Живой труп»).

7. *И. С. Тургенев:* «Четыре субботника в деревне» (бывш. «Месяц в деревне»).

8. *А. П. Чехов:* «Елки-палки» (бывш. «Вишневый сад»).

9. *А. С. Грибоедов:* «Рычи, Грибоедов» (бывш. «Горе от ума»).

10. Товарищ *Островский* настаивает на сохранении прежних своих названий: «На всякого мудреца довольно простоты», «Таланты и поклонники», «Свои люди – сочтемся», «Не в свои сани не садись»...

ЭПИТАФИИ 1929 ГОДА

К. ФЕДИН

О путник! Здесь злодейство совершилось.
Мутится ум, рука моя дрожит,
На камне еле пишет острый стилос:
«Здесь брат, убитый «Братьями», лежит».

М. СЛОНИМСКИЙ

Гордись, серапионов народ!
От «среднего» до великого – только шаг:
Член Совета – еще выше – и вот –
В мавзолее погребен его прах.

М. ЗОЩЕНКО

Он мог Наполеоном стать,
Но все мы – злой судьбы игрушка:
Не полк, не армия, не рать –
Дана ему одна лишь «Пушка».

Н. НИКИТИН

Прохожий, да побойся Бога,
Прочти надгробный сей запрет:
«Здесь останавливаться строго
Запрещено: здесь спит полпред».

И. ГРУЗДЕВ

За добродетель он от Бога награжден:
Всю жизнь постился он, всю жизнь терпел нужду,
Всю жизнь питался горьким он –
Скончался от рожденья на восьмом пуду.

Н. ТИХОНОВ

Рискованно сказать: человек.
Молитесь за него, Флор и Лавр:
Средь братьев он один (имярек)
Подкованный жил брат-кентавр.

Е. ПОЛОНСКАЯ

Плачьте все, стар и млад:
Здесь опочил от скорбей
Серапионов брат
Елизавет Воробей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

ХЕРУВИМЫ

(Первая доцензурная редакция сказки)

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. Крыльями полощут по-ласточьи, под самым потолком трепыхаются. Прочитала им бабушка Херувимскую, и всякую молитву про херувимов вспомнила – прочитала, – а они все под потолком трепыхаются.

Так стало жалко бабушке херувимов. И говорит – какому поближе:

– Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

– И рад бы, бабушка, посидеть, да не на чем!

И верно: головка да крылышки – все существо ихнее. Такая уж их судьба херувимская: сесть нельзя.

В нелепом сне над старой бабкой Россией трепыхаются херувимы. Уж умотались крылышки, глянут вниз: посидеть бы. А внизу страшно: штыки – и взвиваются херувимы вверх со всего маху:

– Упразднить законы – вопче.

Уж под самым под потолком трепыхаются, уж некуда дальше, а надо: такая их должность херувимская – трепыхай дальше:

– Рубить головы гильотиной.

– Ой, батюшка-херувим, отдохнул бы, присел...

– Я рад бы, бабка, да никак нельзя...

И не нынче-завтра встрепыхнет херувим дальше:

– Пытать на дыбе. Сечь кнутом. Рвать ноздри.

Жалко херувимов, такая их судьба несчастная: в нелепом сне трепыхаться без отдыху, потолок головой прошибать, покуда не отмотают себе крылышки, не загремят вниз торчмя головой.

А внизу – штыки.

1917

II

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Когда я, после летней поездки, вернулся в Москву, все дело с моим романом «Мы» уже было закончено: было уже установлено, что появление отрывков из «Мы» в пражской «Воле России» – это мой поступок, и относительно «поступка» уже вынесены были все надлежащие резолюции.

Но факты – упрямы, они упрямее резолюций, каждый из них может быть подтвержден документами или людьми, и я хочу, чтобы они стали известны моим читателям. Факты эти сводятся к следующему:

1) Роман «Мы» написан в 1920 году. В 1921 рукопись романа была отправлена (простейшим образом: заказной бандеролью через Петроградский почтамт) в Берлин, издательству Гржебина. Это издательство имело тогда отделения в Берлине, Москве и Петрограде, и с издательством я был связан договорными отношениями.

2) В конце 1923 года копия этой рукописи была передана издательством для перевода романа на английский язык (вышел этот перевод только в 1925 году), а затем – на чешский. О появлении романа «Мы» в переводах я не раз заявлял печатно (в своих библиографиях и автобиографиях – см. «Вестник Литературы», «Литературная Россия», под ред. Лидина и т. д.); заметки об этом печатались также в советских газетах; никаких протестов по поводу появления этих переводов я до сих пор не слыхал.

3) В 1924 году выяснилось, что вследствие цензурных затруднений роман «Мы» в советской России не может быть напечатан. Ввиду этого все предложения выпустить

«Мы» за границей по-русски я отклонял. Такие предложения имелись, как от издательства Гржебина, так – позже – и от издательства «Петрополис» (последний раз летом 1929 года).

4) Весной 1927 года отрывки из романа «Мы» появились в пражском журнале «Воля России». И. Г. Эренбург, письмом из Парижа, по-товарищески предупредил меня об этом. Так впервые я узнал о своем «поступке».

5) Тогда же, летом 1927 года, Эренбург, по моей просьбе, отправил в редакцию «Воля России» письмо с требованием от моего имени – прекратить печатание отрывков из «Мы». Аналогичное требование было переслано «Воле России» от моего имени также и еще одним из советских писателей, бывшим тогда за границей.

Считаться с этими моими требованиями «Воля России» не пожелала.

6) От Эренбурга я узнал и еще одно: напечатанные в «Воле России» отрывки из «Мы» были снабжены предисловием, информирующим читателя, что роман печатается в переводе с чешского на русский. Сам я не видел «Воли России» и не знаю, что случилось из этого перевода русского романа с иностранного языка обратно на русский. Но что бы ни получилось, при наличии самой скромной логики ясно, что такая операция над художественным произведением не могла быть сделана с ведома и согласия автора.

Вот это и есть мой «поступок». Похоже ли это на то, что писалось о нем в газетах (например, на то, что я прочитал на днях в «Ленинградской правде», где так прямо и напечатано: «...Е. Замятин предоставил carte blanche "Воле Росси" на опубликование своей повести "Мы"» (номер газеты от 22 сентября).

Начало литературной кампании по моему адресу положено было статьей Волина в № 19 «Литературной газеты».

В своей статье Волин забыл сказать о том, что о моем романе «Мы» он вспомнил с запозданием на девять лет (ибо роман, как говорилось, написан в 1920 году).

В своей статье Волин забыл сказать о том, что о напечатании отрывков из романа «Мы» в «Воле России» он вспомнил с запозданием на два с половиной года (ибо

эти отрывки, как говорилось, были напечатаны весной 1927 года)

И, наконец, Волин забыл сказать о редакционном предисловии «Воли России», из которого явствует, что отрывки из романа печатаются без моего ведома и согласия.

Это – поступок Волина. Сознательны или случайны были его умолчания – я не знаю, но последствием их было неправильное освещение дела в дальнейшем.

Дело это обсуждалось в Исполбюро ФОСП – постановление Исполбюро опубликовано в № 21 «Литературной газеты». В § 2 Исполбюро «решительно осуждает поступок названных писателей» – Пильняка и Замятина. А в § 4 того же постановления Исполбюро предлагает ленинградскому отделению ФОСП «срочно расследовать обстоятельства издания за границей романа Замятина "Мы"».

Итак, сначала – приговор, потом – расследование. Ни один суд в мире, вероятно, еще не знает такого случая. Это – поступок Федерации писателей.

Дальше – вопрос о напечатании романа «Мы» в «Воле России» обсуждался на общем собрании Моск. отд. Всероссийского союза писателей и позже – на общем собрании Ленингр. отд. союза.

Московское общее собрание, не дожидаясь моих объяснений, не выразив даже желания их выслушать, – приняло резолюцию, осуждающую все тот же мой «поступок». Члены Моск. отд. союза нашли своевременным выразить свой протест также и по поводу содержания романа, написанного девять лет назад и большинству собрания не известного. В наши годы девять лет – это, в сущности, девять веков. Я не собираюсь защищать здесь роман, имеющий девятивековую давность, – я думаю только, что если бы московские члены союза протестовали против романа "Мы" шесть лет назад, когда роман был прочитан на одном из литературных вечеров союза, – это было бы более своевременным.

Общее собрание Ленинградского отд. союза состоялось 22 сентября, и о результатах его я знаю только по газетной заметке («Вечерн. Красная» от 23 сент.). Из этой заметки видно, что в Ленинграде уже были прочитаны мои объяснения по делу, что там мнения присутствовав-

ших на собрании разделились – часть писателей после моих объяснений считала исчерпанным весь инцидент, но большинство все же нашло более осторожным осудить мой «поступок».

Таков поступок Всероссийского союза писателей. И из этого последнего поступка я делаю свой вывод:

состоять в литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в травле своего сочлена, – я не могу и этим письмом заявляю о выходе своем из Всероссийского союза писателей.

24-го сентября 1929 г.
Москва *Евг. Замятин*

III

ПИСЬМО СТАЛИНУ

Уважаемый Иосиф Виссарионович,

Приговоренный к высшей мере наказания – автор настоящего письма – обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою.

Мое имя вам, вероятно, известно. Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся, травли.

Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3 – 4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал – и продолжаю считать – что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме, поставленный в одной из моих статей (журн. «Дом искусств», № 1, 1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу.

С тех пор, по разным поводам, кампания эта продолжается по сей день, и в конце концов она привела к тому, что я назвал бы фетишизмом: как некогда христиане для более удобного олицетворения всяческого зла создали

черта – так критика сделала из меня черта советской литературы. Плюнуть на черта – засчитывается как доброе дело, и всякий плевал, как умеет. В каждой моей напечатанной вещи непременно отыскивался какой-нибудь дьявольский замысел. Чтобы отыскать его – меня не стеснялись награждать даже пророческим даром: так, в одной моей сказке («Бог»), напечатанной в журнале «Летопись» – еще в 1916 году – некий критик умудрился найти... «издевательство над революцией в связи с переходом к НЭПу»; в рассказе («Инок Эразм»), написанном в 1920 году, другой критик (Машбиц-Веров) узрел «притчу о поумневших после НЭПа вождях». Независимо от содержания той или иной моей вещи – уже одной моей подписи стало достаточно, чтобы объявить эту вещь криминальной. Недавно, в марте месяце этого года, ленинградский Облит принял меры к тому, чтобы в этом не оставалось уже никаких сомнений: для издательства «Академия» я проредактировал комедию Шеридана «Школа злословия» и написал статью о его жизни и творчестве: никакого моего злословия в этой статье, разумеется, не было и не могло быть – и тем не менее Облит не только запретил статью, но запретил издательству даже упоминать мое имя как редактора перевода. И только после моей апелляции в Москву, после того как Главлит, очевидно, внушил, что с такой наивной откровенностью действовать все же нельзя, – разрешено было печатать и статью, и даже мое криминальное имя.

Этот факт приведен здесь потому, что он показывает отношение ко мне в совершенно обнаженном, так сказать – химически чистом виде. Из обширной коллекции я приведу здесь еще один факт, связанный уже не со случайной статьей, а с пьесой большого масштаба, над которой я работал почти три года. Я был уверен, что эта моя пьеса – трагедия «Атилла» – заставит, наконец, замолчать тех, кому угодно было делать из меня какого-то мракобеса. Для такой уверенности я как будто имел все основания. Пьеса была прочитана на заседании художественного совета Ленинградского Большого драматического театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов – и вот выдержки из их отзывов (цитируются по протоколу заседания от 15-го мая 1928 г.).

Представитель фабрики им. Володарского: «Это – пьеса современного автора, трактующего тему классовой борьбы в древние века, созвучную современности... Идеологически вполне приемлема... Пьеса производит сильное впечатление и уничтожает упрек, брошенный современной драматургии, что она не дает хороших пьес...» Представитель завода им. Ленина, отмечая революционный характер пьесы, находит, что «пьеса по своей художественной ценности напоминает шекспировские произведения... Пьеса трагическая, чрезвычайно насыщена действием и будет очень увлекать зрителя».

Представитель Гидромеханического завода считает «все моменты в пьесе весьма сильными и захватывающими» и рекомендует приурочить ее постановку к юбилею театра.

Пусть насчет Шекспира товарищи рабочие хватили через край, но во всяком случае о той же пьесе М. Горький писал, что считает ее «высокоценной и литературно, и общественно» и что «героический тон пьесы и героический ее сюжет как нельзя более полезны для наших дней». Пьеса была принята к постановке театром, была разрешена Главреперткомом, а затем... Показана рабочему зрителю, давшему ей такую оценку? Нет: затем пьеса, уже наполовину срепетированная театром, уже объявленная на афишах, – была запрещена по настоянию ленинградского Облита.

Гибель моей трагедии «Атилла» была поистине трагедией для меня: после этого мне стала совершенно ясна бесполезность всяких попыток изменить мое положение, тем более что вскоре разыгралась известная история с моим романом «Мы» и «Красным деревом» Пильняка. Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка – и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году – был подан рядом с «Красным деревом» как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской литературе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочине-

ний в изд-ве «Федерация» было приостановлено. Всякое издательство, пытавшееся печатать мои работы, подвергалось за это немедленному обстрелу, что испытали на себе и «Федерация», и «Земля и фабрика», и особенно – «Изд-во писателей в Ленинграде». Это последнее изд-во еще целый год рисковало иметь меня в числе членов правления, оно осмеливалось использовать мой литературный опыт, поручая мне стилистическую правку произведений молодых писателей, в том числе и коммунистов. Весной этого года ленин. отд. РАППа добился выхода моего из правления и прекращения этой моей работы. «Литературная газета» с торжеством оповестила об этом, совершенно недвусмысленно добавляя: «...издательство надо сохранить, но не для Замятиных». Последняя дверь к читателю была для Замятина закрыта: смертный *приговор* этому автору был опубликован.

В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР – с правом для моей жены сопровождать меня. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на один год, выехать за границу – с тем чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, уже близко, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки – искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции.

Я знаю, мне очень нелегко будет за границей, потому что быть там в реакционном лагере я не могу – об этом достаточно говорит мое прошлое (принадлежность к РСДРП(б) в царское время, тогда же тюрьма, двукратная высылка, привлечение к суду во время войны за антимилитаристскую повесть). Я знаю, что если здесь в силу моего обыкновения писать по совести, а не по команде –

меня объявили правым, то там раньше или позже по той же причине меня, вероятно, объявят большевиком. Но даже при самых трудных условиях там я не буду приговорен к молчанию, там я буду в состоянии писать и печататься – хотя бы даже и не по-русски. Если обстоятельствами я буду приведен к невозможности (надеюсь, временной) быть русским писателем – может быть, мне удастся, как это удалось поляку Джозефу Конраду, стать на время английским, тем более, что по-русски об Англии я уже писал (сатирическая повесть «Островитяне» и др.), а писать по-английски мне немногим труднее, чем по-русски. Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы – для перевода на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне? И заодно я вспомню здесь еще другое имя: Б. Пильняка. Как и я, за последние годы он был главной мишенью для критики, амплуа черта он разделял со мной в полной мере, и для отдыха от этой травли ему разрешена поездка за границу; почему же то, что разрешено Пильняку, не может быть разрешено и мне?

Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьезных: чтобы избавиться от давней хронической болезни (колит) – мне нужно лечиться за границей; чтобы довести до сцены две моих пьесы, переведенных на английский и итальянский языки (пьесы «Блоха» и «Общество почетных звонарей», уже ставившихся в советских театрах), мне опять-таки нужно самому быть за границей; предполагаемая постановка этих пьес даст мне возможность не обременять Наркомфин просьбами о выдаче мне валюты. Все эти мотивы – налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу – является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь.

Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие обратившиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена.

Июнь. 1931 г.

IV
СКАЗКА ОБ ИВАНОВОЙ НОЧИ И МАРГАРИТКЕ

Были они прикованы к земле только на один шаг друг от друга. На одном конце маленькая Маргаритка, на другом – он, с голубыми лепестками – кусочки неба – и темной непонятной серединкой. Над ними по целым ночам задыхались от счастья соловьи, а они все томились и ждали – Иванова дня.

И он пришел – странный, пылающий, весь ждущий. Под солнцем жужжали мошки весь день Неслышно, легко, будто во сне, скользили вверх и вниз бабочки. Дремала глубокая зеленовато-черная заводь, такая спокойная, что старые корявые ветлы на берегу проснутся, глянут вниз – и видят все до последнего листка, до последнего галочьего гнезда.

А потом убегал шальной ветер, и опять не шевелились сонные ветлы, лился сверху дрожащий воздух и одурманивал горячим ядом, холодная заводь дремала. Только на самом жарком месте плясали над водой в огненном свете обезумевшие мошки, да внизу, в зеленой глубине, все ходило ходуном.

Луч добирался туда уже прохладным, и только вся вода кипела зелеными искорками и жемчужными пузырьками. Внизу на мягких мшистых камнях сидели белые, как снег, девушки с зелеными глазами, прозрачными и влекущими. Около суетились сотни серебряных рыбок и вылизывали прозрачными язычками их маленькие ноги с голубыми жилками и руки, и холодные, мраморные груди с нежными голубыми кончиками. Толкались ребятишки – утоп-

ленники – белые, как снег, с белыми выпученными глазами. С хохотом холодным кружились, щекотали девушек, убирали волосы фарфорово-белыми лилиями, чем-то темным натирали щеки – наводили голубой румянец. Повыше плясали, как бешеные, огромные черные раки и щелкали клешнями. То-то будет ночью потеха.

После полудня солнце совсем обезумело. В красном струящемся дурмане задыхалась земля, деревья и травы расплывались в глазах и, казалось, вот-вот сорвутся с места и ринутся куда-то.

А они ждали ночи. Только ведь одну ночь в году – Иванову ночь – деревья и травы двигаются с места на место. Ждали темноты, томились. Все пересохло внутри и дрожало. Земля порастрескалась.

Маргаритка, вся алая и знойная, стояла с кружащейся головой. Ни единой мысли: точно расплавленный горячий свет переливается внутри, обжигает и жадно ждет чего-то.

Изредка лишь ветерок донесет нежный и терпкий запах – его запах. Это он думает о ней и томится. И она забьется вся, тянется к нему маленькими пушистыми листочками: так безумно хочется прикоснуться к его длинным, сильным листьям.

А потом опять оба дремлют под зноем...

Уже качается солнце на краю огромной синей чаши, устало смотрит налитым кровью глазом. Равнодушные овцы подняли золотистую пыль на дороге. Щелкнул кнутом оборванный пастух. Небо задернулось тишиной. Девять раз прозвонили на белой колокольне, и опять она спряталась в желтых деревьях.

– Го-го-гом, – засмеялся в ответ леший в старом лесу, – звони, звони, медная ханжа, – сегодня на нашей улице праздник.

И еще усердней принялся скрести раковиной свои заросшие мохом вывернутые назад ноги.

Уже скатилось куда-то солнце с края синей чаши. Вырвался последний луч – тоненький-тоненький, пролетел над потемневшим лесом, над заводью со стоном – чуть слышным, так – будто задрожала золотая паутинка.

Спрятанный в кустах ветер стряхнулся, вспорхнул на верхушки спросонья. Старые липы ворчливо закачали

головами – ветер сжался робко, опять вниз, скорее к лиловым колокольчикам. Спрятался, ждал – полночи.

И все раскрыло глаза и притихло – ждало. Выползли лягушки и раскрыли рты – приготовились квакать. Нетерпеливо подняли листья и слушали деревья.

Маленькая Маргаритка трепетала лепестками и жадно раздувала их. А он – на шаг от нее – тянулся к ней всем телом и жарким ароматом дышал на нее, а голубые лепестки все потемнели.

Вот уже стало все кругом черным. Тихонько выползли светлячки – на бархатном небе и внизу – на росистой траве. Выползли, двигаются, мигают друг другу – вверху и внизу.

И когда выкатилась наверху последняя маленькая звездочка – только ее и ждали – вдруг все остановилось.

Зазвонили опять на колокольне.

– Раз – два – три...

Все умерло, жадно молчит.

– Бум – двенадцать.

Старый пономарь в рыжей шляпе еле успел посторониться. Мягким веселым роем облепили колокол, вмиг задушили. И вдруг все ринулось, зазвенело, вскрикнуло. Старые могильные деревья с гиком, размахивая сучьями и подпрыгивая, понеслись хороводом кругом колокольни. Повыше – хлопают огромные седые совиные крылья, а еще дальше скачут какие-то темные, растрепанные, вскидывая ногами, и зовут месяц.

В лесу все перепуталось, трещало и ревело. Неслись огромные черные стволы и кувыркались в воздухе, перебрасывались комьями земли. Приплясывали на сучьях пьяные филины с зелеными глазами. На длинных ходулях скакали через овраги красные веселые чертенята и звали месяц. Летели за ними и хихикали бледные болотные огоньки. Трещал и вертелся, как мельница, огненный цветок папоротника.

Всем лесом мчались к реке, к заводи – и с хохотом хором диким голосили – звали месяц.

А на поляне, совсем близко где-то от маленькой Маргаритки, зазвенели лиловые колокольчики – чуть слышно. А потом все громче. И уже вовсю выбивают огненный воздушный ганец. Вьются бабочки и поют что-то нежное

и острое – опутывают серебряными паутинками, пронизывают голубыми искорками. Кружатся, мигают звезды, поют, зовут месяц. Только одни светлячки молча снуют внизу с фонариками, пригнувшись, разыскивают своих любовниц.

Когда маленькая Маргаритка очнулась от гама и треска – только ахнула: мягко перебирая голенькими корнями, она уже двигалась в густой шумной толпе. Было так ново и хорошо, что закружилась голова. Огляделась кругом – его не видно. Даже заныло внутри и похолодало: неужели не найдет его. Вернуться опять, сидеть в этой противной, удобной земле, рваться... Не мило стало все кругом.

А он был уже около. Расталкивая толпу, догонял. И когда он – в первый раз – коснулся ее нежного тела своим сильным и жестким – она вдруг стала точно пустой, без мыслей. Нет никого кругом, ничего. Только он один – где-то около или в ней. И она точно летит далеко от земли...

Выполз, наконец, месяц – старый, седой. Глянул на всю веселую суматоху внизу и захохотал – будто кто загромыхал в огромном медном тазу. И внизу все захохотало, забесновалось, запрыгало. Ну, скорей же, дедушка, скорей – заждались. Улыбнулся месяц: что уж с ними сделать. Раскинул над ними частую серебряную сетку – чтобы сверху не было видно и пропитал все любовным зельем – нежным, зеленоватым. Только задремал – уж началось внизу. Там обнимались шелковистые травы, ласкали друг друга нежным зеленоватым телом. Там расставил ширму старый лопух, а за ним – целовались два пушистых одуванчика. Около желтого лошадиного черепа жгучий черный – водолюб, добродушный, как медведь, целовал ножки и крылышки у большой бархатной ночной бабочки. Она только вскрикивала и глазами показывала на проходящих.

А их была целая толпа. Все спешили к заводи, посмотреть на тамошние чудеса. Вот где было веселье.

Темная зеленая вода поднялась невысокой горкой и вся блестела непонятным огнем – точно он светился изнутри. С горки, как на салазках, скатывались один за другим водяные ребятишки – белые, как снег, с белыми выпученными глазами. Катились, кувыркались с визгом, шлепались в воду, брызги летели. Мелкие рыбы и покрупнее какие – вся водяная челядь – повылезли наверх,

толпились, серебрились, глазели на забавы, пересмеиваясь и подталкивая друг друга. А наверху, над водяной горой, веселились белые, как снег, девушки с зелеными глазами. Чуть шевеля руками, плавали в воздухе, как в воде. Лунные лучи любовно щурились на них, окутывали, щекотали. А они вытягивались, нежились, и их мраморные груди с голубыми кончиками блестели, как серебряные, и смех был, как серебряный. Какие помоложе – свили из лунных лучей тонкие, чуть видные, струны, распялили на ветлах, играли и пели. Опять они призывали кого-то и ждали. Голоса были прозрачные, холодные – как зеленая глубина, где они жили, – а потом вдруг прыгали и бились – как их любовь, – жадно ждавшая целый год этой ночи. Они ждали...

Маленькая Маргаритка была около старого дряхлого пня: он и в эту ночь остался на месте и спал. Она часто дышала и все шире раскрывала лепестки и вся изгибалась. А он – с непонятной темной серединкой и потемневшими темными лепестками все сильнее сжимал ее. Было и не жалко, что ей больно. Она жадно глотала боль – острую, сладкую – вместе с поцелуями. Без конца, точно обезумевшая, говорила только одно слово: милый – милый – милый.

Пахнули крыльями близко над ними летучие мыши. Потом поднялись кверху и потянулись к заводи – кувыркались – но пищали, хихикали. За ними шумной гурьбой помчались молодые чертенята. Были они все чуть-чуть выпившие – угостились у леших – все горячие, веселые, с огненными глазами.

Поглядеть издали – так казалось, несся в почерневшую тьму сверкающий рой огненных пчел. Красными искрами отразились в темной реке, всполошили тихую воду.

Белые девушки – точно проснулись. Загорелись глаза зеленым хрустальным светом, смех вспорхнул жемчужной пеной. Спохватились – под самым носом мелькнули вверх в хороводе. Ошалелые чертенята влетели вверх прямо на водяную гору и вытаращили глаза. А кругом грянул смех, затрещало, запрыгали брызги, лягушки надрывались – квакали, раки прыгали и стучали клешнями.

А они – уже сверху поют – белые девушки – легким туманом вьются, поют— зовут, звенят серебром – смеют-

ся. Скорее, скорее к нам. Наши поцелуи – как лед холодны и жгут, как лед. Наши груди трепещут и блестят на луне, как серебро, – посмотрите. Мы ждем, мы ждем...

Бедные чертенята только мечутся на зеленой водяной горе, глядишь – оскользнулся – и внизу, и подхватили уже пухлые ребятишки с вытаращенными белыми глазами, щекочут, стрекочут, визжат, не отбиться от них.

А белые девушки уже сплели из лунных лучей длинную дрожащую сетку, с хохотом бросили вниз: ловите, веселые чертенята, ползите. И смотрите.

Внизу подпрыгнули, вцепились тоненькими черными пальцами. С ужимками, как обезьяны, карабкаются, щиплются, пищат. Гнется, дрожит тонкая сетка, звенят хрустальные нити Ух, оборвалось. Провалились, запутались, бьются с визгом.

Корявые лешие на берегу, с вывернутыми ногами, бегают, схватились за бока. Старые ветлы согнулись, корчатся от хохота. Толстые лягушки держатся растопыренными лапами за свои белые животы, закрыли глаза, откинулись назад, закатываются.

А им, белым девушкам, с зелеными глазами – только и надо. Спустились, раскинулись в воздухе, плавают, смотрят улов. Медленно двигаются белые, как снег, руки и ноги, изгибается назад, дразнит нежное тело, губы раскрыты, горят лукавой улыбкой.

В сетке из лунных лучей, как обожженные, скачут, падают огненные глаза, все нетерпеливей рвутся, все больше запутываются.

А месяц, как огромный белый паук, ворочается вверху и распускает вниз свою седую паутину – пусть веселятся его внучки – ведь раз в году...

Они уже выбрали. Нежными руками рвут сетку – порезали пальцы. Каплет голубая кровь в темную воду, вспыхивает зеленым огнем. Пусть каплет, пусть каплет. Они уже ласкают, целуют, бесстыдно прижались всем телом. – Ведь одна только ночь в году.

Голубой румянец загорается ярче, вздымаются серебряные груди, в зеленых глазах от огненных вспыхнули красные огоньки.

Вот они уже лежат в воде и извиваются от страсти – кругом вся вода светится розовым. А на берегу все ме-

чется, хлопает в ладоши, беснуется. Трещат и сверкают повсюду огненные цветки папоротника. Надрываются, затянулись, воют лягушки. Красноватые лешие пляшут с какими-то безголовыми вокруг красного дымного костра. Трещит костер, все розовеет вода, на черном небе проступили какие-то пятна.

Э, да это заря.

Маленькая Маргаритка плотнее прижалась к милому: нет, нет, это неправда, еще далеко до зари. Они так мало были вместе... И опять покачиваются потихоньку с закрытыми глазами, пропитанные близостью друг друга. Не говорят ни слова – о чем говорить. Что им до гама и шума и до всей веселой кутерьмы. Они – двое теперь, двое – никого кругом.

Темно-багровой полосой наступает солнце на черную ночь. Нет, нет, она не уступит еще, еще рано. Мягкими комьями кидает она тьму, вверх и вниз прыгает огромными темными тенями, яростно бьется, кровавые клочья по всему небу разметала.

Бледные, как снег, девушки глянули на небо. Изнемогши от ласк, вспыхивают они новой страстью. И опять качаются на воде лед и огонь, и все розовеет вода, уже стала красной, как кровь. Рыбам страшно в кровавой воде – опустились на дно. Пухлых ребятишек с выпученными глазами уж позвали спать. Притихла заводь. Только раки-гуляки пляшут на побледневшей воде, щелкают клешнями.

Светлячки потушили фонарики. Закрывают глаза усталые звезды. Пахнет холодом внизу. Холодеет внутри у маленькой Маргаритки: как, уже конец? Возвращаться опять в землю? Одной? Побелели, задрожали тоненькие лепестки...

Забыться, уйти в него, умереть с ним...

Уступила, убегает бархатистая волшебная ночь, тянет кровавый свет за собой. Просочилось серое, будничное небо. Ленивым стадом бредут назад белые березки. Пошатываясь, трещат старые липы. Бледнеет, прижимается к земле веселый гул Ивановой ночи.

– Иди скорей, не целуй меня. Еще не поздно. Ты умрешь, если останешься со мной.

Это шепчет он маленькой Маргаритке, а сам все бе-

зумнее целует ее усталые лепестки, маленькие белые корни, нежные листики.

Маленькая Маргаритка шепчет:

– Я останусь.

Летучие мыши спешат, промелькнули неслышно. Колокольчики голубые грустно звенят, замирают – вернулись. Тают, бегут печальные тени.

Бледные девушки заломили руки, шепчут вслед кому-то голубыми губами, падают слезы холодным жемчугом на темное дно. Задремали корявые ветлы

– Еще успеем, еще не поздно.

Шепчет безумная маленькая Маргаритка:

– Я останусь.

Зазвенело красное солнце, прорезало жарким огнем.

Ухнула вглубь водяная гора, забурчала. С длинным прозрачным стоном пропали белые девушки в белом тумане. Сизый дымок от потухшего костра вьется на берегу.

– Крепче, крепче – милый, – шепчет Маргаритка.

На голубых и на алых лепестках сверкают на солнце маленькие, как слезы, капельки. Чадный ночной туман стелется в камышах. Издалека кричат гуси: ка-га, ка-га.

КОММЕНТАРИИ

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые: Вестник литературы, 1922. № 2-3. С. 15.

Печатается по тексту журнала.

С. 4. *...после чего покойный Измайлов решил печатно...* – Измайлов Александр Алексеевич (1873-1921) – литературный критик, прозаик, поэт, пародист; одним из первых высоко оценил прозу Замятина (см. его рецензию в «Русских Ведомостях», 1913, 28 июня).

Три новых тома («На куличках», «Островитяне» и «Сказки») – три года лежат в издательстве Гржебина... – Гржебин Зиновий Исаевич (1869-1929) – художник и издатель. В 1919 г. основал в Петрограде «Издательство З. И. Гржебина», в 1920 г. деятельность издательства была перенесена в Берлин. В январе 1920 г. при содействии А. М. Горького руководитель Госиздата В. В. Воровский заключил с Гржебиным договор о выпуске книг для России в Берлинском отделении издательства. Была намечена огромная программа издания русской классики и книг современных писателей. Однако в силу главным образом политических причин намеченное не было выполнено. 1 марта 1921 г. Госиздат фактически прервал отношения с Гржебиным, а затем тот подвергся нападкам со стороны монархических кругов эмиграции. В результате его предприятие потерпело крах. Тем не менее за время деятельности «Издательства З. И. Гржебина» им было выпущено несколько сот наименований книг, в том числе произведения Б. Пильняка, М. Булгакова, Ю. Слезкина, А. Ремизова, Б. Зайцева, Ф. Сологуба, Е. Замятина и других. Здесь были опубликованы очерки Замятина «Роберт Майер» (1921), «А. П. Чехов» (предисловие к т. 1 Избр. соч. А. П. Чехова; 1921), сборник повестей и рассказов «Островитяне» (т. 3, 1922, 1923), «Большим детям сказки» (1922), «На куличках» (т. 2, 1923) и др. Роман «Мы» в то время так и не вышел. Том 1 повестей и рассказов «Уездное» был выпущен издательством «Круг» в Петрограде и Москве в 1923 г.

БОЛЬШИМ ДЕТЯМ СКАЗКИ

Впервые как сборник: Берлин; Пб.; М.: Изд. З. И. Гржебина, 1922.

Печатается по этому изданию (за исключением оговоренных ниже).

В сборник вошли сказки, написанные Замятиным в 1915–1922 гг. и в большинстве своем ранее опубликованные в периодических изданиях:

БОГ

Впервые: Летопись. 1916. № 4. С. 46–47. Печатается по: Замятин Евг. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

ИВАНЫ

Впервые: Дело народа. 1918. 14 апреля.

АНГЕЛ ДОРМИДОН

Впервые: Новая жизнь. 1918. 4 мая (под заглавием «Дормидон»).
Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

ХРЯПАЛО

Впервые: Дело народа. 1917. 14 декабря.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Впервые: Дело народа. 1918. 21 апреля.
Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

ДЬЯЧОК

Впервые: Летопись. 1916. № 4. С. 48–49.
Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

АРАПЫ

Впервые: Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пб.: Изд. журн. «Летопись Дома литераторов», 1922. С. 43.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Впервые: Дело народа. 1917. 3 ноября.

ХАЛДЕЙ

Впервые: Дело народа. 1917. 11 ноября.

ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

Впервые: Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пб.: Изд. журн. «Летопись Дома литераторов», 1922. С. 41–42.

ДРЯНЬ-МАЛЬЧИШКА

Впервые: Летопись. 1916. № 4, под заглавием «Петька» (под этим же заглавием он опубликован и в сборнике «Большим детям сказки»).

Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

КАРТИНКИ

Впервые: альманах «Пряник осиротевшим детям». Пг., 1916. С. 72.

Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

БЯКА И КАКА

Впервые: сборник «Большим детям сказки».

ЧЕТВЕРГ

Впервые: Газета-протест Союза русских литераторов: Однодневная петроградская газета. 1917. 26 ноября.

ХЕРУВИМЫ

Впервые: Дело народа. 1917. 14 декабря.

ОГНЕННОЕ А

Впервые: Новая жизнь. 1918. 2 июня.

ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Впервые: Дело народа. 1917. 3 ноября (под заглавием «Фита»).

ВТОРАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Впервые: Дело народа. 1917. 11 ноября (под заглавием «Деяния Фиты»).

ТРЕТЬЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Впервые: Дело народа. 1917. 24 ноября (под заглавием «Маленький фельетон: деяния Фиты»).

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Впервые: Дело народа. 1917. 3 ноября.

Эти сказки в социал-демократической газете М. Горького «Новая жизнь» и лево-эсеровской газете В. Чернова «Дело народа» публиковались под псевдонимом Мих. Платонов. Содержание многих из них перекликается с фельетонами М. Горького того времени, составившими его книгу «Несвоевременные мысли».

Сказки стали не только злободневным отражением в притчевой форме многих реалий послеоктябрьского времени, но и продемонстрировали, насколько чутко и глубоко Замятин воспринимал недостатки и ошибки в деятельности новой власти. В действиях Фиты пародировался стиль действий советских вождей. Несомненно, что сказки явились первым подступом к роману «Мы».

Сказки «Бог», «Петр Петрович» и «Ангел Дормидон» были переведены на испанский язык в начале 1920-х гг.

С. 7. ...*свадьба – на Красную Горку*... – Красная Горка – весенний праздник у древних славян, впоследствии в православии так стало называться первое воскресенье после Пасхи (Фомино воскресенье).

С. 15. ...*нашелся тут человек, офеня*... – Офеня – в дореволюционной России бродячий торговец, продававший по деревням галантерею, книжки, мануфактуру и т. п.

С. 34. ...*эпоха истории Иловайского*... – Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) – русский историк и публицист; автор пятитомной «Истории России» (до реформ Петра Великого); в начальной и средней школе дореволюционной России учебники истории Иловайского были признаны официальными в течение многих десятилетий.

С. 38. ...*исполнение вышеизложенного поручить сарацинам*. – В средние века сарацинами называли арабов, мусульман и вообще всех нехристиан. Здесь содержится намек на то, что в органах советской власти в первые же месяцы заметную роль стали играть представители народов Средней Азии, китайцы, латыши, немцы, поляки и т. д.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РУСЬ

Впервые: Русь: Рус. типы Б. М. Кустодиева; Слово Евг. Замятина. Пб.: Аквилон, 1923.

Печатается по: Замятин Евг. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

В статье «Закулисы» Замятин писал: «Очень ясно помню, как возник рассказ «Русь». Это – один из примеров «искусственного оплодотворения», когда сперматозоид дан творчеством другого художника (чаще мы – андрогины). Таким художником был Б. М. Кустодиев. Издательство «Аквилон» прислало мне серию его «Русских типов» – с просьбой написать о них статью».

С. 53. *...в Москве на Трубе...* – Имеется в виду Трубная площадь в Москве на пересечении улицы Неглинной и Петровского бульвара.

КУНЫ

Впервые: Россия. 1923. № 5. С. 1–3.

Печатается по журнальной публикации.

Рассказ представляет собой фрагмент повести «Полуденница», несколько измененный автором для журнальной публикации.

РАССКАЗ О САМОМ ГЛАВНОМ

Впервые: Русский современник. 1924. Кн. 1. С. 11–39.

Печатается по: Собр. соч. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Этот рассказ – одно из наиболее значительных произведений середины 20-х годов XX в. – сразу же вызвал разноречивые отклики в прессе. Исай Лежнев в статье «Где же новая литература?» (Россия. 1924. № 1. С. 195–196) с восторгом писал о нем как о произведении, возвещающем поворот писателя к современности и к поискам новых форм выражения новой реальности и внутреннего мира человека. Замятин «нисколько не похож на профессиональных отражателей революционного быта, – утверждает критик. – Его, как и Горького, волнует внутренний мир человека, влечет в затаенную глубь подсознания. Здесь для него разыгрываются события космического значения. Смерть перестает быть бестворческим распадом, переходом в небытие. Смерть через любовь завязывает узел новой жизни. Любовь – вершина этического напряжения и – вместе – могущественный инстинкт к бессмертию. От смерти через любовь к рождению – вот путь и закон мира. Чтоб раскрыть его в символах, Замятин вводит в свое повествование фантастику. Необычайное по своеобразию сочетание реального и фантастического позволяет ему в художественных образах обнаружить переход от этического к космическому... Мы видим, как революция подсказывает писателю новые мотивы и как эти мотивы для художественного обнаружения требуют необычайно новой и дерзкой композиционной формы. Претворение революции в искусстве непроизвольно и бессознательно для самого художника порождает революцию в самом искусстве.

Очень принято у нас Замятина считать политически реакционным. Это, конечно, не так – по крайней мере, последнее время... Художник глубоко взволнован, потрясен революцией, ощутил дыхание века и стал этот век претворять в искусстве».

Другой критик в том же журнале указывает на сложность понимания смысла рассказа: «Где кончаются бунтующие мужики келбуйские и где начинаются их мужики орловские, где кончается для коммуниста Дорды его старый друг Куковеров и где начинается зачинщик мятежа, которого завтра же он, Дорда, расстреляет, где кончается любовное опьянение, принесенное в предсмертную ночь Куковерова любимой им девушкой Талей, и где начинается последнее, беспредельное отчаяние? Кто скажет, кто расплетет этот клубок? (Стрелец (М. Столяров). Письма о современной литературе // Россия. 1925. № 4. С. 292).

На усложненность рассказа указывал и М. Горький в письме М. Слонимскому 8 мая 1925 г.: «Рассказ, написанный по Эйнштейну, как, например, у Замятина, это уже не искусство, а попытки иллюстрировать некую философскую теорию – или гипотезу, – которую даже столь глубоко ученый человек, как Хвольсон, считает трудно усвояемой. И – не один Хвольсон, мне вот говорят, что в среде итальянских ученых Эйнштейна понимают лишь двое» (Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 388).

С теорией относительности Горький соотносит рассказ Замятина и в других письмах (в частности, к Федину – см. там же, с. 482).

Критик А. Лежнев отказывает рассказу вообще в каких-либо достоинствах: «Первая и основная – его сюжетная линия – подавление кулацкого восстания – разработана так, как мы уже привыкли видеть в аналогичных рассказах из гражданской войны Вс. Иванова, Лидина, Малышкина, Пильняка. Те же лица, те же толпы, те же положения. Все это как будто много раз уже видено, читано. Второй, «звездный», эпизод еще слабее и банальнее. Какая связь между кулацким восстанием, Дордой, Куковеровым, с одной стороны, и тощей звездной фантастикой, с другой, – остается неясным. Не то гибель звезды служит напоминанием о тщетности земной суеты: воюйте там, мол, или не воюйте, делайте или не делайте революции, – все равно ни к чему: конец один, – Уничтожение. Не то автор хочет сказать: да, все в конце концов гибнет, но каждый раз из обломков возникает новая жизнь. Жизнь неистребима. Это звучит как будто бодрее, но, в сущности, представляет чуть-чуть оптимистически окрашенный вариант той же экклезиастической мудрости: возвращается ветер на круги своя (Лежнев А. Среди журналов // Красная новь. 1924. № 4. С. 305–306).

Спустя несколько лет, когда против Замятина была развязана массированная атака, истолкование смысла его рассказа было

приспособлено к потребностям времени: «Рассказ о самом главном» недаром и название получил столь знаменательное. Самое главное для Замятина – внушить мысль, что победа коммунистов еще не окончательная победа, и если реально одержали верх красные, то моральный перевес несомненно на стороне их противников» (Ефремин А. На грани // Комсомольская правда. 1929. 11 декабря).

С. 66. *От ее старинного шелкового шашмура на голове...* – Шашмур (шамшура) (*местн.*) – высокий кокошник, иногда шитый золотом.

ИКС

Впервые: Новая Россия. 1926. № 2. С. 49–62.

Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Высоко оценил рассказ один из лучших критиков в Русском Зарубежье Георгий Адамович: «Замятин много умнее и много умелее не только Лидина, но и большинства других русских писателей. Он сух и насмешлив, лиризмом не грешит, волнения не обнаруживает... Кажется, все приемы и приемчики новейшей российской беллетристики продемонстрированы в «Иксе»: смена планов, перерыв повествования, отступления, вмешательство автора в речь героев и прочее... В антологии русской прозы, для периода 1920–1925 гг., мало что нашлось бы более характерного, чем этот рассказ» (Адамович Г. «Икс» Е. Замятина // Звено. 1926. 24 октября. № 195. С. 2).

С. 95. *...служащим прозодежду выдавать будут...* – Прозодежда – появившееся в начале 20-х годов XX в. в России слово для обозначения производственной одежды (образовано из сокращения этих двух слов).

С. 98. *...напечатал буллу к прежней своей пастве...* – Булла – в католицизме папское послание, составляемое по соглашению с советом кардиналов; объявляется к всеобщему сведению.

Набранная жирным цицеро... – Цицеро – крупный типографский шрифт, получивший свое название после того, как в 1467 г. в Риме вышли «Письма Цицерона», напечатанные именно таким шрифтом.

С. 101. *...не удалось изобразить... катценяммер.* – Катценяммер (нем. Katzenjammer) – похмелье.

Сцена – две конструктивных, по Мейерхольду, площадки... – Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – русский режиссер, народный артист Республики; реформатор театра; поиски новых форм острого, зрелищного, публицистического театра нередко сочетались у него с конструктивистскими тенденциями, с использованием одновременно нескольких сценических площадок, с вынесением действия в зрительный зал и т. п.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩУ ЧУРЫГИНУ

Впервые: Альманах «Круг». Кн. VI. М.: Изд. «Круг», 1927 (под названием «Слово принадлежит т. Чурыгину»).

Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Художник и писатель Юрий Анненков в своих воспоминаниях о Замятине, касаясь этого рассказа, пишет: «Замятин в этом рассказе отсутствует: рассказ написан прямой речью мужика Чурыгина и обнаруживает чрезвычайно тонкий слух Замятина к языку своего избранника – оратора. <...> Не думаю, чтобы Распутин был достоин рассказа Замятина, но сам по себе, особенно – филологически, рассказ великолепен» (Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. М., 1991. С. 253).

Поэт и критик Б. Филиппов видит в этом произведении замечательный пример сказовой манеры писателя: «такие «сказы», как, скажем, «Слово предоставляет товарищу Чурыгину» (1926), не могли бы родиться у проживающего всю жизнь на берегах Невы – и даже Москва-реки. Вся Расея, вздыбленная войной и революцией, хлынувшая из столиц в глухомань и из Богом забытых медвежьих углов в столицы, дана Замятиным так сжато-энергично, что иные его вещи – подлинная историческая живопись» (Филиппов Б. Замятин в своих прозаических миниатюрах // Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен, 1986. С. 6).

С. 114. *...состоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч...* – Эта фраза и весь последующий текст четко указывает на время действия – последний год царствования Романовых. Здесь речь идет о Григории Ефимовиче Распутине (Новых) (1872–1916) – фаворите Николая II и его жены Александры Федоровны. Крестьянин Тобольской губернии, он в качестве провидца и исцелителя приобрел неограниченное влияние на царскую семью и ее окружение. Вмешиваясь в государственные дела, он зачастую сам был игрушкой в руках представителей крупного капитала. В народе его порой расценивали как своего защитника.

Замятин в ряде своих выступлений отмечал, что его рассказ имеет четко определенную привязку к историческим событиям. Однако в развязанной против писателя кампании его обвиняли в том, что он оплевывает идеалы Октябрьской революции (на самом деле действие в рассказе происходит перед Февральской революцией и вскоре после нее).

С. 115. *...что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство...* – Имеется в виду убийство Распутина, осуществленное группой заговорщиков (крупным помещиком, депутатом Думы В. М. Пуришкевичем, князем Ф. Ф. Юсуповым-Сумароковым-Эльстоном, великим князем Дмитрием Павловичем,

поручиком А. С. Сухотиным и военным врачом С. С. Лазавертом) в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г.

С. 116. *...у нас в Питере происходит торжество революции со знаменами...* – Имеется в виду Февральская революция в России, происшедшая 23–27 февраля (8–12 марта) 1917 года.

ЁЛА

Впервые: Писатели Крыму: Лит. альм. М., 1928. С. 9–34.

Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929. С. 87–118.

В эссе «Закулисы» Замятин писал: «Все сложности, через которые я прошел, оказывается, были для того, чтобы прийти к простоте («Ёла», «Наводнение»). Простота формы – законна для нашей эпохи, право на эту простоту нужно заработать. Иная простота – хуже воровства, в ней есть неуважение к читателю: «Чего тратить время, мудрить, – слопают и так».

ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ДРАМА

Впервые: Гул земли: Сб. Л.: Красная газета, 1928. С. 25-26.

Печатается по данной публикации.

МУЧЕНИКИ НАУКИ

Впервые: Новый журнал. 1962. № 67.

Печатается по: Литературная учеба. 1988. № 5. С. 121–126 (Публикация и подготовка текста А. Ю. Галушкина).

В настоящем издании печатается текст, опубликованный А. Галушкиным по беловому автографу, датированному ноябрем-декабрем 1928 г. (рукописный отдел ИМЛИ, ф. 47, оп. 1, ед. хр. 101).

С. 144. *...все они перечислены в известной книге...* – Имеется в виду книга французского инженера и популяризатора науки Гастона Тиссандье (1843–1899) «Мученики науки», вышедшая в Петербурге в 1901 г. пятым изданием.

...о знаменитой француженке г-же Кюри... – Имеется в виду физик и химик Мария Склодовская-Кюри (1867–1934), обнаружившая радиоактивность тория (1898) и открывшая в том же году полоний и радий (вместе с мужем П. Кюри); ввела термин «радиоактивность»; лауреат Нобелевской премии (1903, 1911).

С. 145. *...геликонным голосом кричит...* – Здесь, очевидно, имеется в виду зычный голос, поскольку геликон – медный музыкальный инструмент, родственный трубе (используется в основном в духовых оркестрах).

С. 145. *Согласно учению Макса Штирнера... его собственностью был весь мир...* – Макс Штирнер (наст. имя Каспар Шмидт; 1806–1856) – немецкий философ; в своей книге «Единственный и его собственность» (1845) развил систему анархизма. Согласно его учению существует только «Я», эгоист, а весь мир – его собственность.

С. 151. *...как привязанный к дереву мученик Себастиан...* – Себастиан – католический святой; при римском императоре Диоклетиане был начальником преторианцев (императорской гвардии); после принятия христианства в 288 г. был казнен.

...в ресторане Нарпита... – Нарпит (сокращение от «народного питания») – так называлась система общественного питания с начала 20-х годов XX в. в Советской России.

С. 152. *...держал выпускные экзамены 2-й ступени...* – На основании «Положения о Единой трудовой школе» с конца 1918 года в Советской России школа состояла из двух ступеней: 1-я – 5 лет (дети 8–13-летнего возраста) и 2-я – 4 года (дети 13–17-летнего возраста). Такая система просуществовала более десяти лет и впоследствии была преобразована в начальную семилетнюю и среднюю школу.

...это было вейнингеровское «М»... – Вейнингер Отто (1880–1903) – австрийский философ и психиатр, автор книги «Пол и характер»; покончил с собой в день выхода книги в свет. Вейнингер резко противопоставлял мужское и женское начало в человеке, утверждал о их враждебности, антагонизме.

С. 156. *...Мишина голова была как голова Крестителя на блюде.* – Имеется в виду эпизод из гл. 6 Евангелия от Марка, где рассказывается о том, как по указанию царя Ирода заключенному в темницу Иоанну Крестителю отсекли голову и принесли ее на блюде во время пиршества (Мрк. 6, 21–28).

НАВОДНЕНИЕ

Впервые: Земля и фабрика. 1929. № 4. С. 217–250.

Печатается по: Наводнение. Л.: Изд-во писателей, 1930.

Последнее крупное произведение, опубликованное Замятиным до отъезда за границу. «...Интегральный образ наводнения, – писал автор в эссе «Закулисы», – я попытался провести через рассказ о двух планах, реальное петербургское наводнение отражено в наводнении душевном – в их общее русло вливаются все основные образы рассказа».

ЧАСЫ

Впервые по-французски: La montze // Les nouvelles litteraizes. 1935. № 641. 26 janv.

Впервые на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж: Дом книги, 1939. С. 94–104.

Печатается по данному изданию.

ЛЕВ

Впервые по-французски: Le lion // Paris soir. 1935. № 12.

Впервые на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж: Дом книги, 1939. С. 105–111.

Печатается по данному изданию.

ВСТРЕЧА

Впервые по-французски: Rencontre // Vendredi. 1936. № 29. 22 mai.

Впервые: на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж: Дом книги, 1939. С. 117–123.

Печатается по данному изданию.

ВИДЕНИЕ

Впервые: Мосты. Мюнхен, 1962. № 9. С. 17–20.

Печатается по данному изданию.

РОМАНЫ

МЫ

Впервые в английском переводе: We. New York: Dutton, 1924.

Впервые по-русски (в сокращении): Воля России. Прага, 1927. № 2–4.

Впервые по-русски полностью: Замятин Е. Мы. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.

Печатается по этому изданию.

Согласно неоднократным сообщениям самого Замятина роман был закончен в 1920 г. Однако по свидетельству Ю. Анненкова писатель летом 1921 г. продолжал работу над этим произведением. Впрочем, это могла быть и ошибка памяти.

В ноябре—декабре 1921 г. журнал «Печать и революция» (№ 3. С. 301) анонсировал публикацию романа «Мы» в пятом номере журнала «Записки мечтателей». Однако он не был напечатан.

Издательство Гржебина обещало выпустить роман отдельной книгой в 1922 г., но она так и не вышла.

С рукописью этого произведения были знакомы многие известные писатели и критики. Сообщения о содержании романа появились в печати задолго до его публикации. В берлинском журнале «Русская книга» в сентябре 1921 г. содержалась

информация о том, что Замятин «написал роман "Мы", который изображает коммунистическое общество восемьсот лет спустя».

На родине появлялись многочисленные рецензии на неопубликованный роман, в основном отрицательные. И это несмотря на то, что его принимали с интересом и симпатией на устных читках многочисленные слушатели.

Вот лишь несколько характерных примеров: «"Мы" Замятина – памфлет против социализма» (Авербах Л. Красная газета. Веч. вып. 1929. 15 окт.); «Роман "Мы" – пасквиль на коммунизм и клевета на советский строй» (Ефремин А. Красная новь. 1930. № 1. С. 232–233); «Роман «Мы» – низкий пасквиль на социалистическое будущее» (Лунин Э. Б. Лит. энциклопедия. Т. 4. М., 1930. С. 309). Неоднозначно оценивает роман А. К. Воронский: «Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму. Недаром он перелицевал своих «Островитян» и перенес оттуда в роман главнейшие черты Лондона и Джесмонда и не только это, но и фабулу. Иногда это доходит до мелочей... С художественной стороны роман прекрасен. Замятин достиг здесь полной зрелости – тем хуже, ибо все это пошло на служение злому делу» (Воронский А. Искусство видеть мир. С. 120–121).

Взвешенно оценивал роман Юрий Тынянов: «...сам стиль Замятина вел его к фантастике. И естественно, что фантастика Замятина ведет его к сатирической утопии: в утопических "Мы" – все замкнуто, расчислено, взвешено, линейно. Вещи приподняты на строго вычисленную высоту. Кристаллический аккуратный мир, обведенный зеленой стеной, обведенные серыми линиями юниф (uniform) люди и сломленные кристаллики их речей – это реализация замятинского орнамента, замятинских "боковых" слов. Инерция стиля вызвала фантастику. Поэтому она убедительна до физиологического ощущения... "Мы" – это удача» (Русский современник. 1924. № 1. С. 297–298).

Сам Замятин писал в автобиографии 1922 года: «...роман "Мы" – самая шуточная и самая серьезная вещь».

Поскольку издать роман на родине было невозможно, Замятин не возражал против его выпуска на иностранных языках. После выхода английского перевода роман при посредничестве известного лингвиста Р. Якобсона был опубликован на чешском языке (1927), а затем благодаря содействию Ильи Эренбурга – на французском (1929).

Замятин отрицал свою причастность к сокращенной публикации романа на русском языке в эмигрантском журнале «Воля России», но поскольку экземпляр рукописи находился в Праге, его, очевидно, нетрудно было получить редакции журнала.

Роман Замятина несомненно оказал влияние на более поздние антиутопии на Западе, в том числе на роман «1984» Дж. Оруэлла (1948). Некоторое сходство можно найти в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932). Сопоставляя книги Хаксли и Замятина, Оруэлл отдает предпочтение роману «Мы»: «...Интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма – жертвенности, жестокости как самоцели, обожания Вождя, наделенного божественным чертами, – ставит книгу Замятина выше книги Хаксли» (Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 308).

Роман Замятина, конечно же, направлен против тоталитаризма, однако его значение значительно шире, чем толкования в СССР и на Западе. Он направлен против любого порабощения личности государством, против любого обезличивания, нивелировки человеческого существа, низведения его лишь до функции при любом общественном устройстве, против любого единомыслия и единодушия, ибо они в конечном счете приводят к остановке движения, к смерти.

Несомненно, в романе «Мы» Замятин провидел многие черты реального социализма: упорное стремление навязать единомыслие каждому члену общества, убедить все общество, что счастье может исходить из единого центра, от вождя, от Благодетеля, и что это счастье нужно распространять по всему земному шару и за его пределы словом и делом, то есть при помощи пропаганды и силы, твердую уверенность, что страной и людьми можно управлять при помощи указов и предписаний (это Замятин высмеял еще в сказках о Фите)...

Но такова уж и в самом деле сила слова, что оно преодолевает десятилетия и входит острым жалом в современность.

Вот фрагмент из статьи, напечатанной в Государственной газете, которая приводится в самом начале романа «Мы» (ее авторы обращаются к гражданам Единого Государства): «Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, – наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия – мы испытаем слово».

Не правда ли, как будто написано о бурной жизни конца XX – начала XXI века? Достаточно вспомнить, как весь Советский Союз убеждали, что всеобщее счастье – в рыночной экономике, во всеобщей свободе. А когда песни и пляски шоуменов не сработали, в ход пошли танки. Это у нас.

А США решили уже весь мир осчастливить демократией, для чего сначала распространяются фильмы, песни, пляски, листовки, а потом летят ракеты, бомбы, идут танки.

А если и это не помогает, то в ход пускаются другие силы – подкуп, операции по промыванию мозгов при помощи интернета и других новейших технических средств.

Замятин этого еще не мог предвидеть. Он предполагал, что единомыслия можно добиться лишь при помощи хирургической операции.

Между тем узкий смысл, который вкладывали в роман «Мы» противники всяческого социализма и коммунизма, сам Замятин отвергал. «Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства – *все равно какого* (курсив наш. – *Сост.*)», – говорил Замятин в интервью Фредерику Лефевру в 1932 году.

Сегодня, как и восемьдесят лет назад, роман Замятина актуален, он тревожит и будоражит, когда мы наблюдаем всемирную интернетизацию, глобализацию, американизацию.

В нашей стране впервые полностью роман был напечатан в журнале «Знамя» в 1988 г. (№ 4–5). Впоследствии он неоднократно выходил в сборниках произведений Замятина.

БИЧ БОЖИЙ

Впервые: Бич Божий: Роман. Париж: Дом книги, 1939.

Печатается по данной публикации с исправлениями, внесенными автором в текст рукописи.

Роман был задуман Замятиным в середине 20-х г. XX в. В письме А. Ярмолинскому 11 марта 1925 г. он писал: «...буду продолжать начатую еще осенью большую повесть. А может случиться – переверну этот материал в пьесу – в трагедию. Тема меня очень занимает: столкновение гибнущей, одряхлевшей римской цивилизации и варварского, молодого Востока – гуннов» (Мальметада Дж., Флейшман Л. Из биографии Замятина. Stanford Slavic Studies, 1987. Vol. 1. P. 118).

И действительно, первоначально Замятин пишет драму «Атилла» (в отличие от принятого «Аттила» Замятин именно так называет вождя гуннов). Для этого, как он пишет в эссе «Закулисы», «потребовалось уже около двух лет, пришлось прочитать десятки русских, французских, английских томов, дать три текстовых варианта. Совершенно независимо от того, что пьеса до сцены так и не дошла – все это оказалось только подготовительной работой к роману».

Отъезд за границу и вынужденная работа для заработка – написание сценариев, попытки постановки «Блохи» на сценах Европы – не позволили завершить роман, хотя Замятин не прекращал им заниматься вплоть до последних своих дней. Об

этом; в частности, свидетельствовал автор вступительной статьи к первому изданию романа «Бич Божий» известный критик Марк Слоним: «Еще летом 1936 года он говорил о том, как отчетливо представляется ему вторая часть «Атиллы» и как быстро он ее напишет. Многочисленные заметки, отрывки, варианты и сцены позволяют судить о глубине и размахе этого замысла: тут и картина Константинополя, и описание Рима и Византии, и изображение гуннов и славян, и психологические портреты императоров, полководцев и поэтов» (Замятин. Бич Божий. С. 10).

В блокнотах Замятина в записях, сделанных в 1936 году, мы находим материалы к роману, сведения о эпохе Аттилы (например, о Симеоне Столпнике), фразы с прямым указанием: «К Атилле» («*Время шло*, как *растет трава*, как течет вода»)...

В парижском архиве Е. Замятина хранятся подготовительные материалы к роману, из которых следует, что задуманное им историческое повествование «Скифы» должно было состоять из четырех частей: I. Империя и он. II. Дневник историка Приска. III. Бич Божий. IV. Судьба. Венец.

Хотя замысел и остался невоплощенным, даже в незаконченной первой части Замятин предстает как яркий исторический романист. Тема гуннов, тема столкновения цивилизации и варварства, перелома эпох интересовала Замятина не сама по себе, а поскольку он видел в ней связь с современностью: «Западная культура, поднявшаяся до таких вершин, где она уже попадает в безвоздушное пространство цивилизации, – и новая, буйная, дикая сила, идущая с Востока, через наши, скифские, степи. Вот тема, которая меня сейчас занимает, тема наша, сегодняшняя – и тема, которую я слышу в очень как будто далекой от нас эпохе» (Читатель и писатель. 1928. № 6. С. 4).

После выхода романа в парижской прессе появились рецензии, в которых незавершенное произведение оценивалось весьма высоко. Михаил Осоргин отмечал, что это «совершенно новый для Замятина литературный жанр героического повествования. Образ молодого Атиллы, звереныша, будущего воина, хитрого тактика и политика новой, варварски здоровой формации, Замятину удался... самым жизненным в своеобразной замятинской повествовательной манере, дающей историческому романисту возможность оставаться современным сатириком» (Последние новости. 1939. 18 мая). Бронислав Сосинский видел в «Биче Божьем» «начало романа, трамплин, отчетливо говорящий о возможности головокружительного прыжка в грандиозную эпопею, о возможности, навсегда нами со смертью писателя потерянной» (Русские записки. 1939. № 19. С. 201–202).

В Советском Союзе роман был впервые напечатан в журнале «Человек и природа» (1988. № 10–12 / Публикация А. Стрижева).

После этого неоднократно включался в сборники произведений Замятина.

За последней фразой романа в настоящем издании в рукописи следовала фраза: «Ибо наши руки уже подобны потерявшим крепость рукам стариков, и нашу судьбу держат в своих руках другие народы», вычеркнутая Замятиным. Однако она была напечатана и в первом издании и в последующих переизданиях романа.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

РОБЕРТ МАЙЕР

Впервые: Замятин Е. Роберт Майер. Берлин; Пб.: Гржебин, 1921.

Печатается по этому изданию.

Очерк был выпущен отдельной брошюрой.

Замятина привлекла фигура немецкого естествоиспытателя и врача Юлиуса Роберта Майера (1814–1878), который первым сформулировал закон сохранения энергии (эквивалентности механической работы и теплоты) и теоретически рассчитал механический эквивалент теплоты (1842), поскольку немецкий ученый был близок ему по духу и шел в своих работах по линии наибольшего сопротивления. Работы Майера и его приоритет долгое время не признавались.

Очерк впервые публикуется в России.

А. П. ЧЕХОВ

Впервые: Чехов А. П. Избр. соч. Берлин; Пб.: Гржебин, 1921. Т. 1. С. V–XXIII.

Печатается по данному изданию.

Очерк является вступительной статьей к изданию избранных сочинений Чехова, предпринятому издательством З. Гржебина. Был написан по просьбе издателя, с которым Замятин многократно общался в период работы во «Всемирной литературе».

В России публикуется впервые.

РИЧАРД БРИНСЛИ ШЕРИДАН

Впервые: Шеридан Р. Школа злословия. М.; Л.: Academia, 1931. С.18–29.

Печатается по этому изданию.

Очерк в качестве предисловия был написан к изданию комедии Шеридана. Однако долгое время его выход в свет был под вопросом, поскольку имя Замятина фактически изымалось из литературы. Но книга все же была напечатана и оказалась последней прижизненной публикацией произведения Замятина на

родине (позже в печати появилось лишь письмо автора в «Литературную газету» – 17 октября 1932 г.).

Впоследствии данный очерк был включен в сборник «Лица» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955), куда вошли литературные портреты и воспоминания Замятина.

После 1988 г. очерк неоднократно входил в состав сборников произведений Замятина, изданных в Советском Союзе, а затем – в России.

ШУТЕЙНОЕ

В раздел включены различные тексты Замятина (некоторые написаны в соавторстве), предназначенные главным образом не для печати, а для друзей и знакомых.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ М. ГОРЬКОГО

Впервые: Чукоккала. М., 1979. С. 198–199.

Печатается по этому изданию.

«Чукоккала» – альбом Корнея Чуковского, в котором на протяжении многих лет его друзья и гости оставляли свои шуточные стихи и заметки.

К данной записи Чуковский дал следующий комментарий:

«...Хотя Горький родился в 1868 году, датой его рождения в ту пору считали 1869 год.

Поэтому его 50-летний юбилей мы, работники «Всемирной литературы», собирались отпраздновать в 1919 году. К этой дате решено было выпустить сборник, посвященный юбиляру. Редактирование сборника поручили А. А. Блоку и мне. <...> Молодому писателю Михаилу Слонимскому поручили собирать материалы для этого сборника. Сборник был частично готов, когда Горький заявил нам, что по зрелом размышлении он считает выход сборника несвоевременным.

Чествование Горького в нашем тесном кругу состоялось 30 марта 1919 года. Бокалы для шампанского были налиты чаем (без сахару), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиной с пятак. <...>

Написано по поводу речей Ф. Д. Батюшкова и директора типографии «Копейка», где печатались книги «Всемирной литературы».

Подробнее сведения об упомянутых в комментарии Чуковского лицах даны в комментарии к «Краткой истории “Всемирной литературы” от основания и до сего дня».

БУРИМЕ

Впервые: Чукоккала. М., 1979. С. 312–313.

Печатается по данной публикации.

Чуковский так прокомментировал это буриме Замятина: «...Летом 1923 года мы с Евгением Замятиным жили в Коктебеле в доме Максимилиана Волошина. <...> Следующей весной Волошин приехал в Ленинград. Друзья, гостившие у него в Коктебеле, собрались 2 мая 1924 года в квартире поэтессы Марии Шкапской и, чествуя поэта, занялись сочинением буриме. Буриме – стихотворение с заранее заданными рифмами. Нам были предложены Волошиным такие рифмы: Коктебель, берегу (существительное), скорбели, берегу (глагол), Крыма, клякс (или загс), Фрима (жена Антона Шварца), Макс. <...> Когда мы прочитали вслух написанные нами буриме, первый приз получил Евгений Замятин. Его буриме сохранилось в Чукоккале...»

ПАНОПТИКУМ

ТЕТРАДЬ ПРИМЕЧАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОНУФРИЯ ЗУЕВА

Впервые: Русский современник. 1924. № 1, 2, 4.

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 4. Мюнхен, 1986. С. 77–92.

Этот фельетон написан при участии Корнея Чуковского и высмеивает порой зло, порой добродушно подмечает всякого рода несуразицы в книгах авторов начала 20-х годов XX в.

Упоминаемый неоднократно П. Щеголев – историк и литературовед Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), с которым К. Чуковский и Замятин часто общались в начале 1920-х годов.

Сноски с пометкой *Ред.* принадлежат самим авторам.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» ОТ ОСНОВАНИЯ И ДО СЕГО ДНЯ

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен, 1986. С. 334–347 (Публикация В. Троицкого).

Ранее текст был напечатан в сб. «Память», кн. 5, с. 287–309.

В шуточной форме Замятин в этом сочинении передает историю одного из самых известных издательств, организованных после революции. Договор о создании «Всемирной литературы» был подписан наркомом просвещения РСФСР А. В. Луначарским и Горьким – представителем литературно-издательской группы (Горький, З. И. Гржебин, И. П. Ладыжников, А. Н. Тихонов) 4 сентября 1918 г.

В распоряжение издательства была передана типография газеты «Копейка». Горький стал заведующим издательством и комиссаром типографии.

Планы издательства были грандиозными. Только в первые три года намечался выпуск 800 томов основной серии и 2000 брошюр

народной серии (для массового читателя). А весной 1919 года планы разрослись до гигантских размеров. Было принято решение издать все шедевры не только западных, но и восточных литератур. Основная серия увеличилась до 1500 томов. Подсобная библиотека, организованная при издательстве, включала 70 тысяч книг. Была открыта школа переводчиков. На четырех языках вышли роскошные каталоги «Всемирной литературы», которые были разосланы в разные страны.

В качестве переводчиков и экспертов были привлечены самые известные ученые, поэты, критики, прозаики. Наряду с маститыми трудились и молодые талантливые литераторы.

Работа в издательстве не только позволила многим из них раскрыть новые грани своего таланта, но и просто-напросто выжить в трудные голодные и холодные годы после революции. По сути дела, здесь был собран весь цвет русской литературы того времени. Многие оставили о той поре воспоминания.

К сожалению, великим планам не суждено было осуществиться.

К концу 1920 года из сотен книг, переведенных, откомментированных, снабженных предисловиями, отредактированных (объемом более 6000 печ. листов), вышли в свет лишь 53 книги и брошюры общим объемом 476 печатных листов. А за весь 1921 год не вышло ни одной книги, хотя подготовленные рукописи продолжали поступать.

Планы оказались нереальными. Экономическое положение страны было тяжелым, еще шла гражданская война, был дефицит бумаги, нехватка продуктов питания, всеобщая нищета – все это не способствовало развитию книжного рынка. Но помимо веских экономических причин существовали и идеологические. Издательство постоянно конфликтовало с Госиздатом РСФСР, которому формально должно было подчиняться, из-за расхождений в оценке содержания и направленности ряда изданий. Отъезд Горького за границу осенью 1921 года усилил эту конфронтацию.

Некоторое оживление в деятельности издательства после введения нэпа все же его не спасло. В декабре 1924 года оно закрылось.

Замятин написал шуточную Историю издательства, поэтому не касался событий, по-настоящему трагических для него: в 1920 году умер один из активнейших сотрудников «Всемирной литературы» литературовед, критик, историк литературы Федор Дмитриевич Батюшков (1857–1920), а вслед за ним в августе 1921 года – А. А. Блок и в том же месяце – расстрелян Н. С. Гумилев.

В своей Истории Замятин упоминает многих лиц. Некоторые пояснения к ним посчитал нужным сообщить публикатор В. Троицкий. С сокращением приведем эти сведения.

Зиновий – Гржебин Зиновий Исаевич, **художник и издатель.**

Август Максим – Максим Горький, инициатор создания издательства. Благодаря дружеским связям с Лениным и другими вождями смог добиться для издательства и его сотрудников материальной поддержки государства. Отошел от руководства издательством задолго до своего отъезда за границу.

Корний – Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969) – к моменту создания издательства известный критик и переводчик, входил в Коллегию экспертов, ведал изданием англо-американской литературы.

Цезарь Тихон – Александр Николаевич Тихонов (1880–1956), по образованию горный инженер, друг Горького, с 1915 г. его помощник в издательских делах (редактор-издатель журнала «Летопись» и газеты «Новая жизнь», владелец издательства «Парус», заведующий редакцией «Всемирной литературы»). После закрытия издательства был редактором альманаха «Круг», издательств «Федерация» и «Academia», серий «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др.

Браун – Федор Александрович Браун (1862–1942), профессор Петербургского университета с 1900 г., филолог-германист. В Коллегии экспертов руководил немецким отделом (вместе с А. Блоком). В 1920 г. выехал в командировку в Германию. Оставшись там, с 1923 г. стал профессором Лейпцигского университета.

Левин-сон, сын Левия – Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933) – критик, знаток балета. Вместе с Н. Гумилевым вел отдел французской литературы. В начале 1921 г. уехал за границу. Порвал с Советской Россией и резко нападал на Горького.

«Зачатый под виноградной лозой» – Григорий Леонидович Лозинский (1889-1942) – переводчик, литературовед; ведал испанской и португальской литературой в Коллегии экспертов. После отъезда за границу его место в коллегии занял брат Михаил Леонидович Лозинский, поэт и переводчик.

Сильверсван, он же *Серебряный Лебедь* – Борис Павлович Сильверсван (1883–1934), филолог-скандинавист, член Коллегии экспертов не ранее, чем с начала сентября 1921 г. К этому времени относится его знакомство с будущей женой, секретарем издательства Евдокией Петровной Струковой (*Прекрасная Евдокия*).

Василий – Василий Михайлович Алексеев (1881–1951), филолог-китаист, профессор Петроградского университета с 1918 г., член-корр. РАН с 1922, академик с 1929 г. Член Восточной коллегии экспертов с 1919 г.

Иоаким бен-Леви – Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер, 1863–1926) – критик, литературовед, искусствовед, страстный балетоман, руководитель Школы классического балета («Хореографического техникума»). В Коллегии экспертов вел отдел итальянской литературы. Псевдоним намекает на то, что Волынский в своих статьях и докладах часто преувеличивал роль иудаизма в мировой культуре.

Брауд – Евгений Максимович Браудо (1882–1939), критик, музыковед. Вошел в Коллегию экспертов во второй половине 1919 г. После отъезда Ф. А. Брауна и смерти А. А. Блока руководил отделом немецкой литературы. Автор многих вступительных статей к книгам, выпускаемым «Всемирной литературой» (бытовала даже шутка о специальном приборе для написания вступительных статей – Браудографе).

Эвгенес – сам автор, Евгений Иванович Замятин, член Коллегии экспертов, руководил вместе с Чуковским изданием англо-американской литературы и литературной студией при издательстве.

Игнотус – Игнатий Юлианович Крачковский (1883–1951), арабист, член Восточной коллегии экспертов с апреля 1919 г. С 1921 г. академик РАН.

Лукуллов друг Павел, именуемый также Елисеем – Павел Елисеевич Щеголев, историк и пушкинист. В издательстве подрабатывал как редактор. В Историю попал благодаря своей солидной комплекции, являвшейся предметом постоянных шуток.

Пророк Божий Иона – Илья Ионович Ионов (Бернштейн; 1887–1942), старый большевик, руководивший издательским делом в Петрограде в первое десятилетие Советской власти. По характеристике Чуковского, «сварливый, бездарный и вздорный маньяк» (Чуковский К. Современники. М., 1967. С. 433); брат З. И. Лилиной – первой жены Зиновьева.

Фидея (верная) – Вера Александровна Сутугина-Кюнер (1892–1969), работала в издательстве с момента его основания, сначала техническим сотрудником (подсчитывала строчки для оплаты поэтических переводов), затем – после отъезда Е. П. Струковой – стала секретарем редакции. После закрытия «Всемирной литературы» была переведена в ГИЗ, где служила до 1931 г. В 1935 г. была выслана из Ленинграда. Жила в г. Данилове Ярославской области, затем в Куйбышеве и в Сенгилсе Ульяновской области. В Ленинград вернулась после 1956 г. Пробовала писать воспоминания об издательстве и о поэте В. А. Зоргенфрее, с которым была очень дружна, но не закончила эту работу. В 1960-х гг. она перепечатала сохранившиеся у нее образцы шуточной литературы издательства и один экземпляр подарила писательнице Р. Зерновой. От нее эти тексты попали к

публикатору. Возможно, при перепечатке были допущены опечатки, исправить которые не представляется возможным.

С. 526. *...Всемирная Литература возникла... в дни, когда перед силою железа склонились многие могущественные властители.* – Первое сообщение в печати о создании «Всемирной Литературы» появилось вскоре после объявления «красного террора».

...Влекомые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые мужи... – Говорится о наплыве в издательство желавших заработать переводами (ставки по тем временам значительные: 250 руб. («сиклей») за печатный лист перевода).

...Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писания стихов о прекрасных дамах... – Имеются в виду А. А. Блок и Н. С. Гумилев, активно сотрудничавшие в различных комиссиях и в составлении планов издательства.

Два корифея Дионисовых плясок... – Имеются в виду А. Л. Волынский и филолог-классик Ф. Ф. Зелинский (1859–1944), автор исследований о греческой литературе и античном театре («Дионисовы пляски»).

С. 527. *От синих благовонных дымов многие лишались сознания...* – Пародийно описывается празднование 50-летнего юбилея Горького 30 марта 1919 г.

И с ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пленен Август Максим. – Горький был увлечен грандиозными издательскими планами Гржебина, который собирался издать чуть ли не все написанное человечеством.

С. 528. *...о рожденных же под Скорпием так сказано в гороскопе Брюса...* – Далее дается пародия на гороскопы Брюсова календаря (Яков Вилимович Брюс; 1670–1753, один из сподвижников Петра I, составитель первого в России календаря с предсказаниями).

Пораженные этой болезнью мужи истекали словами... – Намек на частые многочасовые заседания Коллегии экспертов.

...никто не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб. – В 1920 г. издательство еще продолжало расплачиваться с сотрудниками «керенками», которые потеряли к тому времени всякую покупательную способность.

С. 529. *И, облобызав, отпустил его Тихон.* – Далее рисуется картина эмиграции первого состава Коллегии экспертов, бурно начавшаяся после заключения Советской Россией мирных договоров со странами Прибалтики. Большинство сотрудников выезжали по командировкам Наркомпроса и не возвращались. Однако Тихонов, ездивший за границу по делам издательства в конце 1921 г., вскоре вернулся в Петроград.

С. 531. *...стал этот муж проповедовать некий новый язык, соблазняя всех вместо Теккерей говорить Сакры...* – В. М.

Алексеев предложил новую транскрипцию английских слов, в результате чего многие имена известных писателей стали неузнаваемы.

...осадили... Серапионы... – Имеются в виду «Серапионовы братья», литературное содружество, ядром которого были участники литературной студии при издательстве.

С. 532. *...торгующие изгнали его из храмов, разнося звон бумажных сиклей...* – Здесь имеется в виду, что издательство вместо издания классиков перешло на выпуск новинок современной литературы, которые могли принести прибыль (возникла серия «Новости всемирной литературы», были выпущены книги Г. К. Честертона, Жюля Ромена и других популярных авторов).

Когда взираешь на плавные приседания танцующей девы... – Пародируется стиль статей и докладов А. Волынского.

Подкупив рабыню в Яслях Искусства... – Здесь имеется в виду «Дом Искусств», где находился Хореографический техникум, директором которого был Вознесенский.

С. 534. *И когда старейший в Совете... возгласил: «Кто за дьявола?..»* – Речь идет о переводе названия романа Э.-Т.-А. Гофмана «Die Elexiere des Teufels». В русском издании 1897 г. роман назывался «Эликсир Сатаны». Участники дискуссии пришли к выводу, что более точный перевод: «Эликсир дьявола». Однако книга в издательстве так и не вышла.

С. 535. *...похитивший вид цезаря Эвгенес.* – Во время командировки Тихонова в Москву Замятин замещал его на посту заведующего редакцией.

С. 537. *...И всадили его в темницу. ...Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным... богам?* – Имеются в виду политические сказки и некоторые рассказы Замятина, которые в немалой степени послужили поводом для его ареста 17 августа 1922 г. (освобожден он был 9 сентября). Рассматривался вопрос о его высылке за границу вместе с другими враждебно настроенными по отношению к советской власти деятелями искусства, литературы, науки. Однако на этот раз высылка была отложена.

С. 538. *Не внимая мольбам казнохранителя Котеллана...* – Имеется в виду управляющий делами издательства Самуил Борисович Каштелян.

С. 540. *И вот, по воле Божьей, кит проглотит тебя.* – Имеются в виду попытки руководителя Петроградского отделения ГИЗа И. И. Ионова включить «Всемирную Литературу» в состав своего издательства. Однако благодаря поддержке ряда академиков и А. В. Луначарского «Всемирной Литературе» на некоторое время удалось отстоять свою самостоятельность. Лишь в конце 1924 г., когда Ионов был назначен заведующим Госиздатом РСФСР, ему удалось осуществить свое намерение, и издательство было ликвидировано.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МЕСТКОМА ПОКОЙНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые: Анненков Ю. Евгений Замятин. Грани. 1962. № 51. С. 81.

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3 Мюнхен, 1986.

Текст воспроизводится по статье Юрия Анненкова «Евгений Замятин». Непосредственно перед текстом Анненков дает следующее пояснение: «Девятого декабря 1926 года в Москве в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда состоялась премьера незабываемой мейерхольдовской постановки «Ревизора» Гоголя, спектакль, который я увидел только в Париже, в театре Бати, в 1930 году. Гениальный режиссер перекроил «классическую» пьесу, ввел в нее новые элементы, а также – отрывки из гоголевских черновиков, изъятых Гоголем из окончательной редакции пьесы. Постановка Мейерхольда вызвала в советской прессе жестокую критику, обвинявшую Мейерхольда в реакционности и в «заторможении правильного освоения классического наследия».

Двадцать четвертого января 1927 года та же «фиговая ассоциация» устроила вечер чествования Мейерхольда, где ему было прочитано «Приветствие от месткома покойных писателей», из которого я даю здесь небольшую выдержку, и авторами которой были Евг. Замятин и Мих. Зощенко».

Приветствие связано не только с постановкой Мейерхольда, но и с некоторыми другими спектаклями по классическим произведениям драматургии, постановщики которых стремились приспособить канонические тексты к требованиям текущего момента.

Среди упомянутых в приветствии авторов у современников может вызвать недоумение лишь переделка названия пьесы А. С. Грибоедова. Однако в то время ассоциация возникала моментально. В 1926 году была поставлена пропагандистская пьеса Сергея Михайловича Третьякова (1892–1937) «Рычи, Китай!». Она прошла с большим успехом как в СССР, так и за рубежом (только в Германии за короткий срок она была сыграна более ста раз).

Названием «Рычи, Грибоедов» Зощенко и Замятин намекали на то, что именно так мог переименовать пьесу Грибоедова Третьяков, который работал в 1922–1926 гг. в Театре Вс. Мейерхольда, где занимался свободными сценическими переделками пьес Александра Островского.

Публикуемый текст является последней частью «Приветствия Мейерходльду от "ФИГИ" 24-1-1927», составленного от имени шуточной физико-биоцентрической Ассоциации ФИГА, существующей при ленинградском Доме Искусств зимой 1926/27 года. Полностью «Приветствие» по автографу Е. И. Замятина опубликовано А. Галушкиным в 1991 г. («Странник. 1991. № 1.

С. 28–29). В написании «Приветствия» принимали также участие С. Я. Маршак и Е. Л. Шварц.

Помимо публикуемого текста приведем еще некоторые приветствия:

5) От спичечной фабрики им. Демьяна Бедного: Мы, сознательные работники спичечного фронта, клеймим позором нашего зарвавшегося шефа и <его прихвостней. Поэтому мы> всей грудью требуем, чтобы наша дорогая фабрика не Демьяна Бедного, а наоборот, нашего дорогого Эмильича. <Да здравствуют спички имени Мейерхольда все как один.> Руки прочь от нашего дорогого нового шефа...

7) От Роальда Амундсена: Дорогой товарищ по северным открытиям! Охотно предоставляю Вам для вашей одинокой лабораторной работы на выбор площадку одного из открытых мною полюсов. Лети, лети на новые пути.

Амундсен.

8) От Москвошвея и Ленинградодежды: Шейте разумное, доброе, вечное!

ЭПИТАФИИ 1929 ГОДА

Впервые: Russian Literature Triqmarterly. Ann Arbor. 1974. Winter. № 7. P. 427–429 (Публикация Гари Керна).

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен, 1986. С. 354–355.

Публикатор Гари Керн сообщает, что эти эпитафии сочинены автором к восьмой годовщине со дня основания литературного объединения «Серапионовы братья». Эпитафии посвящены членам объединения.

Федин Константин Александрович (1892–1977) – прозаик, автор многих рассказов, повестей, романов; лауреат Сталинской премии (1948). В эпитафии идет речь о его романе «Братья» (1927–1928), содержащем элементы экспериментирования.

Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – прозаик, лучшие его произведения написаны в 20-е годы XX в. О каком Совете идет речь в эпитафии, не установлено.

Зощенко Михаил Михайлович (1894–1956) – прозаик, драматург, переводчик. В эпитафии содержится намек на его участие в Первой мировой войне и на то, что одним из основных журналов, где печатались его рассказы, был ленинградский юмористический журнал «Пушка».

Никитин Николай Николаевич (1895–1963) – прозаик, очеркист, драматург. Лауреат Сталинской премии (1951). В эпитафии содержится намек и на то, что в 1923 г. он работал в советском торговом представительстве в Англии, и на сильную

политизированность его очерковой книги «Сейчас на Западе» (1924). Замятин в своей сатирической рецензии на этот сборник назвал Никитина «полпредом» (Русский современник. 1924. № 2).

Груздев Илья Александрович (1892–1960) – литературовед; автор многих книг и статей о М. Горьком.

Тихонов Николай Семенович (1896–1979) – поэт, прозаик. В эпитафии содержится намек и на то, что он участвовал в Первой мировой войне в гусарских частях, и на его рассказ «Рискованный человек» (1927).

Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969) – поэтесса. В эпитафии обыгрывается тот факт, что она – единственная женщина среди «Серапионовых братьев», а имя позволило соотнести ее с одной из душ в реестре Собакевича («Мертвые души». Т. 1. Гл. 7), куда Елизавет Воробей занесена как душа мужского пола.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ХЕРУВИМЫ

Впервые: Дело народа. 1917. 14 декабря.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. Мюнхен, 1986. С. 361–362.

Напечатанная в эсеровской газете во времена отсутствия цензуры в России, сказка в резкой форме выражала протест против хаоса и беззакония, царившего в стране в последние месяцы правления Временного правительства и в первые месяцы после установления советской власти.

II. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Впервые: Литературная газета. 1929. 7 октября.

Печатается по данной публикации.

Письмо Замятина вызвано массированной травлей писателя, организованной со стороны многих критиков и большинства членов Всероссийского Союза писателей.

Письмо помогает лучше понять ту обстановку, в которой в последние годы жизни на родине приходилось работать Замятину.

Публикация письма в «Литературной газете» сопровождалась следующим примечанием:

«ОТ РЕДАКЦИИ

1. Е. Замятин написал возмутительную пародию на коммунизм.
2. Эта пародия была отвергнута советской прессой.
3. Е. Замятин отправил эту свою пародию «Мы» за границу.
4. Замятинской пародии обрадовались эсэры, напечатав ее в «Воле России».

5. С тех пор как «Мы» были написаны и с тех пор как «Мы» были за границей напечатаны, никаких особых перемен к лучшему в творчестве Е. Замятина не произошло.

6. Все белогвардейские газеты усиленно стараются Е. Замятина выгородить и защитить.

7. Общее собрание членов ВСП в Ленинграде присоединилось к резолюции московских писателей и констатировало, что он не отказался от этой своей пародии.

8. Е. Замятин, несмотря на все происшедшее, отделывается хронологией и отказывается сказать по существу о творчестве писателя и политике».

С. 540 *Начало литературной кампании по моему адресу положено было статьей Волина...* – Волин Б. (псевдоним Бориса Михайловича Фрадкина, 1886–1957) – публицист, редакционный работник, возглавлял журнал «На литературном посту», в 1931–1935 гг. был начальником Главлита, т. е. главным цензором; активно участвовал в травле Замятина.

III. ПИСЬМО СТАЛИНУ

Впервые: Лица. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 276–282.

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 4. Мюнхен, 1988. С. 310–314.

Письмо Сталину является важным биографическим, историческим и политическим документом, в котором кратко и ярко выражена судьба писателя-нонконформиста в эпоху, когда литература и искусство в Советском Союзе должны были существовать в строгих рамках, обозначенных литературными чиновниками и партийными решениями. Замятин был выпущен за границу благодаря поддержке Горького. Он сохранил советский паспорт и никогда публично не выступал с осуждением советского режима.

IV. СКАЗКА ОБ ИВАНОВОЙ НОЧИ И МАРГАРИТКЕ

Впервые: в кн. «Евгений Замятин и культура XX века». Спб., 2002. С. 177–183 (Публикация О. В. Быстровой).

Печатается по данной публикации.

Сказка при жизни писателя не публиковалась. Написана она в 1903–1904 гг. (согласно указанию Е. Замятина) и, очевидно, является одной из первых литературных работ писателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Автобиография 3

БОЛЬШИМ ДЕТЯМ СКАЗКИ

Бог 7
Иваны 9
Ангел Дормидон 11
Хряпало 14
Электричество 16
Дьячок 18
Арапы 20
Петр Петрович 21
Халдей 23
Церковь Божия 25
Дрянь-мальчишка 27
Картинки 28
Бяка и Кака 29
Четверг 30
Херувимы 32
Огненное А 33
Первая сказка про Фиту 35
Вторая сказка про Фиту 38
Третья сказка про Фиту 40
Последняя сказка про Фиту 42

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Русь 47
Куны 56
Рассказ о самом главном 63

Икс 94
Слово предоставляется товарищу Чурыгину 111
Ёла 121
Десятиминутная драма 140
Мученики науки 144
Наводнение 157
Часы 184
Лев 193
Встреча 199
Видение 205

РОМАНЫ

Мы 211
Бич Божий 369

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Роберт Майер 435
А. П. Чехов 474
Ричард Бринсли Шеридан 1751–1816 495

ШУТЕЙНОЕ

Приветственное слово к 50-летнему
юбилею М. Горького 509
Буриме 510
Паноптикум
Тетрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева 511
Краткая история «Всемирной литературы»
от основания и до сего дня 526
Приветствие от месткома покойных писателей 541
Эпитафии 1929 года 542

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Херувимы 544
II. Письмо в редакцию 546
III. Письмо Сталину 550
IV. Сказка об Ивановой ночи и Маргаритке 555

Комментарии 563

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН

Собрание сочинений в пяти томах

Том 2

РУСЬ

Редактор *Т. И. Киреева*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Г. В. Кулагина*
Корректор *Н. Д. Бучарова*
Компьютерный набор *Г. Н. Злотникова, В. В. Степанова*
Компьютерная верстка *М. В. Овчаренко, Г. В. Кулагина*

Подписано в печать с готовых пленок 11.07.03.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Корина.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,19 (в т. ч. вкл. 0,11).
Уч.-изд. л. 30,29 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 2000 экз. С-08.
Заказ № 2208

ФГУП Издательство «Русская книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

ISBN5-268-00524-3
9 785268 005240 >

Отпечатано в полном соответствии
с представленными пленками на
ИПП «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32